

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга шестнадцатая
(IV - 2008)

„Partner“ Verlag
2008



Главные редакторы:

**Даниил Чкония
Лариса Щиголь**

Редколлегия:

**Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий**

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/>(Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| Феликс Чечик. Ночное зрение. <i>Стихи</i> | 2 |
| Анатолий Курчаткин. Поезд. <i>Повесть</i> | 8 |
| Нина Савушкина. По некогда украденному праву... <i>Стихи</i> | 59 |
| Арсений Березин. <i>Рассказы</i> | 65 |
| Отец | |
| Старшина Щербина | |
| Синхронный перевод | |
| Павел Лукаш. <i>Два рассказа</i> | 84 |
| То, что доктор прописал | |
| Трио в соседней квартире | |
| Алексей Машевский. Зачем кончатся лету?.. <i>Стихи</i> | 105 |
| Михаил Гиголашвили. Типун в зипуне. <i>Рассказ</i> | 111 |
| Людмила Коль. Гадкий-прегадкий мир. <i>Новелла</i> | 125 |
| Александр Медведев. <i>Два рассказа</i> | 148 |
| Прыщик | |
| Большая дубовая бочка | |

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

| | |
|--|-----|
| Из английской поэзии. Эдвард Лир. <i>Перевод Бориса Архипцева</i> | 154 |
| Йоахим Рингельнац. Роберт Гернхардт. <i>Перевод Александры Берлиной</i> | |

СВОБОДНЫЙ ЖАНР

| | |
|---|-----|
| Юрий Колкер. Мои кочегарки | 159 |
|---|-----|

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|-----|
| Ирина Роднянская. Битов и Пенелопа | 168 |
| Игорь Сухих. Тынянов и Кюхля: избирательное сродство | 174 |
| Людмила Агеева. Право на нелюбовь и другие права | 182 |

КНИЖНАЯ ПОЛКА

| | |
|--|-----|
| Александр Мелихов. Уродливая хижина | 185 |
| Игорь Андрианов. Как рождаются НЛО и торсионные поля? | 186 |

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

| | |
|---|-----|
| Георгий Нипан. Ефимов на даче. <i>Маленькая зооповесть</i> | 188 |
| Коротко об авторах | 198 |

Ноябрь, 2008

НОЧНОЕ ЗРЕНИЕ

* * *

На Сиреневом бульваре,
где едва ли вы бывали,
на Сиреневом бульваре,
где едва ли я бывал, –
разве только в прошлой жизни,
да и то в её начале,
на сирень полюбоваться
приходил я на бульвар.

Пятипалая – на счастье –
счастье было безгранично,
дымчатая – задыхался –
дым стоял сплошной стеной.
А когда в метро спускался –
уносила электричка:
то ли веточку сирени,
то ли крылья за спиной.

* * *

Люблю Ордынку спозаранку –
ночную не люблю Москву,
и, вывернутый наизнанку,
вовнутрь иглами живу.
И раню, раню, раню, раню,
и удивляюсь, что живой,
себя Замоскворецкой ранью
и предрассветной Моховой.

* * *

что до прошлого в прошлом
и не думай вернуть
в пионерском безбожном
приблатнённом чуть-чуть
приворотном приставку
«при» как сопли утри
и на будущность ставку
сделай или умри.

* * *

Памяти поэтов

Эта магия цифири –
27 и 37;

беззащитные, как в тире,
улетели насовсем.

Пропадай 1/6,
синим пламенем горя...
Из потерянного мая,
из большого декабря.

* * *

Изобретатель тишины
и мрака первооткрыватель,
я посещаю ваши сны,
пока вы маетесь в кровати.

Я обживаю их тайком
и подбираю им названья,
овладевая языком
потустороннего сознания.

Струись из-под закрытых век
на простыню изображение,
пока не вспыхнет яркий свет
и не уйдёт ночное зреньё.

* * *

В знак благодарности за то –
за что, и сам забыл,
на крыльях старого пальто
я над землёй парил.

Пока оно не расплзлось
от старости по швам,
и я, как долгожданный гость,
с небес спустился к вам.

А там ждала моя семья,
чтоб отвести к врачу.
Ах так! – тогда навечно я
в дублёнке улечу.

* * *

Ты героиня моего
в печи сгоревшего романа,
но знай – я воскрешу его
из пепла поздно или рано.

Я снова жизнь в него вдохну
и крылья дам ему, как птице,
чтоб замолить свою вину
на 62-й странице.

* * *

белкой по древу познания стрелкой
на пустоту опершись
хлопать глазами прикинуться целкой
всё понимая про жизнь

всё понимая от этого хуже
слышишь не думай о ней
но ядовитую воду из лужи
как родниковую пей

* * *

Не тающий – как в сказках –
давно растаял снег.
И мчится на салазках
по склону человек.

И там на склоне неба
и лет – всегда весна.
И умирать нелепо
и весело весьма.

На старом кладбище

Здесь такая трава...
Здесь улитки такие...
Здесь о смерти слова
беспечальны впервые.

Словно о Ходасе –
беспечальны и строги,
хоть просрочены все
воскрешения сроки.

* * *

С. Г.

Уехать на попутке
и наплевать на вся;
читать вторые сутки
водиле Ходася.

И на вопрос шофёра
ответить: «Всё путём
зерна». А жизнь как фора
аукнется потом.

Ну а покамест в голос
судьбу и трассу крыть.
И сердце, будто скорость,
на пятую врубить.

* * *

Полыхают осины – синим,
белым пламенем – тополя.
Сушь вторую неделю. С сыном
на Полесье приехал я.

Дым отечества. Смех и слёзы.
Малой родины мумиё.
Сын плюёт на мои невроты
и тем более – на неё.

Мальчик шпрехает на иврите,
я не шпрехаю – я молчу, –
фаршированной щукой в Припяти
запоздало икру мечу.

Ближе к осени – ниже небо.
Птицы глуше. Темней вода.
И горят капитана Немо
обезвоженные суда.

* * *

Поживу-ка растением я,
без любви, как без солнечной влаги:
лебедой посреди пустыря,
резедой в безымянном овраге.

И, завидуя тайно хвощу,
повилике, крапиве, пырею,
я на волю любовь отпущу,
и, конечно, потом пожалею.

* * *

поджав колени к животу
укрывшись с головой
уподобляешься кусту
становишься травой
отечеством для муравьёв
и родиной для птиц
пчелиной музыкой без слов
не знающей границ

* * *

Дождаться момента и – согнуть,
пропасть ни за что ни про что,
но оцепенение скинуть,
стряхнуть, как снежинки с пальто.

И вычеркнуть, к счастью, из списка
навечно себя самого –
из списка загробного Пинска,
Небесного Царства его.

* * *

Стихи о зиме
в середине июля,
застряли во мне,
будто в дереве пуля.

Болезнь – не болит,
но саднит еле-еле.
Цветением лип
пропитались метели.

* * *

Как стемнеет – выходит на дело, –
обывателей сводит с ума,
в белом платье на голое тело
отмороженная зима.

На свободе чуть больше недели,
но уже натворила делов.
И блатную музыку метели
у камина мурлычу без слов.

* * *

Однодневная щетина
выросла у мертвеца,
и в ответе сын за сына
за отсутствием отца.

За присутствием печали,
за наличием тоски,
тихо ангелы летали,
рвали сердце на куски.

* * *

На конечной остановке
у начала всех начал
после реформировки
я на время замолчал.

Чтоб скрестить опять и снова,
расквитавшись с немотой,
новорожденное слово
с безъязыкой пустотой.

* * *

По дорожке,
по тропинке,

бродят кошки,
выгнув спинки.

Время страсти:
месяц март.
Всё во власти
звёздных карт.

* * *

На фоне усталости –
тот ещё фон –
фальшивлю – как в старости
магнитофон.

Недолгая пауза –
смерти родня.
Осипшая «Яуза»
вроде меня.

* * *

Только резких движений не надо
и о дерзких поступках забудь;
стань листвою из осеннего сада,
не мечтающей лето вернуть.

А лежащей – не мёртвой, но мятой
и омытой дождями листвою,
чтоб уже никогда на попятный:
хоть ты волком, хоть ветром завой.

* * *

Восемь строк – восьмистишье.
Оболочка тесна:
Перед бурей затишье
наподобие сна.

Наподобие жизни
только с виду большой;
ровно восемь – но втисни
всё, что есть за душой.

ПОЕЗД

ПОВЕСТЬ

В. В. Путину посвящается

1

Женщина проснулась от грохота колес. Похоже, поезд на полной скорости влетел на цельнометаллический мост над оврагом с протекающей внизу речушкой, промахнул его и понесся дальше, с прежним ритмичным однообразием постукивая на стыках рельсов, но звучное биение металла о металл проникло в сонное сознание и пробудило его.

Женщина перевернулась на живот, приподнялась на локте и, отведя угол шторы, посмотрела в окно. За окном была полная темь, ни огонька, казалось, поезд завис в этой ночной темени, как в бездне – ни вперед, ни назад, висит в ней, никуда не двигаясь, – и только тяжелое грохотанье под днищем вагона напоминало о том, что на самом деле поезд летит, стремится себя вперед, глотает километры пути, отбрасывая их назад перемолотым пространством.

– Да уж когда же приедем! – произнесла она вслух.

Совсем негромко произнесла, почти про себя, едва проколебав воздух у губ, но с верхней полки ей ответили:

– Никогда!

Со смешком, с внятной иронией, впянной в этот смешок подобно игривой летней мушке в кусок льда, и мужчина, поняла она по звучанию голоса, свесил к ней с полки голову.

Мужчина был ее мужем, она знала в нем все – от цвета надетой майки до формы родинки в левом паху – и, даже не видя его в темноте, представила, как вокруг головы у него вырос светящийся серебристый нимб из распавшихся на пробор длинных прямых волос.

– Не шути так! – сказала она в полный голос, поднимая голову к нему в темноту. – Который час, знаешь? А то я что-то не соображаю ничего. Может, пора вставать?

Вверху полотняно всхлопнуло отброшенное в сторону одеяло, мужчина заворочался, с сухим шорохом завопил по стене рукой, отыскивая выключатель ночника, тот, наконец, щелкнул, и на оконные шторы брызнуло мерклым, режущим глаз своим тщедушием светом.

– О-оо! – воскликнул мужчина с экспрессией. – Ничего мы дрыхнем. Конечно, пора вставать. Десять часов проспали. Куда еще!

Он скинул вниз ноги, соскочил на пол, прошлепал по нему и с маху хлопнул ладонью по выключателю лампы под потолком. В одно мгновение вокруг стало светло – снова до болезненной рези в глазах.

Женщина не чувствовала в себе сил вставать.

– Ты шутишь, – сказала она, прикрываясь от света рукой. – Какие десять часов! Я совсем не выспалась.

– Я шучу, я шучу, – пропел мужчина, скача на одной ноге и всовываясь другой в штанину. – Я шучу, тобой верчу и деньгу я молочу!

– Много ты денег намолотил, – с живостью отозвалась на его песенку женщина.
– Сиди уж!

– Ради красного словца не пожалеем и отца, – с ответной живостью ответил ей мужчина, продолжая танец с брюками. У него никак не получалось стоять на одной ноге.

– Скоморох, – проговорила женщина, отнимая руку от глаз. Те приспособились к свету, и больше их не резало.

Теперь мужчина промолчал. Похоже, ему хотелось отбрызнуть женщину какой-то резкостью, но он сдержался.

– Нет, неужели десять часов? – ноюще произнесла женщина. – Я совсем не выспалась, совсем! – Говоря это, она тем не менее столкала с себя к ногам одеяло и, охая, спустила вниз ноги, села на полке. – Помню, как легко поднималась молодой, – сколько ни поспи.

– А я ничего не помню, не помню, не помню! – выкрикнул мужчина. – Я не был ни молодым, ни еще каким. Я просто был, и был, и был!..

– Нет, я была, – потягиваясь и зевая, сказала женщина. – Какая я была молодая, молодая, молодая!

Она не собиралась передразнивать мужчину, но получилось, что передразнила – как бы спародировала его, – женщина осознала это и рассмеялась.

– Ты и сейчас еще самый цимус, – обнял ее за плечо, помял мужчину. Он решил, что она передразнила специально, и ему это понравилось. – Нечего тебе охать, кто охает – у того жизнь аховая.

Теперь промолчала, не ответила женщина. Выражение ее лица свидетельствовало, что ей бы хотелось сказать очень много, но она держит себя в руках и ничего не скажет.

Мужчина взял со столика у окна, застеленного хлопчатобумажной салфеткой, зубную щетку с тюбиком пасты, прозрачный полиэтиленовый пакет с просвечивающим сквозь него бритвенным станком, сдернул с поручня полотенце и, прокрутив рукоятку щеколды, открыл дверь в коридор.

– Давай присоединяйся ко мне, – бросил он женщине, переступая порог.

Шагая покачивающимся пустынным коридором, отчего его несколько раз бросало то на одну, то на другую стенку, мужчина подумал мимолетно: как странно, так пусто. Прежде в коридоре, когда проходил им, всегда был народ, кто стоял у окна, вглядываясь в проносящиеся мимо пейзажи, кто просто сидел на откидном сиденьи, кто разговаривал, оборотившись друг к другу лицом и перегородивши проход, а теперь – никого, никого из раза в раз, никого, никого, никого, повторилось в нем.

А, ночь же, сообразил он следом, взглядывая невольно в окно. Там все так же стояла гулкая темь, поезд раскачивался в ней, будто подвешенный. Но в тот же миг, как мужчина посмотрел в окно, поезд снова проколотил по мосту – вроде того, что разбудил их с женой, – и этот звонкий мгновенный гул напомнил собой о безустанном движении поезда по определенному для него колею пути.

Купе проводника стояло открытым, но самого проводника в нем не было. Лежала на столике пачка сигарет марки «Винстон», газовая зажигалка, развернутый на середине глянцевого журнала с яркими фотографиями – и это все, что свидетельствовало о его присутствии в вагоне. Мужчина не видел проводника уже очень давно, целую пропасть времени. Когда сядились в поезд, проводником был усатый рябой старик – взгляд, случайно наткнувшись на него, тотчас в страхе отскакивал в сторону – так суров, так грозен был старик, чувствовалось: что не по нему, не понравишься – выведет в тамбур, отомкнет дверь наружу и выкинет на полном ходу, без всякой жалости. Потом усатого сменил лысоголовой, толстопузый, постоянно кричавший непонятно что, бегавший по вагону из конца в конец с чаем в

подстаканниках и заставлявший всех пить чай независимо от того, хочет кто или нет; его сменил густоволосый, густобровый, с улыбчивым жизнелюбивым лицом, этому было все равно, пьют у него чай или не пьют, ему все было все равно, и он часто вообще исчезал из вагона; и новые проводники, заступавшие на дежурство после него, вели себя похоже.

Но когда мужчина, умывшись, почистив зубы, побрившись, вышел из туалета и направился обратно в купе, проводник сидел на своем месте, курил, облокотив руку с сигаретой о стол, шурился от вьющегося дымка, закидывая голову назад, и листал журнал с яркими фотографиями. Это был еще вполне молодой человек, много моложе своих предшественников, и вместе с тем удивительно на них на всех – не на каждого в отдельности, а именно на всех сразу – похожий. Мужчина остановился в проеме двери и, старательно улыбаясь, поприветствовал проводника.

Тот поднял от журнала глаза, отнес руку с сигаретой подальше в сторону и молча уставился на мужчину. Взгляд у него был холодный и как бы сонный. У мужчины внутри от этого взгляда невольно продрало морозцем.

– Чаю можно? – спросил мужчина, продолжая старательно улыбаться.

– Чаю? – переспросил проводник, словно не понял.

– Чаю, – подтвердил мужчина, снова ловя себя на том, что по спине у него ознобно ползут мурашки.

– А хочется? – спросил проводник.

На лице у него при этом появилась улыбка. Как бы он и без того знал, что хочется, полагал это желание слабостью, но, впрочем, слабостью простительной.

– Хочется, – опять подтвердил мужчина.

– Ну, хочется, значит, будет, – окончательно простил ему его слабость проводник, продолжая улыбаться. – Идите. Ждите.

И вновь склонился к журналу перед собой, поднес руку с сигаретой к губам, затаился, всасывая внутрь щеки.

– Идите, идите, – сказал он затем, взяв сигарету изо рта и взглядывая на продолжавшего стоять в дверном проеме мужчину. – Сказал, что будет, значит, будет. Ждите.

Возвращаясь к себе в купе, мужчина чувствовал, что у него сделалась танцующая походка. «Чай. Будет. Ждите. Будет. Чай», – повторял он про себя в ритм этому танцу. Ему ужасно хотелось чаю. Именно от проводника, в фигурно-резных металлических подстаканниках, со звенящими ложечками в тонкостенных стаканах, с брошенным внутрь твердым кубиком рафинада, рассыпающимся на дне в вулканообразную горку. Как не ценили, когда тот лысоголовый носился по коридору, навязывая всем щедро нанизанные веером на пальцы темнойянтарные парящие стаканы. Отталкивали его руки, захлопывали перед ним двери, ругались, высмеивали за глаза, рассказывая про него анекдоты.

Женщина уже поджидала мужчину, сидя перед зеркалом и расчесывая щеткой волосы. Вид у нее был посвежевший. Пока он брился, она успела сгонять в другой туалет, умыться там и вернуться. Она у него вообще была быстрая.

– Краситься пора, – сказала она вошедшему мужчине, не отрываясь от зеркала. – Волосы как растут – ужас. Опять все корни седые.

– Давай покрасься, – поддержал ее мужчина. – Конечно, нечего с сединой ходить.

– Да? Покрасься? – Теперь женщина посмотрела на него. – А где денег взять? Краска сейчас, знаешь, сколько стоит? Есть у тебя деньги?

– Почему у меня, – недовольно пробормотал мужчина. – У нас общие деньги. Не попей немного свой кофе – вот и сэкономишь на окраску.

– Без кофе я не могу, ты прекрасно знаешь, – отпарировала женщина.

Мужчина вспомнил о своей радости.

– Проводник обещал нам чай, – доложил он. – Сказал, подождите немного, обязательно будет.

– Что ты говоришь?! – ответно вспыхнула женщина.

При всей ее страсти к кофе чай от проводника – это для нее тоже было не меньшей радостью, чем для мужчины. Чай от проводника – это был чай от проводника!

– Да, да, – подтвердил мужчина. – Шел сейчас мимо, он там сидит у себя, попросил – он говорит, будет, ждите.

– Подождем, подождем, – как пропела женщина, стремительно начиная взбивать волосы надо лбом, чтобы скрыть седину у корней. Закончила взбивать и так же стремительно убрала щетку куда-то с глаз долой. – Ждем, ждем! – повторила она. И обратилась к мужчине: – Хлеб доставай. Ножи. Порежем сейчас сырок. И колбаски еще осталось...

Мужчина, мелькая сверкающим никелем ножа вверх-вниз, вверх-вниз, быстро порезал хлеб, вареную, ненатурального оранжевого цвета колбасу, сыр, пристававший к никелю будто оконная замазка, женщина разложила все по тарелкам, расставила их на столике так, чтобы свободно поместилось бы еще четыре стакана; прошло изрядно времени – но проводник не появлялся.

– Он тебе точно обещал принести? – спросила женщина.

– Ну а как же! – вскинулся мужчина.

– А ты случайно не пошутил? – Женщина смотрела на мужчину с язвительной улыбкой созревшего подозрения. – По своему обыкновению.

– Ага, я! – воскликнул мужчина.

Он сорвался с места, открыл дверь и выскочил в коридор. Из коридора рвануло холодным воздухом, тоской пустого пространства, подобного бескрайней пустыне.

Мужчина стремительно прорезал собой это пространство, влетел в теснину перешейка, ведущего к тамбуру, – дверь служебного купе была плотно закрыта. Он с ходу дернул ее за ручку, дверь поехала в сторону, раскрываясь, – купе было девственно пусто. Все сияло чистотой, порядком, нигде ни единого следа пребывания здесь кого бы то ни было. Словно никогда здесь никого не было и не должно было быть.

Мужчина вошел вовнутрь, постоял в растерянности. Подергал дверцу шкафчика, за которой полагалось стоять стаканам, – та не поддавалась. Он снова огляделся. Как если бы проводник был гномом и мог каким-то фантастическим образом здесь спрятаться.

Но проводник гномом точно не был, и спрятаться ему здесь было негде. Хоть предположи, что его здесь и в самом деле не было и он тебе просто примерещился.

Мужчина выступил из купе обратно в теснину перешейка, ведущего к тамбуру, и подергал дверцу шкафчика, скрывавшего собой титан с кипятком. Во всяком случае, чтобы заварить чай, в титане должен был находиться именно кипяток.

Однако и эта дверца оказалась закрыта.

Мужчина шел пустынным коридором, и у него было чувство, он не идет, а тащит себя. Разбежался! Чаю ему в подстаканнике! Вскипяти воду кипятивником и завари сам – какой у тебя есть. Барин нашелся: подайте ему!

– Что? – увидев его, все поняла женщина. – Не будет чая? Я так и знала. Нечего было и ждать.

Мужчина сорвался на крик – не понял, как это с ним случилось.

– Что ты знала?! Что ты знала?! Все ты всегда знаешь! Знала, так чего ждала?!

– Ну, я надеялась, – уступая, напоминая самой себе поджавшую хвост собаку, произнесла женщина.

– Надеялась она! – рявкнул мужчина.

– Да, все обман кругом стало, все обман. – Женщина изо всех сил старалась, чтобы голос ее звучал как можно миролюбивей. Она боялась мужчину, когда он становился таким. Невменяемым, говорила она про себя.

– Вот именно, – остываяще проронил мужчина. – А тебе все выглядеть умнее других хочется. Продемонстрировать себя! Что демонстрировать. Сама такая же.

– Такая же, такая же, – с прежней уступающей интонацией отозвалась женщина. Вытащила свернувшийся кольцами анаконды проржавело-бурый кипятильник с длинным черным хвостом провода, достала стеклянную литровую банку и протянула мужчине: – Наберешь воды в туалете?

– Куда денуть, – уже стыдясь своего крика, принял мужчина банку из ее рук. – Наберу. Конечно.

2

Жираф появился, когда они допивали чай. Осталось только на самом дне банки – коричневая муть взвеси с крошечком чаинок внизу. Он появился из-под стола, на котором у них был разложен завтрак. Высунул оттуда свои антенные рожки, покрутил головой вправо-влево, показывая мужчине с женщиной, что он – вот он, прополз немного на коленях и, подтянув короткие задние ноги, встал в полный рост.

– Мое явление собственной персоной, – проговорил он. – А собственно, если не собственной, то как по-другому?

– Вот именно, – тотчас, наставительно откликнулась женщина.

– Ладно, нечего выкаблучиваться, – сказал мужчина. – Пришел, и хорош. Чаю будешь?

– Вы же знаете, я не употребляю, – ответил жираф и тут же наклонил голову к столу, всунул своей узкой длинной мордой в банку, наклонил ее и с шумом втянул в себя мутную взвесь. – Фу! Фу! – отфыркиваясь, выбрался он из банки. Толстые его негритянские губы брезгливо кривились, ноздри топорщились в стороны. – Оставили одну гадость. С вами так и в самом деле перестанешь употреблять.

– «Употреблять» – это не про чай принято говорить, – с прежней наставительностью сказала женщина. – Это про кое-что другое.

– А я полагаю, и про чай, – невозмутимо парировал жираф. – Сенца вы мне, случаем, не припасли?

Мужчина усмехнулся. Этот вопрос адресовался ему, не кому другому.

Он молча поднялся со своего места, снял с полки над дверью чемодан, расщелкнул замки и, откинув крышку, достал изнутри несколько картонных аптечных коробок с лекарственными травами.

– Что у нас может быть, – отправив чемодан обратно на полку и принимаясь вскрывать коробки, сказал он. Склеенные картонные створки отдирались одна от другой с хлопающим сухим треском. – Вот, мать-и-мачеха от кашля. Зверобой, общеукрепляющая. А вот валерьянка. Корни валерьяны, в смысле.

– Я не котяра какой-нибудь, мне не вредно, не возбужусь, – замороженно уставясь на коробки в руках мужчины, сказал жираф. – Могу и валерьянку.

– Ну, можешь, так и давай, – сказала женщина.

Теперь это было произнесено ею с покровительственностью.

Жираф не ответил ей. Он уже изнемогал, его так и водило из стороны в сторону предвкушением гастрономического блаженства. Ему даже прикрывало от этого предстоящего блаженства глаза.

– На, – поставил перед ним вскрытые коробки мужчина. – Сено не сено, но не солома точно.

В ответ ему жираф издал только задышливое урчание. Губы его были погружены в коробку, он торопливо работал ими там внутри, и коробка от их движения шевелилась на столе, ездил вперёд-назад, будто живая. Пергаментная бумага внутренней упаковки издавала звонкий шелестящий звук, как если бы сопротивлялась жуо-щим губам, но без надежды сохранить свое содержимое.

Во всяком случае, такое сравнение пришло в голову мужчине. Смотрел на жи-рафа – и вот подумалось.

– А ты говорила, не будет он валерьянку, – поглядел мужчина на женщину. – За милую душу!

– Ну он же не котяра какой-нибудь, – защитилась женщина. Так, словно выска-зала свою собственную, выношенную мысль, а не повторила сейчас просто слова жирафа.

Жираф закончил с последней коробкой, выдохнул воздух, сдвиг ее с морды, и удовлетворенно помотал головой:

– Райское наслаждение. Ради этого мгновения стоило жить.

Женщина фыркнула.

– Вот, ради такого – тоже, – сказал жираф. – Люблю, когда удается поднять настроение друзьям.

– Да, надо признаться... – начал было мужчина и махнул рукой, решив не вспоминать заново о неудавшемся чаепитии с подстаканниками.

Жираф подогнул задние ноги и опустился на пол.

– Ну, расскажи что-нибудь, – попросила его женщина.

– Непременно, – кивнул жираф. – Готовится указ о производстве всех жирафов в генералы, слышали?

Он сказал это – и сам же, не выдержав, захохотал.

– А? Что? – спрашивал он сквозь смех. – Неплохо я буду выглядеть с погонами? Тем более генеральскими. А в генеральской фуражке для моих рогов пробьют специальные отверстия. А как на мне будут глядеться генеральские штаны с лампа-сами!

Мужчина, слушая жирафа, похмыкивал, посмеивался вслед ему, но женщину шутка жирафа не проняла и не понравилась.

– Очень интересная новость, – сказала она. – Слышали уже. Правда, будут производить не в генералы, а в золотари. Шея у вас длинная, будете ведро на веревке таскать. Вверх-вниз, туда-сюда.

– Ну зачем ты так, – поморщился мужчина. Ему стало неудобно за нее перед жирафом.

Но жираф не обиделся.

– В Америке, – сказал он, – изобрели кастрюлю, которая варит без всякого огня. Поддерживает стоградусную температуру в течение целых полутора часов! Молодцы американцы, да?

– Да что американцы. – Женщина пожала плечами. – Известное же дело, ни-какие не американцы, а какие-нибудь китайцы, или японцы, или наши же эмигран-ты. Американцы сами ни до чего додуматься не могут.

– Ну, это я не соглашусь, – упрямо помотал головой жираф. – И могут, и додумы-ваются, и еще как. Я америкоман, и не скрываю этого. Великая нация!

– Великая, кто ж спорит, – подтвердил мужчина.

Но жирафу хотелось именно поспорить.

– И не убеждайте меня в противоположном, не надо. Все равно не убедите, – играя голосом, сказал он. – Американцы – великая нация, а вот испанцы, напри-мер, – это так себе.

– Это вдруг почему? – удивился мужчина.

– Или французы? – вопросительно произнес жираф. – Сальвадор Дали, худож-ник этот, он кем был? Жил во Франции, но был испанцем? Или все же французом?

- Испанцем он был, испанцем, – подсказала женщина.
- Ну вот, значит, все правильно, значит, я испанцев имел в виду, – сказал жираф.
- Да почему же они «так себе»?! – не выдержав, воскликнул мужчина.
- Потому что этот Дали нарисовал горящего жирафа, – ответил, наконец, жираф. В голосе его кипел металл. – Он не мог придумать ничего более выразительного и отвечающего правде жизни. Почему жирафа? Вот ответьте мне, почему жирафа?

Жираф просидел у мужчины и женщины больше часа, может быть, даже больше двух или трех, они переговорили обо всем на свете – не умолкая, перебивая друг друга, торопясь сказать о своем, не помянув и десятой части того, что хотелось сказать; разговор их длился, длился – но вдруг мужчина поймал себя на том, что уже какое-то время беседует с пустотой. Жираф исчез, словно растворился в воздухе, – так же неожиданно, как появился. Был – и не стало, и осознать его исчезновение удалось далеко не сразу.

Мужчина прервал себя на полуслове и посмотрел на женщину. Она задремала. Сидела, сложив руки на груди крест-накрест, а голова ее склонилась к плечу. Корни волос у нее действительно были седые, седину эту не мог скрыть никакой начес. Жалко, что уснула. Даже не уточнишь, когда же жираф прервал свое гостевание.

Дверь с грохотом откатилась в сторону, на пороге возник проводник. Он был одет по всей форме – как ему полагалось: с черным форменным галстуком под отворотами ворота белой форменной рубашки, черный форменный китель застегнут на все пуговицы, и те надраены до ослепительного солнечного сияния.

– Ну так что же за чаем-то не пришли? – спросил он.

В голосе его была прощающая благожелательность. Но и порицание: нужно было прийти!

– Так ведь вы же сказали – ждите! – ошарашенно вскинулся мужчина. Ощущая одновременно, что от слов проводника в нем возникло и разрастается чувство вины.

– Когда я сказал – ждите? – с резко обострившимся порицанием произнес проводник.

– Ну вот... когда мы разговаривали... тогда. – Мужчина потерялся; он уже не был вполне уверен, что проводник говорил это слово – «ждите». Может быть, и не говорил?

– Что-то вы не так меня поняли, – холодно сказал проводник. И спросил через паузу: – Так что, будете брать чай?

Мужчина не знал, как ему отказаться, чтобы не обидеть проводника. Не брать же было чай из вежливости, когда так надулись своим из банки.

– Я... вы понимаете... я заглянул... мне показалось, что вы забыли... вас не было... – забормотал он.

Проводник холодно смотрел на него, в глазах его было всякое отсутствие интереса к объяснениям мужчины, и мужчина совсем потерялся, сбился с мысли – и смолк.

– В следующий раз пусть вам не кажется, – сказал проводник. – Не знаете толком, что вам нужно, нечего беспокоить. – Ноздри его пошевелились, он втянул носом воздух: – Чем это у вас тут пахнет? Псиной, что ли?

– Какой псиной, что вы?! – испуганно проговорила женщина. Голоса мужчины с проводником разбудили ее, она ошалело хлопала глазами, ничего, судя по всему, не понимая, но «псина» – о, это слово тотчас заставило ее сделать стойку.

– Не знаю, какая псина, – пристально оглядывая купе своим холодным взглядом, ответил проводник. – Смотрите! Чтоб никаких собак в вагоне! Проездные документы не оформлены. Без проездных документов не положено. Ссажу с поезда – и гуляйте.

– Нет, что вы, какие собаки, какие собаки! – торопливо, незаметно для себя впадая в интонацию женщины, заприговаривал мужчина. – Где вы видите каких собак, что вы! Запах, вам показалось? Это мы ели, сыр не очень свежий...

– Сыр? – переспросил проводник. – Ну ладно, пусть сыр. Но собак чтоб... чтоб ими не пахло! – Ему понравилась собственная шутка, и он усмехнулся. – Да? Поняли?

– Поняли, поняли! – одновременно закивали мужчина и женщина.

Проводник постоял еще мгновение в дверях, потом молча отступил назад и бросил дверь в косяк. Собачка замка, входя в гнездо, звучно хрюснула, стенка от удара содрогнулась, полка под мужчиной и женщиной отозвалась ответным сотрясением.

– Ох, я испугалась! – приложила руку к груди женщина. – Я думала, приятель наш здесь. Думала, ну проводник сейчас увидит его!

– Да, и меня продрало, – признался мужчина. – Даже и не знаю, почему. Вдруг, думаю, что-то поймет. Хотя этого нашего и след простыл.

– Простыл! А он вон что-то учуял.

– А и вовсе от нашего никакой псиной не пахнет, – сказал мужчина. – Что он учуял...

– Интересно, – проговорила женщина, – если бы он пришел чуть раньше и увидел его? Что бы тогда?

– А-а! – экспрессивно вскинул руки мужчина. – Думать еще об этом! Увидел бы и увидел.

Женщина помолчала.

– Он бы его не увидел, – сказала она затем.

– То есть? – Мужчина не понял.

– Не увидел бы, потому что никому, кроме нас, увидеть его не дано. Он только наш.

– Так вот, да? – пробормотал мужчина. – Ну что ж, хороший способ, чтоб успокоиться. Если помогает, почему не верить.

– Нет, это точно, точно, – с убежденностью произнесла женщина.

Мужчина согласно покивал:

– Да верь, верь. Я не против.

3

Поезд все так же гремел колесами, рвал пространство перед собой, отбрасывал его назад, все той же жгуче-непроглядной оставалась тьма за окном.

– Люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными, дабы убедить таким образом и других и себя в том, что судьба еще не воздала им по заслугам, – читала женщина, далеко, на расстояние вытянутой руки относя от глаз книгу. Читать без очков было ей тяжело, но она хотела именно читать, а не слушать, как будет читать мужчина. Очки у нее уже изрядное время назад разбились, следовало, конечно, приобрести новые, но скопить денег на покупку новых все пока не получалось, и она пыталась обходиться без них. – Точно как, да? – дочитав, подняла женщина глаза на мужчину. – Замечательно точно. Вот еще, послушай: – Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви.

Мужчина зевнул. Потянулся.

– Замечательно, – подтвердил он. – Согласен. Ни слова неверного. – И снова потянулся, до хруста в суставах. Он уже знал всю мудрость этой захваченной в дорогу книги едва не назубок. – Если б мне за мое согласие еще бы и работенку какую-нибудь подкинули.

– Кому ты нужен, – безжалостно ответила женщина. – Живи на пенсию.

– Никому не нужен, – вновь подтвердил мужчина. – И ты тоже.

– Ну... и я тоже, – с запинкой произнесла женщина. И добавила с решительностью: – Нечего поэтому и говорить об этом.

– Само получается, – не оправдываясь, через паузу, сказал мужчина. Побарабанил пальцами по колену, вскинул руку резким движением вверх и уронил обратно на колено, снова побарабанил пальцами. – Когда уж мы приедем!

– Ты же говорил, никогда?! – тотчас, с радостью уличения, вскинулась женщина.

– Мало ли что я говорил, – отозвался мужчина. – Когда-нибудь, конечно, приедем. Весь вопрос в том – когда?

Он забросил руки за голову, откинулся назад, к стенке, и закрыл глаза. Посланный через вагонный корпус, через кости кистей на затылке, в голову ему ударил стук колес о рельсы. Бам-бан, двойным ударом гремели колеса в голове, бам-бан, бам-бан.

Когда-то, помнилось мужчине, в бесконечной дали молодости, им очень хотелось попасть в этот поезд. Страстно хотелось. Они тогда жили в будке стрелочника, выскакивали к пронсящимся мимо составам то с флажком в руке, то с фонарем – в зависимости от времени суток. В сутках тогда были и день, и ночь, свет сменялся тьмой, а тьма – снова светом, с завидной регулярностью, и когда опускалась тьма, то повсюду вокруг зажигались огни – десятки, сотни огней, и уже не было разницы: день ли, ночь ли, свет, тьма. Но так всякий раз, когда выскакивали из будки на приближающийся грохот очередного состава, точило завистью к тем, кто промелькивал мимо за вагонными окнами, так сжимало тоской сердце, такое наваливалось отчаяние, что никогда не удастся подняться по рифлёным железным ступенькам, оказаться внутри, пройти длинным, украшенным цветной ковровой дорожкой коридором к своему купе, занять положенные места...

Все, однако, получилось само собой. И поднялись, и прошли, и заняли. И, как теперь понимал мужчина, иначе не могло быть. Просто настала их пора сесть в поезд – и кто мог помешать им в этом? Если билеты на руках, а поезд останавливается перед тобой, двери распахиваются, и проводники выходят из тамбурной тени в готовности впустить тебя внутрь...

Как они были счастливы оказаться в поезде! Как жадно вглядывались в пронсящие за окном пейзажи, которых из будки стрелочника никогда бы не увидели. А сколько у них было друзей! Ходили из одного купе в другое, и приходили к ним, толклись шумной толпой в коридоре, так что даже тот первый проводник-усач, когда ему случалось проходить мимо, не решался сказать ни слова замечания.

– Пойди прогуляйся, отоварься чем-нибудь на обед, – извлек мужчину из воспоминаний о прошлом голос женщины. – Развеешься ко всему прочему.

Мужчина открыл глаза. Нет, прогулка за продуктами вовсе не могла доставить ему радости. Суррогат действия, пустая мышечная активность, не дающая душе ровным счетом ничего.

Но препираться с женщиной не хотелось. Да и кому-то в конце концов нужно было сходить «отовариться».

– Давай прогуляюсь, – согласился он.

– А я, пока ты ходишь, постираю белье, – сказала женщина. – А то совсем грязное стало, давно пора постирать. Постираю, да?

– Постирай, конечно, – равнодушно благословил ее мужчина.

Дорога за продуктами пролегла через ресторан. Последнюю пору проходить через ресторан было все равно что протаскивать себя через строй. Раньше мужчины и женщины нередко позволяли себе обед в ресторане; не то чтобы они были его завсегдатаями, но именно что позволяли. Однако уже довольно изрядное время они не могли разрешить себе его посещения. А в нем все больше и больше становилось незнакомых лиц, прежние знакомые практически исчезли, и когда проходил за продуктами, хозяйка столов все как один вперились в тебя взглядами, провожали из конца в конец, на обратном пути внимательно изучали содержимое твоей авоськи, и всегда взгляды эти были недоуменно-недоброжелательны и даже враждебны. Словно ты безо всякого права вторгся на чужую территорию и странно, что не осознаешь этого. Впрочем, ресторан и в самом деле сделался как бы особой территорией: в нем теперь сидели вот уж точно что завсегдатаи — одни и те же люди из раза в раз, и удивительным образом все они были похожи друг на друга: хмуро-подозрительным выражением лиц, неизменным взглядом исподлобья, — казалось, они готовы в любую минуту вскочить и ударить тебя.

И сейчас, прежде чем растворить дверь в ресторанный зал, мужчина мгновение постоял перед нею, внутренне собрался, как бы взнуздан себя, натянул струной — чтобы пройти сквозь этот строй с деревянным бесчувствием. Рычажная ручка поддавалась нажатию руки, дверь отплыла в сторону, и мужчина шагнул внутрь.

К его удивлению, ресторан оказался тих, пуст, зал его зиял едва не такой же провальной тьмой, как та, что стояла за окном. Она не была такой же из-за горевшей на одном из столов в середине зала большой настольной лампы под широким зеленым абажуром; лишь этот стол и был занят — тускло освещалось несколько лиц, ходили над тарелками руки с поблескивающими ножами и вилками, раздавался легкий стук металла о фарфор, позванивал хрусталь, гудели негромко голоса.

Замечательно, подумал мужчина обрадованно. Темнота — это ему было на руку. Кто бы и как на него ни глядел, он будет невидим для них, недосыгаем для их взглядов, — только звук шагов, и ничего больше.

Он двинулся по проходу между столами, но успел сделать каких-нибудь три шага, — откуда-то из темноты вынеслась вдруг, обдав бурным дыханием, большая жаркая масса. Мгновение — и правая рука мужчины оказалась завернута за спину, да так, что его согнуло пополам, а изо рта вылетел хриплый судорожный вскрик.

— Кто такой?! Что надо?! — обжигаящим кипятком прорычала масса над ухом.

— Вы... вы!.. Я... Вы что!.. Отпустите!.. — забился мужчина.

— Я тебя сейчас отпущу! — было ему ответом, и руку мужчине завернули так, что из него снова вывалился безобразный клокочущий крик и он перегнулся в поясе едва не до пола.

— Кто там? Что ему нужно? Как он прошел? — услышал мужчина — и понял, что это спрашивают те, из-за стола.

— Я... как обычно... за продуктами... — сумел он выдать из себя.

За столом дружно грохнули. Смех был кичливый и издевательский.

— За продуктами он! Похавать захотел! Обнаглел вконец! В дурачка играет! — доносилось до мужчины.

— Ну-ка подволоки его сюда поближе! — выделившись из других, приказал затем чей-то голос.

Масса, пригивавшая мужчину к полу, поддала ему под зад коленом, одновременно отпустив завернутую руку, и мужчина полетел вперед, заперебирал ногами, стремясь удержаться, не упасть, но не получилось, и он так, с маху, рухнул перед столом на пол, ударившись о него лицом. Лицевые кости тотчас отозвались на удар горячей болью, в носу словно бы просквозило, и мужчина почувствовал, как наружу из носа хлынуло.

Вытащив руку из-за спины, он оперся обеими руками о пол, встал на колени, закинул голову назад и зашарил в брючном кармане, отыскивая платок.

– Что вы сделали!.. – глухо промычал он в ослепительную тьму перед собой.

– Сейчас еще получишь, – коротко ударили его сзади в затылок, так что голова мотнулась вперед и кровь, рванувшись из носа обильной струей, забарабанила перед мужчиной об пол.

– А, знаю его! – услышал мужчина чей-то голос.

Он, наконец, сумел вытащить из кармана платок, зажал нос и попытался сфокусировать зрение, чтобы увидеть сидевших за столом. В конце концов ему это удалось.

Их было человек пять за столом. Или шесть. Точнее мужчина посчитать не мог. Это были проводники. Все в форме, в галстуках, только по случаю трапезы кто расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, а кто и пиджак. Один из этих пятерых или шестерых был проводник его вагона. Это, конечно же, он и сказал, что знает мужчину.

Мужчина ощутил, как его прошло радостью.

– О, это вы! – воскликнул он. Из-за того, что приходилось зажимать платком нос, вышло у него это довольно невнятно. – Что тут такое? Что происходит? Я за продуктами...

– Заткнись! – оборвал его один из сидевших за столом. Может быть, тот, что приказал подтащить поближе. – Не гундось. Что, не знаешь, что продуктами в поезде больше не торгуют?

– То есть? Как это? – спрашивал было мужчина – и смолк. Его сковал страх перед новым ударом по затылку. Ведь ему было велено заткнуться.

За столом в несколько голосов всхотнули.

– Ну ладно, ладно, что смеяться над человеком, – увещевающе проговорил знакомый голос проводника из вагона мужчины. – Не знал! Не сказал ему никто. А радио не слушал. Забыл включить. Или испорчено.

– Испорчено? – прекращая смеяться, сурово спросил мужчину из-за стола один из проводников.

– Или не включено? – перебивая его, спросил тот, что приказывал подтащить поближе, а потом – заткнуться.

– Не включено, – подтвердил мужчина.

– Это почему?! Должно быть включено! Кто разрешил выключить?! – разом с возмущением проговорило несколько проводников. У одного от возмущения рука с ножом даже вскинулась вверх – словно он собирался броситься с ним на мужчину.

Тот, что велел мужчине заткнуться, видимо, старшинствовавший у них, а может быть, и бывший начальником поезда, медленным тяжелым движением повернулся в сторону проводника из вагона мужчины.

– Ты как следишь? – с этой же тяжелой медлительностью, что была в его движении, проговорил он. – Почему у него радио выключено?

– Не доследил, – тотчас отозвался проводник из вагона мужчины. На выдохе, с покаянностью, с интонацией самобичевания. Он опустил руки с ножом и вилкой по обеим сторонам тарелки, вытянулся над нею как бы по стойке «смирно». Губы у него подобрались, в глазах стояло выражение осознания своей вины. Искреннее и прочувствованное.

Старшинствовавший, а может быть, и начальник поезда, подержал на нем свой тяжелый взгляд еще и снова повернулся к мужчине.

– Почему выключаешь радио?

– Голова болит, – сказал мужчина.

– От чего, от радио?

- От радио, – подтвердил мужчина.
- А таблетку от головной боли принять?

– Зачем же таблетку, когда можно просто выключить, – прогундосил мужчина. Он почувствовал, кровь остановилась, отнял платок от носа, а следом обнаружил, что по-прежнему стоит на коленях и так, коленопреклоненно, разговаривает с ними. Слово какой-нибудь раб. Его мигом подняло с коленей, было мгновение – опахнуло страхом: снова заломят руку и снова бросят на пол, но этого не случилось, и его опахнуло новой волной радости. – Просто выключить – и никакой головной боли, – с этой радостью подтвердил он свои предыдущие слова.

Старшинствовавший за столом, бывший, возможно, начальником поезда, повернул голову к проводнику мужчины и, морща губы, покачал головой:

- Слышал? Я такого – чтоб больше ни разу. Разберись.

– Непременно. Обязательно. Все будет как должно, – продолжая сидеть по стойке «смирно», с глазами, полными осознания своей вины, быстро проговорил проводник.

– Пошел. Кругом марш, – глянув на мужчину, бросил старшинствовавший, возможно, начальник поезда.

– Простите! – выкрикнул мужчина. – А продукты? Как же продукты? Где их теперь покупать?

Ответом ему был новый взрыв хохота.

– Где ему покупать! Наглец! Ну, ни хрена будто не соображает! Хоть кол ему на голове теши!.. – хохотали сидевшие за столом.

И теперь проводник мужчины не предпринял попытки заступиться за него.

Потом проводник, что первым задал мужчине вопрос о радио, с той же суровостью, что спросил: «Испорчено?» – наставил на него указательный палец:

– Все! Кончилась лафа! Устраивайтесь кто как может. Кто как хочет. Хватит, напознались тут! Что, ресторан проходной дом вам? И нечего больше бухтеть, сказано – пошел!

Жаркая масса, бурно дышавшая в темноте рядом, вновь надвинулась на мужчину, взяла его за плечо и, развернув, двинула обратно к тамбурной двери – откуда пришел. В мужчине все возопило протестом, мысленно он отшвырнул от себя своего конвойного, вмазал его в стенку, вытолкал в окно, втрамбовал в колеблющийся под ногами, гудящий пол, но на самом деле куда ему было против этой горы мышц! Он стиснул зубы – и, ведомый направляющей рукой пышущей жаром массы, покорно проследовал к выходу.

4

Женщина, когда мужчина распахнул дверь в купе, сидела на полу. Со втянутой в плечи головой, беспомощно вскинутыми перед лицом руками – словно от кого-то защищаясь. В глазах ее, когда она метнула взгляд на вошедшего мужчину, он увидел ужас.

Слова гнева и возмущения, с которыми мужчина спешил к ней, чтобы рассказать о происшествии в ресторане, истаяли с языка, не сложившись в звуки. Он все понял. Она и в самом деле защищалась.

- Опять здесь? – бросился он к женщине. – Где?!

И увидел.

Американец, от которого защищалась женщина, висел под потолком, в самом его центре – подобно пауку в середине своей серебристой паутины. Только, в отличие от паука, он сам весь был серебристый – точно перистые облачка в летний день на высоком голубом небе, – и особо серебристым, просто ослепительно серебристым был круг стремительно вращающихся лопастей над ним. Он имел

облик большого, крупноголового вентилятора о трех длинных, изогнутых наружу лапах, и все в этом его облике: и мощные широкие лопасти, то скрытые раздвижным решетчатым чехлом, то вольно распахнутые наружу, и невероятно длинные конечности, на которых он умудрялся передвигаться быстро и ловко, ничуть в них не путаясь, и сам корпус, респектабельно-изысканной, тяжеловесной линии, – все это так и заявляло о себе: американец! американец! американец!

– Вон! – закричал мужчина, хватая со столика у окна лежавший там столовый нож и угрожающе вскидывая руку с ним к потолку. – Пошел вон отсюда, скотина!

Американец под потолком, слушая его, саркастически усмехнулся.

– Личную инициативу нужно проявлять, – без всякой видимой связи со словами мужчины, с некой механической заученностью изрек он оттуда. – Больше ответственности брать на себя. Слишком инертны!

– Вон! – повторил мужчина, вновь взмахивая ножом. – Получишь от меня! Я – не она, получишь по первое число!

Американец появлялся у них уже не в первый раз. Весьма не в первый. И всякий раз вел себя вызывающе агрессивно. Сначала, когда только объявился, он умел лишь по-английски, вещал-вещал что-то со строгим учительским видом – и на ветер, мужчина с женщиной непонимающе разводили руками. То, что они не понимали его, вызывало у американца негодование, он бешено вращал лопастями, возмущенно притопывал, сыпал искрами короткого замыкания. Когда он впервые позволил себе употребить силу, мужчина с женщиной расценили это как род шутки. Но «шутки», хотя американец вполне овладел русским, стали повторяться, и мужчина не выдержал. Он ответил американцу. Даже и с перехлестом – накипело. После этого довольно долгое время американец не возникал. А когда начал появляться вновь, то неизменно в его отсутствие. Донимал женщину нравouchениями, агрессия была из него фонтаном – и у женщины не доставало сил дать ему надлежащий отпор.

– Инертны! Слишком инертны! – снова воскликнул американец и, со свистом рубя воздух блистающим кругом лопастей, стремительно ринулся вниз.

Мужчина невольно присел, схватил женщину в охапку, прижал к себе, прикрыл собой – насколько то было возможно. Американец сияющим серебристым сгустком пролетел мимо, казалось, должен был сейчас со страшной силой грянуть за спиной о пол, – но нет: мгновение, другое, третье – все было тихо. Мужчина отпустил женщину и глянул за спину. Там, где полагалось бы лежать груде металлолома, все было девственно чисто – только несколько едва различимых глазом мусоринок на затертом, траченном половичке. Американец исчез, как его и не было. Будто он им обоим лишь примерещился.

Мужчина вспомнил, что женщина говорила про жирафа.

– Как ты думаешь, – хмыкнув, произнес он, – а его кто-нибудь, кроме нас, видит?

– Хочешь сказать, что он – только в нашем воображении? Смотри! – Женщина протянула к нему руки.

Мужчина посмотрел. Руки у нее до самых локтей были в яркой малиновой насечке, – следы от лопастей. И на щеках, на лбу, заметил он теперь, у нее тоже было несколько таких же полос.

– Сволочь! – вырвалось у мужчины. – Ах, сволочь!

– Он меня хотел убить! – В голосе женщины прозвучало рыдание. – Я не выдумываю, не выдумываю! По шее целил, в сонную артерию, я уже думала: все, не спасись!

Мужчине было нечего сказать ей на это. Нечем успокоить. Он мог сейчас только ругаться. Запустить трехэтажным. Сволочь, специально подгадывает момент для своих нравouchений, когда она одна и можно быть уверенным в безнаказанности!

Но в том, что американец хотел убить женщину, он сомневался. Это было маловероятно. Зачем ему, что за смысл? Так, просто куражился по-обычному. Наслаждался своей механической мощью и гарантированной безнаказанностью.

Мужчина встал с пола, молча поднял женщину и посадил на полку. Провел ладонью по ее голове.

– В следующий раз, буду уходить, нужно, чтобы у тебя под рукой было что-нибудь увесистое, – нашелся он, наконец, что сказать ей. – Вмажешь ему без жалости – будет знать.

Однако вместо умиротворения во взгляде женщины мужчина увидел все тот же ужас, что так резанул его, когда он вошел в купе.

– Что это с тобой? – спросила женщина, указывая на его лицо.

– Что? – непонимающе переспросил мужчина.

– У тебя кровь!.. И где продукты? Ты ходил за продуктами!

Мужчина вспомнил, что произошло в ресторане. Но те гнев и возмущение, с которыми он спешил к женщине, утекли из него – ничего не осталось, и он только махнул рукой:

– А-а, так.

– Нет, а продукты? Почему ты без продуктов?

Мужчина с удовольствием увидел, что тревога за хлеб насущный вымывает из ее взгляда ужас, растворяет в себе – подобно тому, как растворяет вешний снег вешняя вода.

– Кончилась лафа, – процитировал он слова одного из тех, что сидели за столом.

– Что ты несешь? – Женщина рассердилась. Она рассердилась, и от ужаса у нее в глазах не осталось и следа. – При чем здесь лафа? Какая лафа? Что ты собираешься есть на обед?

Она слишком рассердилась. Чересчур. Чрезмерно – даже делая скидку на ее состояние. Мужчина расценил такую ее реакцию оскорбительной для себя. Все же ему, пока она тут страдала от американца, тоже досталось.

– А ты, когда я уходил, собиралась белье постирать. Постирала?

– Мне не удалось. Этот тип появился.

Мужчина покивал:

– Вот и мне не удалось ничего купить.

Сознание женщины, видел он теперь по ее глазам, с мучительным напряжением пытается соединить произнесенные им слова с его видом. И вот это соединение произошло: лицо ее вспыхнуло сочувствием, виной, покаянием.

– Так ты... У тебя... Ты, значит... – вырвалось у нее косноязычным бормотанием.

В следующее мгновение женщина вскочила, их бросило друг к другу, и они обнялись. И некоторое время стояли так, не шевелясь и ничего не говоря. А и что им было сейчас говорить друг другу. Они понимали друг друга и так, молчанием. Он был ею, она – им, уже давно, целую пропасть лет; был он – была она, была она – был он, а поодиночке каждый из них становился словно бы одноногим, одноруким, одноглазо-одноухим – какие у них могли быть взаимные счета?

5

Мужчина только закончил рассказывать женщине о происшествии в ресторане, как дверь откатилась в сторону и на пороге возник проводник. Его форменный пиджак с блестящими пуговицами был расстегнут, галстук расслаблен и сбился на сторону, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Словно он бежал через все вагоны, задохся, сделалось жарко – и вот он растелешился. Но, в противоречие с его раскрепощенным видом, губы проводника были с карающей суровостью

подобраны в нитку, и так же карающе-суров был взгляд его светлых холодных глаз.

– Н-ну?! – вперив этот карающе-суровый взгляд в мужчину, проговорил он, постояв некоторое время на пороге в молчании. – Вам и прямой приказ – не указ?

– Простите? – произнес мужчина. Он не понял, что хотел сказать проводник.

– Простить? – переспросил проводник. – С какой стати!

– Нет, «простите» – в смысле, что вы имеете в виду, что мне не указ, какой приказ? – поторопился уточнить мужчина.

– Почему радио не включено? – В голосе проводника сквозила арктическая стужа. – Вы что, уже забыли, о чем вам было сказано в ресторане?

– А, радио! – воскликнул мужчина. Он обрадовался, что все, наконец, прояснилось. – Не успели еще просто.

– А что тут успевать? – Арктическую стужу в голосе проводника расцветила уничижительная ирония. – Трудно ручку повернуть? Без домкрата не обойтись?

Он резко шагнул в купе, заставив мужчину отскочить к столику у окна, перегнулся в поясе, принуждая мужчину изгибаться назад, втискиваться в столик что было возможности, и, дотянувшись до круглого рифленого пластмассового колесика на стене, крутанул его. В барабанные перепонки с мерзкой оглушительностью ударила какая-то дикая музыка. Может быть, там было фортепьяно, может быть, труба, гобой, виолончель, но из всех слышен был лишь барабан; он колотил, заглушая все прочие инструменты, колотил со страстью, неистовством, бешенством самоупоения; я, я, я, колотил барабан, есть только я, я, я, слушайте меня, слушайте, слушайте!..

Женщине вмиг стало дурно. Казалось, барабан бьет прямо по черепной коробке, и каждый удар все туже и туже свивает мозг внутри жгучим жгутом.

– Ой, зачем?! – простонала она.

– Затем! – откликнулся проводник. – Чтоб мне еще раз холку из-за вас трепали!

– А потише можно? – просительно произнес мужчина.

– Потише можно. – Проводник снова перегнулся в поясе и слегка привернул звук. – Но чтоб не тише! Чтоб я из коридора слышал! Тише – только когда спать. Но тише, а не совсем. Не до конца! Чтоб все равно включено было! Будете совсем выключать – сажаю с поезда, и гуляйте! Без разговоров. Я вас теперь не оставляю, вы у меня под колпаком, стану приходить проверять – хоть когда!

Тон его по-прежнему оставался арктически ледяным, но в голосе зазвучала живая страсть, как бы этот арктический лед пришел в движение, заторошился, с грохотом полез глыба на глыбу, и мужчине подумалось, что нужно замять последние слова проводника, нельзя заканчивать разговор на подобной угрозе.

– А я вообще думал, – с живостью, выпуская на лицо улыбку, проговорил он, – это шутка, про радио.

– Какая шутка! – перебил его проводник. – Все, шутки кончились! – Он взялся за узел галстука и, поведя из стороны в сторону подбородком, натуго затянул узел, – не застегнув, однако, верхней пуговицы на рубашке. Переместил руки вниз, свел вместе борта форменного пиджака и просунул в петлю одну пуговицу, другую, – оставив незастегнутой третью. – Кончились шутки, кончились, зарубите себе на носу!

Лед в его голосе все так же торошился и грохотал, но мужчина не решился на новую попытку смягчить проводника. Не получилось с первого раза – как бы вообще не сделать еще хуже.

Проводник между тем прошел обратно к порогу, переступил одной ногой за него – и внес ногу обратно, вновь повернулся лицом к мужчине и женщине.

– Да, а что это за запах, – пошевелив ноздрями, проговорил он. – Псиной пахнет! И тогда, когда в прошлый раз заходил. Что такое? Все же вы собаку везете. Без проездных документов!

– Да нет, что вы, мы ведь уже выясняли! – Женщина бросилась отвечать проводнику с явным желанием не дать ответить мужчине. Она опасалась, что он не сумеет ответить достойно. – Это мы завтракали. Это сыр такой. Залежался – и провонял. Какая собака, что вы!

– Да? Сыр? – недоверчиво произнес проводник, вновь пошевелив ноздрями. – Хм. Странно. Очень странно. Смотрите! Если в самом деле собака – ссажу с поезда, и гуляйте! Без разговоров.

Помянутый женщиной мифический провонявший сыр напомнил мужчине, что из похода за продуктами он вернулся с пустыми руками.

– Да! Послушайте! – кинулся он к проводнику. – А как же с продуктами? Где же теперь еду покупать?

На губы проводнику выскользнула тихая снисходительно-ироническая усмешка.

– Вам разве уже не ответили? По-моему, вы задавали этот вопрос, вам ответили, и вполне ясно.

– Что мне ответили! – воскликнул мужчина. – «Устраивайтесь кто как может». Это ответ? Как нам устраиваться? Посоветуйте. Я не понимаю.

Проводник вздохнул. С таким видом, словно этот нынешний визит к мужчине и женщине непередаваемо измотал его. Просто кошмарно измотал.

– У поезда остановки бывают? – сказал он затем. – Бывают, знаете не хуже меня. Ну? Что ж тут непонятного, как устраиваться. Выскакивайте на остановке – и отоваривайтесь. Хотите, в станционном буфете. Хотите, в пристанционном магазине. Хотите, у офень прямо возле вагона. – «Офень» он выговорил с особым тщанием, со вкусом, так и выделив слово голосом – ему было приятно щегольнуть им, показать, какие реликты он знает. – Выбор широкий, отоваривайся – не хочи. Что за проблемы?

– Но это неудобно! – снова вмешалась в разговор женщина. – Остановки так редко. И такие короткие. Иногда ее и заметить не успеешь, до того короткая.

– Ну, это уже проблема собственной расторопности. – Проводник всем своим видом так и показывал, что, продолжая разговор, делает мужчине и женщине одолжение, которого они не заслуживают. – Вот, кстати, сейчас остановка будет. Минут через десять. И пять минут поезд будет стоять. Пять минут – мало вам? Вполне достаточно. И не выключать! – не сделав паузы, словно бы все продолжая прежнюю речь, ткнул он пальцем в рифленое пластмассовое колесико на стене у окна. – Чтоб всегда включено! Буду слушать из коридора.

Дверь за ним закрылась, въехав в обитый хромированной железной полосой косяк, и мужчина с женщиной остались вдвоем. Они остались вдвоем – и обоим, и ей, и ему, показалось, что мгновенно наступила оглушающая, глубокая тишина. Хотя радио гремело во всю мощь, и все так же одним барабаном, самоупоенно выколачивающим свой примитивный варварский ритм.

– Давай на остановке сойдем вместе, – предложил мужчина. – Пять минут, пойдй сориентируйся. Давай вместе.

– Давай, – не раздумывая, согласилась женщина.

6

Станция была крупная. Семь или восемь путей перед вокзальным зданием, а само здание вокзала – раскидистое, большое, объемное, рассчитанное принять в свое чрево разом сотни людей. Горели десятки фонарей, заливая пристанционное пространство ярким, готовым посоперничать с солнечным, светом, посвисты-

вали маневровые паровозы вдалеке, невнятно грохотал голос диспетчера на горке. Выскочить из вагона, вдохнуть свежего воздуха на такой станции было даже и удовольствием.

Поезд поставили не вплотную к зданию вокзала, а посередине рельсового поля, но пути перед высоким привокзальным перроном были свободны и дорога к вокзалу открыта. На улице, оказывается, властвовала зима. Лежал снег, стоял рьяный морозец, разом пробравшийся под одежду и одевший тело каленой железной кольчужкой. Изнутри ничего этого было не понять. Казалось, что лето. Во всяком случае, когда они выходили на остановке в последний раз, еще всю буйствовала зелень.

Из вагонов на междупутье сыпались толпы людей. Как удивительно. А из их вагона не вышло никого, кроме них двоих.

Вдоль поезда уже выстроилась шеренга продавцов с рук – тех самых, кого проводник по-старому назвал офенями. Точнее, это была не шеренга, они сбились клубящимися кучками около раскрытых вагонных дверей, обволакивали собой каждого вновь сошедшего на землю, катились с ним по междупутью, через рельсы, растворяли в своем клубке – если он останавливался, отлеплялись – если не останавливался, и бросались обратно к дверям.

К мужчине и женщине, только они ступили на подножку, тоже прихлынула такая же орда. Молодые румяные бабы, трясущиеся старухи, алкогольного вида мужики, вертлявые подростки с острыми пронырливыми глазами. А вот картошечка отварная, горячая, голосили бабы. Огурчики соленые с укропчиком, с дубовым листом, верещали старухи. Папиросы, сигареты, самосад имеется, зверь, не самосад, хрипели мужики алкогольного вида. Жвачка, чуингам, освежает дыхание, сохраняет зубы, поднимает аппетит, предлагали подростки.

Все это было не то, что требовалось мужчине и женщине. Свежий творог, кефир, батон хлеба, сыр, колбаса – вот что им было нужно. Чтобы настоящая еда, а не закуска под водочку. Конечно, картошка – это замечательно, да уже готовая, не чистить, не варить, на стол – и ешь, но цена! Несусветная цена. А что ж вы хотите: с доставкой к порогу, себе в убыток, что ли?! – крикнула в ответ на предложение сбавить цену одна из рдяных молодых баб.

– Что, рванем на вокзал? – предложил мужчина.

– Попробуем, – отозвалась женщина.

Он схватил ее за руку и повлек за собой через отделявшие их от вокзального перрона пути.

– Быстрее, быстрее, – торопил он ее на ходу.

– Ой, так мало времени, как бы не опоздать! – приговаривала она за ним позади.

Толпы, скатившиеся на землю из других вагонов, мчали рядом, впереди, догоняли, обгоняли. У кого в руках мотались сумки – кожаные, тряпичные, брезентовые – у кого бился за плечами рюкзак. Когда мужчина и женщина влетели в здание вокзала, пронеслись, следуя указующим стрелкам, к буфету, сделалось очевидным очевидное уже и до того: ничем им тут не отовариться. Змеилась, извивалась, заполняя собой весь буфетный зал, толстобокая очередь, а у самой стойки буфета головка змеиного тела вспухала до невероятных размеров, туда было не влезть – если только у тебя не железные ребра; и там, у прилавка, уже всю чесали друг о друга кулаки, орал, и кто-то с разбитым в кровь лицом пытался выбраться оттуда наружу, и выбраться у него никак не получалось.

Зачем было и стоять в этой змее, без всякой надежды добраться до стойки?

– На площадь, в привокзальный магазин, должен обязательно быть! – не советуясь с женщиной, приказал мужчина.

Они рванули к двери, пронеслись под гулкими сводами центрального зала и так, на полном ходу, выметнули себя на крыльцо. Магазин имелся. Его светящаяся неоновая надпись манила к себе с противоположного конца такой же могучей, как вокзальное здание, подобной строевому плацу, утонувшей в сугробах площади.

– Ой, я не могу! – остановилась женщина. – Все, еле дышу. Не добегу.

– Жди здесь! – на ходу, летя по ступеням вниз, крикнул мужчина.

– Это бессмысленно! Не успеешь! Не надо! – услышал он, кричала ему женщина.

Он понимал и сам, что бессмысленно. Добежать до туда, да потом обратно, да в магазине уже свои очереди...

Однако мужчина чувствовал себя обязанным добежать – и убедиться в бессмысленности своего броска. Он все любил доводить до конца. Пусть неуспех, но знать, что сделано все возможное.

В магазине было полно народу.

Мужчина развернулся – и через несколько секунд уже несся через площадь обратно. Раз не получилось ничего купить ни в буфете, ни в магазине, следовало возвращаться к поезду и пытаться сторговаться с «офенями».

– Летим обратно. В темпе! – протянул он руку женщине.

Женщина только начала торговаться – поезд тронулся. Мужчина выхватил у рдяной бабы полиэтиленовый пакет с картошкой, полиэтиленовый пакет с огурцами у старухи, сунул им деньги, сколько они просили, и подпихнул женщину к уходящим ступеням:

– Заскакивай!

Проводник смотрел на них сверху с холодной иронической усмешкой.

– Заскакивай, заскакивай! – подсадил мужчина женщину.

Поезд стремительно набирал ход, шел все быстрее, и ему самому пришлось запрыгивать уже на ходу. Полиэтиленовые пакеты с картошкой и огурцами, когда заскочил на подножку, мотнулись в руке, ударились о поручень, тот, что с огурцами, лопнул, и огурцы один за другим мгновенно, не успев подхватить, выскользнули на землю под колеса.

– Хорошо, что не картошка, – ободряюще произнесла над головой женщина.

– Хватит там стоять. Поднимайтесь, – недовольно приказал проводник.

Мужчина поднялся к ним наверх, проводник отомкнул от стены рифленую железную пластину, бросил вниз и наступил на край ногой, чтобы замок, схватывающий пластину с остальным полом, защелкнулся.

Мужчина из-за его плеча глянул наружу. С высокого привокзального перрона сыпались на пути один за другим люди, неслись, перепрыгивая через рельсы, к набирающему ход поезду и, как спотыкаясь, останавливались. Внизу, у ступеней, возник человек. Он бежал, по-спортивному красиво работая согнутыми в локтях руками, и смотрел наверх, в проем двери.

– Откинь пол! Эй, откинь, дай заскочить! – крикнул он проводнику.

Проводник молча глянул на него, отступил назад, толкнув мужчину спиной, и отсоединил дверь от стены.

– Эй, не закрывай, дай сесть! – снова прорычал человек.

Проводник, по-прежнему ничего не отвечая, с размаху захлопнул дверь. Поезд шел быстрее, быстрее, набирал ход, залитая светом станция откатывалась назад, впереди угадывалась все та же глухая, полная, аспидная тьма.

– Успели!.. – с изнеможением и счастьем выдохнула женщина.

Мужчина согласно прикрыл глаза: успели.

– Ну, вы нам устроили жизнь! – укоряюще сказал он проводнику.

– Нормально, – спокойно отозвался проводник, закрывая дверь на ключ. – Успели же? Успели.

В коридоре, когда миновали узкий перешеек между ним и тамбуром, мужчину с женщиной ждало потрясение: тот был полон народа. Даже не полон, а кипел им. Стояли у окон, сидели на откидных сиденьях между окнами, протискивались, перемещаясь по нему, друг мимо друга, громко разговаривали, перекрикивались, а где-то в дальнем конце и пели под гитару, – шум стоял в коридоре, гвалт, рев океанской волны. И все это были молодые, очень молодые люди. Ощутимо моложе их сына, которого, хотя он уже изрядное время жил своим умом и своими трудами, все равно, конечно же, должно было считать еще молодым.

– Ой, к нам гости из прошлого, – увидев мужчину и женщину, произнесло юное создание женского пола, стоявшее с сигаретой в руках в самом истоке коридора.

– Идут гости, гремят их кости, – подобием эха отозвалось на ее слова юное создание пола мужского, тоже с сигаретой в одной руке, а второй обнимавшее юное создание женского пола таким образом, что ладонь жадным полушарием лежала на острой, задорной груди. Похоже, молодой человек был или поэт, или просто страдал манией версификаторства.

Мужчина с женщиной, ничего не ответив, переглянулись. Они согласно подумали об одном и том же. И так же согласно не поверили себе. Не может быть, сказали глаза женщины. Да, это было бы дикостью, ответил ей глазами мужчина.

Они совершенно напрасно не поверили себе. Их купе было занято. Парочкой таких же юных, как все остальные в вагоне, круглощеких детей, разве что ребенок со вторичными половыми признаками принадлежности к роду Евы имел еще и солидных размеров живот, неопровержимо свидетельствовавший, что плод греха ребенком откушан. Громоздился у стены большой черный чемодан из твердого пластика, выглядывала с верхней полки небрежно заброшенная туда черная дорожная сумка из плотной дерюжной ткани, на столике высился лоскутно-цветной рюкзак из кожзаменителя.

Мужчина с женщиной утратили дар речи. Стояли на пороге, ошеломленно взирали на юную пару и молчали, не в состоянии произнести ни слова.

– А! – воскликнул юный адам, пружинисто вскакивая со своего места и делая шаг к двери. – Это, видимо, ваши вещички здесь, да?

Дар слова, отнятый неожиданностью открывшейся картины, вернулся к женщине первой.

– С какой стати?! – вырвалось из нее с возмущением. – Вы что, не видите, что занято?

– Пардон! – Лицо у адама из оживленно-веселого вмиг стало суровой стальной маской. – Я вас не выставил, дождался – скажите спасибо. Здесь теперь мы! А вот с какой стати вы не освободили место?!

У женщины перехватило дыхание.

– Да вы!.. Вы!.. Мы здесь... Это наше место, покиньте его, будьте любезны!

– Да? Покинуть? Интересно! – подала голос ева. Лицо у нее было точь-в-точь, что у ее адама: неумолимая стальная маска, задень – расшибешься вдребезги. – Где нам сказали занимать, там мы и заняли. А вы должны были освободить для нас, вы виноваты, что не освободили, и еще на нас?!

Мужчина почувствовал, что отнявшийся язык готов повиноваться ему. У него сжимались кулаки. Если бы эта ева не была беременной!

– Произошла ошибка, – произнес он как можно спокойнее и доброжелательнее. – Вас неверно направили. Очевидно же: место занято. И мы никуда не собирались отсюда уходить. И, само собой разумеется, не собираемся.

– Что значит «не собираемся!»! – перебил мужчину адам. – Должны, так нечего! Наше место, и все, весь разговор! Собирайте вещички – и чтобы духу здесь вашего не было!

– Это вы – чтоб духу вашего не было! Это вы! – закричала, топнула ногой женщина. – Наглецы! Бессовестные! Это вы!..

– Что за шум? – прозвучал за спиной у мужчины и женщины голос проводника. – Что тут стряслось?

Мужчина с женщиной обернулись. Проводник стоял с согнутой в локте рукой, поигрывал вагонным ключом – словно собирался показать некий фокус, на губах у него, подобно тому, как он поигрывал ключом, играла его холодно-ироническая усмешка.

Мужчина поторопился опередить женщину. Она сейчас не владела собой, и не хватало только, чтобы обрушилась с криком и на проводника, испортив у него все впечатление о них.

– Удивительная история! – с этими же намеренными спокойствием и доброжелательностью, с какими обращался к паре, занявшей их купе, проговорил он. – Мы приходим, а на наших местах – другие, и говорят, будто бы их определили сюда. Вплоть до того, что требуют, дабы мы забрали свои вещи!

Проводник разогнул руку с ключом, опустил ее и покивал головой.

– Да, – сказал он, – нехорошо вышло.

И смолк.

Мужчина ждал, ждал его дальнейшей реакции, но проводник все молчал, глядя на мужчину с прежней холодной иронией, как бы любующейся, упивающейся собой – самодостаточной, а потому способной обеспечить ее хозяину сколь угодно продолжительное молчание, и мужчине ничего не оставалось делать, как прервать это молчание самому.

– Мы с женой, – махнул он рукой в сторону женщины, – вынуждены вас просить: предоставьте молодым людям другие места. Конечно, девочка беременна, конечно, им тоже нужно где-то ехать... но это ведь наше купе!

Сложенные в ироническую складку, губы проводника пришли в движение:

– Да где же другие места? Видите, сколько народу подвалило. Ни одной свободной полки!

– Но у нас тоже! У нас тоже! – вмешалась в их разговор женщина. – Только две полки, разместиться на двух полках четверым – это возможно?

– Две? Что вы говорите! – Ирония проводника сделалась высокомерной. – Это вы ошибаетесь, что две. Столько едете, так и не удосужились разобраться, сколько на самом деле. Что, и вы полагаете, две? – взглянул он на мужчину.

– А сколько? – нелепо спросил мужчина.

– Три! – Высокомерная ирония проводника изогнула, вздернула его белесые брови на самый лоб. – Этот тип купе имеет три полки. Это не какой-нибудь вагон для внутренних линий с четырьмя полками. Это международный вагон, европейского стандарта, и в нем три полки, повторяю: три – следовало бы разобраться.

Выставив вперед плечо, проводник протиснулся между мужчиной и женщиной, вошел в купе и, быстро проманипулировав с блестящими хромированными пластинами под днищем верхней полки, вдруг обрушил на головы юных адама и евы, смиренно сидевших на полке нижней, еще одну горизонтальную плоскость. Ева в ужасе взвизгнула и, подпрыгнув, словно разжавшаяся пружинка, с размаху въехала лбом в стенку напротив, адам мгновенно пригнулся, сложившись пополам подобием перочинного ножика, и закрыл голову руками.

Проводник не смог удержать себя от улыбки.

– Да ну, вы что. Никакой опасности. – И повернулся к мужчине и женщине: – Третья полка. Пожалуйста. Неужели даже и не догадывались?

Мужчина чувствовал себя уязвленным. Его самолюбие было задето. А он-то полагал, что такая непомерная толщина верхней полки, столь долгое время принимавшей для отдыха его тело, – это некая необходимая конструктивная особенность.

Но ничего иного, кроме как признаться в своей недогадливости, не оставалось.

– Понятия не имел, что это тут третья полка.

– Плохо, что не имели, – сказал проводник. – Имели бы – и никаких недоразумений. На трех полках вчетвером – прекрасно разместитесь. Все! – пресекая любые вопросы, возражения, просьбы – что со стороны мужчины и женщины, что со стороны адама и беременной евы, – повысил он голос. – Все, других мест нет. Пожалуйста, три полки. Размещайтесь.

Адам с беременной евой глядели на проводника глазами, полными обиды и недоумения. Они рассчитывали совсем на другое.

– Нет, но как же!.. – несмотря на запрет проводника, вырвалось из адама. – Ведь мы...

– Я сказал: все! – тотчас заткнул проводник его словоизвержение, не дав тому вырваться наружу. – Три полки, устраивайтесь. И чтоб ко мне – ни с какими жалобами.

Адам затравленно смотрел на проводника и больше не смел произнести ни слова.

– Радио, кстати, – сказал проводник, тыча пальцем в направлении колесика на стене. – Почему выключено?

– Ой, это не мы! – мгновенно с испугом вскинулась женщина. – Нас здесь не было. А мы уходили – было включено.

– Вас и не спрашивают, – отмахнулся от нее проводник. – Почему выключено? – повторил он вопрос, переводя взгляд с адама на еву.

Ева обиженно повела плечом:

– Голова болит...

– Включить! – тряхнул проводник пальцем. И посмотрел на мужчину с женщиной: – Объясните молодежи, как вести себя с радио. Чтобы всегда было включено!

– Но у нее болит голова! – вскинулся адам, указывая на еву. – Она в положении... и можно войти в положение? Ведь она в положении!

Глаза проводника были пустынными ледяными полями Арктики.

– Пейте таблетки от головной боли, – безжалостно сказал он. – Дышите свежим воздухом в тамбуре. Но радио чтоб – всегда. Включите, включите! – приказал он адаму, которому с его места, чтобы включить радио, достаточно было всего лишь протянуть руку. Дождался, пока тот возьмется за колесико, повернет его, потребовал: – Громче, громче! – и, когда адам крутанул колесико еще, удовлетворенно покивал: – Вот так. Хорошо. – Повернулся к мужчине и наставил указательный палец на него: – Назначаю вас как старшего по возрасту ответственным за радио. И вас, – перевел он взгляд и палец на женщину. – Обоих! Буду слушать из коридора. Если что не так – ответите первыми! Виноваты, не виноваты – первыми!

Он выступил в коридор, дернув за собой дверь, та поехала, докатилась почти до конца, остановилась, оставив между собой и косяком узкую щель, и адам незамедлительно привстал, потянулся к ручке радио, чтобы выключить его. Или, по крайней мере, уменьшить звук. По радио сейчас звучали народные песни, и певички визжали так, что это было почище всякого барабана.

Мужчину бросило к адаму – словно выстрелило.

– Вы что?! Не смей!

Адам отшвырнул его от себя со всем жаром своей юной, неистощенной силы.

– Ты мне еще указывать будешь, рухлядь!

Но мужчина не мог позволить ему выключить радио или даже привернуть звук. Ведь проводник обещал признать ответственными их с женщиной!

– Не смей! – снова закричал он, вновь бросаясь на адама.

Они повалились на полку, адам пытался сбросить мужчину на пол, а мужчина давил, давил на адама своим весом – и не знал, что делать дальше, что предпринять, когда адам сбросит его, наконец, с себя. Женщина закричала, беременная ева тоже подала голос – пронзительнее певич по радио.

Дверь двинулась, и на пороге возник проводник. Он никуда не уходил, он так и стоял здесь за дверью – и специально не закрыл ее до конца.

– Молодец! – похлопал он по плечу вскочившего мужчину. И обратился своим арктическим взглядом к адаму: – Делаю скидку на вашу юность, молодой человек! В следующий раз – никакого снисхождения. Виноваты – платите по счетам. Сказано, не делать тише – нечего руки распускать. Независимо от того, – бросил он взгляд на беременную еву, – болит голова или нет. Болит – ваши проблемы.

Проводнику адам не посмел поперечить ни словом. И не посмела сказать слова против ева. Наоборот, и тот, и другой залепетали что-то покаянное – винясь, оправдываясь, они были похожи на скулящих собачонок, в ужасе перед наказаньем припадающих у ног хозяина на передние лапы и бьющих хвостом.

Но только проводник вышел, закрыв на этот раз дверь до конца, адам преобразился – словно внутри него сработал некий переключатель: это теперь была сама воплощенная твердость, стальная непреклонная жесткость – ни в чем никому никаких уступок.

– Жена моя как беременная займет нижнюю полку, – сказал он. – Я, чтобы быть к ней ближе, размещусь на средней. Ваша – верхняя.

– Простите, вы что! – изумленно воскликнула женщина. – Верхняя, в моем возрасте?! И нас двое!

– А нас трое, – с подчеркнутой невозмутимостью ответила ей ева.

– Но вы бы, – обращаясь к адаму, – лично вы, – подчеркнул мужчина, – могли бы лечь и на полу. Если хотите быть ближе к жене. Ваш возраст вам позволяет.

– Мой возраст требует послать тебя куда подальше, – не повышая голоса, сказал адам.

Мужчина поймал готовые вырваться из него слова, прикусив себе язык. В буквальном смысле этого слова. То, чем единственно можно было ответить на плевки адама, лучше было вслух не произносить. Он бы потом пожалел о произнесенном.

Когда настало время ложиться спать, они легли с женщиной там, под потолком, вскарабкавшись наверх по приставной лестнице. Тесно было – невероятно. И слишком узка полка, и давно уже они не спали вместе, отвыкли. Они лежали, лежали, мешая друг другу, и все не могли уснуть.

Но все же они уснули – и проснулись оттого, что поезд влетел на какой-то цельнометаллический мост, словно бы над оврагом с речушкой внизу, быстро прогрохотал по нему – и понесся дальше, пожирая темное глухое пространство.

– Опять мост, – со стоном пробормотала женщина. – Будят меня эти мосты!

– Ничего, заснем, – утешил ее мужчина. – Куда денемся. Видишь, заснули же. И снова заснем. Деваться-то некуда.

Они и в самом деле уснули. Промаялись еще какое-то время, помнившиеся почти вечностью, и забылись.

8

Жираф был потерян и не знал, куда деть глаза. Его гладкая опрятная шерстка на холке дыбилась от смущения и неловкости колючим бобриком.

– Этот тип не имел понятия, что вы мои друзья, и ему ужасно стыдно. И мне тоже стыдно за него, ужасно стыдно, нет слов! – говорил он мужчине. – Я когда узнал, я чуть с ума не сошел, ей-богу! И ему тоже не сладко, переживает – просто кошмар, вот попросил меня ходатайствовать перед вами, чтобы вы его извинили.

– Да независимо от того, кто кому друг, кто нет, разве допустимо вести себя подобным образом! – воскликнул мужчина.

– Конечно, конечно, согласен, трижды согласен! – так же восклицанием отозвался жираф. – Но он и осознал, вполне осознал, в нем ломка, настоящая ломка произошла!

Американец стоял в отдалении с видом самой покорной скромности, свесив вниз лопасти. Втягивал в себя свою крупную голову, переминался, переступал с лапы на лапу – похоже, и в самом деле чувствуя себя не в своей тарелке.

Но мужчина не мог так вот взять и простить его. Слишком тот безобразно вел себя, это еще мягко говоря – безобразно, и перед кем был более виноват, так не перед ним, а перед женщиной.

– Но я не понимаю, я бы хотел понять, как можно так поступать?! – снова воскликнул мужчина. – С какой стати? И зачем? Что за смысл?

Жираф подвигал рожками на голове. Его негритянские губы поморщились, покривились в сторону.

– Американец, что тут добавить, – сказал он. – Миссионер, проводник высшей цивилизации. Он полагал, с туземцами нужно так обращаться. Чтобы в строгости их... посуровее. Чтобы они трепетали. Втемяшить через страх свои ценности. Американец, типичный американец, что с него взять.

Мужчина невольно и совсем неуместно захмыкал.

– Что это ты несешь. Ты же испанцев не любишь. А американцев ты обожаешь. Американофил. «Великая нация»!

– Великая нация, великая, – закивал жираф. – Какую цивилизацию создали! Но нужно же и объективным быть. Туповаты. Весьма туповаты. Нам им мозги вправлять и вправлять... А вправишь, так кем они станут? – неожиданно прервал он сам себя. – Нами, что ли, станут? Вот интересно, нужны они нам такие. Мы и сами с усами, чтобы еще американцам на нас походить!

Мужчина, слушая его, чувствовал, как губы ему развозит в улыбке. Он не мог устоять перед жирафом. Американец выбрал себе в адвокаты кого следовало.

– Мы-то с вами, – сказал мужчина американцу, – квиты. От меня вам, я помню, тоже досталось. Вы перед женой моей должны как следует повиниться. На колени пасть – чтобы она простила. Вы такого натворили... она ведь думала, вы ее убить собираетесь!

– Убить, что вы! – вскинулся и смолк, втянул голову американец.

– Ну, так мы вот хотели потолковать, были у вас в купе там, – снова вступил в разговор жираф, – а у вас там какие-то подселенцы. Крутые – жуть, юноша, тот сразу мне приемы каратэ демонстрировать стал. Куда ему, – дотянулся жираф головой до американца, ткнул его с усмешкой рожками в лопасть, – куда до этого юноши! Детский сад по сравнению с ним, даже не сад, а ясли.

Звучный лязг и грохот колес сопровождал их разговор. Они разговаривали в тамбуре, куда мужчина вышел покурить. Раньше он всегда курил прямо у себя, женщине это не нравилось, но она терпела и только отгоняла от себя рукой дым, когда мужчина случайно выпускал тот в ее сторону. Но теперь лафе пришел конец. Теперь в купе была эта беременная ева, и курить при ней – такое, естественно, исключалось. Конечно, они с женщиной вовсе не жаждали этого соседства, но уж раз выпало сделаться соседями, то приходилось считаться.

– А, так вы, значит, сюда ко мне – побывав там, – закивал и, не смог удержаться, всхотнул мужчина. – Познакомились, значит, с нашей молодежью? Показали

они уже вам? Крутые, точно. Слово им поперек – ни-ни, живо на место поставят. – И его осенило: – Так вы, получается, видели их, а они вас? Они вас, получается, тоже?

– Да, конечно, а как же, – удивленно ответил жираф. – Если мы их – да, то почему они нас – нет?

Понятно, понятно. Почему, действительно, нет. Мужчина снова покивал. Только уже не засмеялся. Ну вот, эксперимент поставлен. Женщина тогда говорила, что проводник, если бы зашел в купе, когда там жираф, то не увидел бы его. Будто бы жираф – только их, нечто вроде такой их общей галлюцинации, материализация их неутоленных желаний. Вот теперь ясно, как бы не увидел. Запах псины чует, а саму «псины» бы не узрел. Узрел бы, еще как узрел. И его, и американца.

– Ну так что, как мы поступим? – возобновил жираф основной разговор. – Там у вас, в присутствии тех, – никакой возможности объясниться. Может быть, здесь же, в тамбуре? Вы бы сходили, привели ее, а мы бы подождали.

– Да, а мы бы подождали, – снова вскинулся и смолк американец.

Мужчина вынужден был отрицательно покачать головой:

– Нет, она сюда одна, без меня не пойдет, а мы вместе сейчас выходить не можем. Боимся! Выйдем – а они дверь на замок. С них станется. И будем мы в коридоре куковать.

– Так к вам теперь вообще не особо в гости походишь! – дошло до жирафа.

– Не походишь, не походишь, – подтвердил мужчина. – Вон они вас приемами каратэ встретили!

– О елки зеленые! – сокрушенно проговорил жираф. – А я в вашем обществе всегда так оттягивался! Такой кайф получал!

– Ну, надо надеяться, обомнуты со временем, – сказал мужчина. – Обомнуты, помягчают...

– Ждать до морковкиного заговенья! – воскликнул жираф.

– Я вообще, – смущенно подал голос американец, – мог бы их поучить... Я, если всерьез, такое могу... Я ведь с вами не всерьез. А если всерьез – они вас сами рады оставить будут. Сбегут, натуральным образом. Только скажите.

Американец начал говорить – мужчина как раз собирался сделать последнюю, самую сладкую затяжку. Он поднес сигарету к губам, американец медленно, осекаясь, нанизывал слово на слово, – и дым встал у мужчины в горле колом, он поперхнулся, словно это была его первая сигарета в жизни.

– Что вы такое говорите, что вы говорите!.. – сквозь кашель, торопясь, забормотал он. – Как можно. Девочка на сносях, ждет ребенка... что вы! Ну, выпало нам такое. Ну что ж. Делать нечего. Как-нибудь обойдется.

– Ждать до морковкиного заговенья! – снова воскликнул жираф. На этот раз – с интонацией упрека и даже порицания.

– Последнего дня Помпей, – сказал американец.

– Простите? – не понял мужчина.

– Я говорю, до последнего дня Помпей! – повторил американец. Он понемногу расковывался, смущение в его голосе стало сменяться бесцеремонностью. – В смысле, ждать до этого срока.

– Почему? – снова не понял мужчина.

– Потому что Помпеи должны быть засыпаны пеплом.

– В смысле, всякая жизнь конечна – и ждать придется до ее конца?

– В смысле, что Этна, сколько ни спит, в конце концов обязательно просыпается.

Мужчине это надоело. Испортил ему последнюю затяжку, сейчас принялся говорить загадками.

– Ладно, – махнул он рукой. – У вас, у американцев, мышление – без полбанки не разберешься.

– На человека. По полбанки на человека! – с удовольствием завопил жираф. Вот так помолотить языком – это было ему в самый кайф. – А для жирафов – по две полбанки. У нас шея длинная, пока дотечет, куда надо, всосется – сдохнешь ждать результата.

– Нет, у нас все построено на точном расчете, никаких полбанок, – с полной серьезностью отозвался американец. – Другое дело, невозможно точно рассчитать, когда она все-таки проснется.

Мужчина, не продолжая больше этого разговора, шагнул к двери, ведущей в межвагонный переход, открыл, наполнив тамбур еще более сокрушительным лязгом и грохотом, бросил на стремительно бегущий внизу путь окурков и закрыл дверь. И сразу, показалось, на тамбур обрушилась тишина.

– Можно будет у нас появиться, – сказал мужчина в этой оглушающей тишине. – Есть вариант. Любитель каратэ где-то служит, все время туда-сюда, хлоп дверью – и нет. А его подруге что с нами сидеть? Тоже хлоп дверью – и ушла к приятельникам. Вот в это время – милости и прошу.

Жираф захмыкал, боднул американца рожками в лопасть и так, хмыкая, прогудел:

– Прямо по-американски. Вроде секса по расписанию. Живем теперь, да?!

9

Радио гремело некой радиопьесой со стрельбой и взрывами. Кого-то ранило, кого-то убивали, актеры верещали дикими голосами и кричали, перевязывая раны: «Не умирай!» Моментами для создания эмоционального фона вступала музыка, – она была под стать звуковым эффектам и актерским воплям: тоже словно бы садила из автоматов и жажала из минометов, а скрипки с альтами блажили, будто их резали.

Купе было полно. И адам со стремительно полнеющей евой, женщина, сидевшая с завязанной полотенцем головой, а кроме того... кроме того – сын, в явном нетерпении перетаптывающийся у стены с ноги на ногу.

– Ну, наконец-то! – воскликнул он, вскидывая руки, ступил к мужчине, обнял его, похлопал по спине и отвел от себя. – А то я уже собирался идти за тобой. Ушел курить и пропал!

По тону сына мужчина понял, что его появление здесь не связано ни с каким тревожным известием. Но вместе с тем слишком редко он здесь появлялся, чтобы его приход был вызван какой-нибудь пустячной причиной.

– Привет, привет, – сказал мужчина. – Счастлив видеть. – Так оно и было, он был рад видеть сына безумно, но сын до того далеко ушел от них, на такое громадное расстояние, что все свои эмоции в отношении него мужчина давно перевел в плоскость иронической интонации. – Что за дела занесли нас на этот малообитаемый остров? Вернее, что за проблемы? – поправился он.

– Да уж малообитаемый, – быстро глянув по сторонам, хмыкнул сын. Но это было с его стороны лишь данью вежливости – такой ответ, на самом деле теснота в купе его нимало не волновала. Его волновало лишь то, что заставило выбраться к родителям. Весьма волновало, раз выбрался. – Можешь со мной пойти? – спросил он.

– Куда? – ответно спросил мужчина. Хотя он знал и без того – куда. В вагон управления, куда еще. Им с женщиной должно было гордиться: их сын был одним из тех, кто вел поезд. Он был одним из них – и жил только этим. Ничего его больше не интересовало – только дела управления. И сейчас он звал мужчину пойти с ним, конечно же, из-за этих дел. – Вернее, зачем пойти? – поправился мужчина.

Сын нервно глянул на юную пару, так и ловившую каждое слово в их разговоре. Адам, тот смотрел на него взглядом, полным потрясенного изумления. Он, безусловно, знал сына, знал, кто он такой, — и вот чтоб он оказался их сыном!

— Если идешь, — сказал сын мужчине, — я тебе по дороге все объясню.

«Если идешь!»! Разумеется, мужчина шел, другого варианта не могло быть.

— Пойдем? — посмотрел он на женщину. Теперь, когда этот адам увидел, кто их сын, можно было совершенно спокойно оставить купе вместе. Теперь открытая дверь по возвращении была гарантирована.

— Нет, я тебя прошу! — Сын вскинул запрещающим жестом руку. — Это не развлекательная экскурсия. Речь идет о серьезных вещах.

— Иди без меня, — подала голос женщина, коротко взглянув на мужчину.

Она уже давно приняла и свыклась с положением *оставленной* матери. Сын был высоко, далеко, он уже был как бы и не сын, а сын настоящий, которого она растила, остался лишь в памяти.

— Давай, давай, — не дожидаясь его окончательного согласия, понукнул сын мужчину. — Идем. Я тут тебя столько прождал, а у меня каждая минута на счету.

— Безмерно благодарен, что не оторвал меня от моей сигареты, дал докурить, — предоставляя полную волю своей иронической интонации, отозвался мужчина.

Про себя он подумал: а действительно хорошо, что сын остался дожидаться его здесь, не пришел в тамбур. Так бы помешал там разговору!

Сын пошел впереди, мужчина за ним. Перед дверью в тамбур мужчина оглянулся, — адам с евой выкатились в коридор и смотрели им вслед.

Идти оказалось далеко. Вагон, вагон, еще вагон... Мужчина уже и забыл, когда ходил в эту сторону поезда последний раз. Да теперь, когда в поезде было запрещено торговать съестным, не ходил уже и в другую сторону.

— Так что такое? — спросил он в спину сына, все так же двигаясь вслед за ним коридором очередного вагона.

Сын, не останавливаясь, вскинул над плечом руку и отрицательно поводит ею из стороны в сторону. После чего слегка повернул голову назад.

— Нет-нет, все на месте. На ходу ни слова. Это секретно. Совершенно секретно.

Они миновали еще один вагон, вышли в тамбур, и сын достал из кармана ключ. Это был не обычный железнодорожный ключ, каким закрывал дверь вагона проводник, поворот на девяносто градусов — и готово, это был мощный сейфовый ключ, истинное произведение охранного искусства.

— Ого! — невольно вырвалось у мужчины.

— Да, приходится, к сожалению, перестраховываться, — вставляя ключ в прорезь замка и с легким щелчком поворачивая внутри, отозвался сын. — Большое дело затеяно, нужно обезопаситься. А то все так и рвутся порулить. Будто это то же самое, что бутерброд съесть.

— Может быть, потому и рвутся, что хотят бутерброды есть? — проговорил мужчина.

Они с женщиной с той поры, как весь их стол ограничился тем, что предлагали «офени» на остановках, такой возможности — сделать себе бутерброд — не имели.

Сын вынул ключ из замка, потянул, открывая, дверь и кивнул мужчине: заходи первым.

— Хочешь есть бутерброды — ешь свои, а на чужие рот не разевай, — сказал он в спину мужчине.

Горбатые железные пластины пола в переходе мелко сотрясались под ногами и ездил одна вдоль другой, оглушительно грохотали под ними внизу колеса, в щелях между пластинами и гармошкой боковых стенок бешено рябили смутно угадываемые в темноте шпалы.

Сын вновь замкнул дверь, через которую они вошли в переход, на ключ, протиснулся мимо мужчины к противоположной двери и вставил ключ в нее.

Он вышел удивительно не похожим ни на мужчину, ни на женщину, был маленького роста, крупноголовый, толстый, и живот его, когда протискивался к двери, так и вмял мужчину спиной в поручень сзади. И хотя это была плоть сына, то, с какой бесцеремонностью она приперла мужчину к холодному железному поручню, оказалось мужчине неприятно.

Замок щелкнул, сын открыл дверь, выступил в тамбур и жестом руки пригласил мужчину последовать за ним. Они достигли вагона, в который шли.

– Ну, слушай, – сказал сын, когда была закрыта и эта дверь, через которую они вошли. – Зачем я тебя позвал... Мы увеличиваем скорость. Должны увеличить. Обязаны. Слишком мы тихо едем. Тащимся, а не едем.

– Разве? – удивился мужчина. – Вроде бы вполне приличная скорость.

Сын поморщился.

– Это потому, что ты привык к такой. А она совершенно недостаточна. Ее нужно увеличить, и другого разговора быть не может. Нам нужно ехать быстрее. Много быстрее!

– Ага, – сказал мужчина, – понятно. И при чем здесь я?

– Ты должен сделать расчеты. Сколько понадобится топлива. На каких участках возможно предельное увеличение скорости, на каких нужно ее ограничить. Но чтобы везде, на всех участках мы мчались быстрее!

– Ага, понятно, – снова сказал мужчина. – Но почему именно я? Я ведь уже давно от всего отставлен.

– Ну, вот чтоб потрянул стариной.

– Перестань, что за объяснение, – поморщился теперь, в свою очередь, мужчина. – Почему не привлекаете других? В том числе и тех, кто помоложе?

– А ты что, хотел бы переуступить эту работу тем, кто помоложе?

– Я спросил, почему не привлекаете других?

Сын помолчал. Потом по лицу его пробежала усмешка.

– А ты что, не догадываешься? Некому делать эту работу. Никого не осталось, кто бы умел. Ты, может, единственный. Все сошли. Пересели. Осели на земле. Кто как. Разве не заметил?

Мужчина вспомнил пустой коридор вагона перед тем, как тот заполнился молодыми людьми. Ну да, действительно, они с женщиной еще все удивлялись: почему стало так безлюдно?!

– А ты сам? Те, кто вместе с тобой? – спросил он.

Сын двинул подбородком. В том, как он это сделал, просквозило высокомерие.

– Мы управленцы. Наше дело практическое. Тебе – посчитать, а там уж мы со своим делом справимся наилучшим образом.

– А молодежь что же? – не удержался от укола мужчина.

– Никого нет, кто бы умел, ты не понял? – терпеливо повторил сын.

– Что ж, – проговорил мужчина. – Раз никого, кроме меня... Не могу отказаться. Да и зачем?

– Вот именно, – сказал сын.

Всунул произведение охранного искусства в отверстие замка на двери, ведущей в собственно вагон, щелчок, мягкое лепетание хорошо смазанных петель, и мужчина ступил вовнутрь.

Он ступил вовнутрь – и его оглушило.

Ему приходилось бывать здесь и прежде, но давно, весьма давно, и он не мог даже представить, что в вагоне так все изменилось. Раньше этот вагон был, как и все остальные: так же обит каким-то пупырчатым, болотного цвета резинообразным материалом, такой же ширины, с такими же окнами, состоящими из двух рам

– широкой внизу и узкой сверху, у него не было только отдельных купе, а одно общее пространство, подобно тому, как в вагоне-ресторане, и лишь несколько выгородок в этом пространстве для рабочих столов. Теперь же от того, старого вагона ничего не осталось. Внутренняя отделка являла собой яркое белое безбрежие, как бы заявляя этим безбрежием о всяческой чистоте, царящей здесь. Окна сделались одним сплошным стеклом, невероятно увеличившись по вертикали, так что возникало впечатление, будто потолок вознесся вверх на добрые полметра. Но самое главное, вагон стал шире, и это уже было не впечатление. Он стал шире не меньше, чем на два метра, это теперь была настоящая комната на колесах, дели ее для удобства и комфорта работы на отдельные помещения – вполне возможно; что неведомый мужчине проектировщик и сделал.

Сыну, заметил мужчина, взглянув на него, доставляло удовольствие видеть выражение отцовского лица. Он буквально наслаждался той оторопью, что выразилась на лице мужчины.

– Что, – с этим наслаждением и произнес сын, – недурно, да?

Мужчина покачал головой.

– Недурно. Но ведь это же какая ширина! Как же мы до сих пор не столкнулись со встречным?

– А ты не заметил разве, что мы едем по однопутке? У нас нет встречных поездов.

– Однопутке? – удивился мужчина. – Как странно. Я помню, когда мы садились, было две колеи. Но ведь еще – и опасность опрокинуться. На каком-нибудь повороте. И весь состав под откос.

Сын поднял указательный палец:

– Вот! Чтобы этого не случилось, и нужны расчеты. Мы должны увеличить скорость. Значительно увеличить. Но при этом не слететь с рельсов.

Мужчина помолчал. Что-то не укладывалось это все у него в голове.

– А зачем понадобилось так расширять вагон? Что за нужда? Оставить, как было, и никакой головной боли.

Сын снова двинул подбородком. И снова в том, как он это сделал, просквозило высокомерие.

– А как же нам всем здесь работать? Чтоб разместиться, чтобы достаточно комфортные условия для работы. Такие задачи перед нами! Штат пришлось увеличить вдвое. Какая бы тут работа в старом вагоне?!

Первым делом они позаботились о своем комфорте, стояло в мужчине ответом на слова сына. Он думал, произнести ли это вслух, – бессмысленно, конечно, было говорить, без толку, но пойдя удержись, – и он уже открыл рот, чтобы дать волю звучавшему в нем сарказму, но, не издав ни звука, сомкнул губы. Из глубины вагона, появившись из-за угла перегородки, блистающей невинностью снегов Джомолунгмы, появился в сопровождении нескольких молодых людей тот, что старшиновал тогда за столом в ресторане, – может быть, сам начальник поезда. Он шел сокрушительным властным шагом, а по тому, как танцевали вокруг него молодые люди, было недвусмысленно ясно, что это – его охрана.

Старшинствовавший остановился в нескольких шагах, оглядел мужчину оценивающим взглядом, таким же сокрушительно-властным, как его шаг, и перевел взгляд на сына рядом. Сын, посмотрел на него мужчина, замер, вытянулся стрункой – насколько это было возможно при его росте и комплекции.

– Он самый? Батя? – кивнул старшинствовавший на мужчину.

– Верно. Он, – с послушностью отозвался сын.

Старшинствовавший снова впери свой взгляд в мужчину. Мужчина его узнал, а он мужчину, разумеется, нет.

– Ну? Что? Сможешь?

– Да. Мы уже обо всем договорились. Сможет, – торопливо проговорил сын.
– Заткнись, – коротко бросил ему старшинствовавший, не отрывая взгляда от мужчины. – Я спрашиваю, по мозгам работа? Осилит?

Мужчина пожал плечами:

– Что ж нет. Главное – иметь все исходные данные.

Теперь старшинствовавший опять посмотрел на сына:

– Предоставить!

Повернулся и двинулся прочь, тотчас поволочив за собой ореол из танцующих вокруг молодых людей.

– Уже все подготовлено! – крикнул ему в спину сын.

– Кто это? – спросил мужчина у сына, когда толпа укатилась обратно за угол перегородки и все вокруг снова стало тихо и пусто.

– Начальник поезда, – с почтительностью в голосе произнес сын. – Новый. Впрочем, и не такой новый, вот при нем уже это успели, – он повел вокруг руками, – реконструировать.

Начальник поезда. Правильно мужчина его определил. Действительно, вот что значит не слушать радио. Не узнать вовремя о таких судьбоносных переменах. Мужчина похмыкал про себя.

– Ну и мразь, – произнес он вслух.

Взгляд, которым сын наградил мужчину, будь «испепеляющий» не метафорой, а реальным обозначением температуры, превратил бы мужчину во мгновение ока в горстку пепла.

– Ты сюда не для оценок приглашен, – с металлическим скрежетом в голосе проговорил сын. – Сделай свою работу – и все. Не сверх того.

10

Адам, глядя на мужчину, взялся за рифленое колесико радио на стенке и, крутанув его, резко убавил звук. А затем и вовсе убрал.

– А?! – сказал он. – Что, плохо? Как отлично. А то у вашей жены голова болит, у моей тоже.

Он теперь часто провоцировал мужчину подобным образом. Буквально изводил его. У вас сын занимает такое положение, да что вам будет, говорил он. Да этот проводник просто не посмеет на вас бочку катить!

– Включите, молодой человек, – сказал мужчина. – Учитесь жить, не надеясь ни на чье заступничество. Включите, включите!

– Нет, а что? – откровенно поддразнивая мужчину, не внял его велению адам. – Вот оно молчит – и ничего. А этот если придет – ну, испытаем судьбу! Посмотрим, как он бочку покатит!

– Ой, ну вас же просят! – не выдержала, подала сверху голос женщина. Она лежала на их с мужчиной полке под потолком и листала книгу афоризмов, захваченную ими с собой в дорогу. – Если вам не хватает собственного ума понять, чем это все грозит, послушайте умудренных людей.

– Какие вы, умудренные люди, перепуганные. Какие перепуганные! – Адам поцокал языком, покачал головой. Он упивался владевшим им чувством превосходства. – Никакой опасности, а вы боитесь. Сами мучаетесь, других мучаете.

– Вот послушайте не просто умудренных, а мудрых людей, – сказала женщина. – Как раз для вас: «Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора».

Адам молча выслушал максимум и ничего не ответил. Он снова посмотрел на мужчину:

– Ну? Оставляем так, да? Испытаем судьбу?

Ему доставляло удовольствие поддразнивать мужчину. С того раза, как здесь появился сын, адам стал терпимей к мужчине и женщине, в обращении его появилась некая уважительность, переходившая временами даже в нечто вроде подобострастия, но, хотя он и знал, что мужчина не согласится выключить радио, отказать себе в сладости куража адам не мог. Или, наоборот, потому и куражился.

Мужчина перегнулся через столик, дотянулся до колесика радио и крутанул его, возвратив прежнюю громкость.

– Родите-ка, милые мои, своего сына, вырастите его, пусть он взлетит как можно выше, тогда и экспериментируйте. Испытайте судьбу сколько угодно.

Ева должна была родить уже совсем скоро – ну, полторы недели, две, самое большее, – и пойдут пеленки, кормления, плач... при мысли о том, что их здесь ждет, мужчину и женщину охватывало ужасом.

– А что они, почему вдруг приказали радио держать включенным? – спросил адам. – Раньше, вы говорите, такого не было.

– Раньше радио не было, – сказал мужчина. – А почему приказали... Ясно же: чтобы мы какой-нибудь важной информации не пропустили.

– Кретинизм! – ругнулся адам.

– А правда, да, что раньше не все время темно было? – спросила ева. – Будто бы такие день-ночь сменяли друг друга? То темно, то светло, то темно, то светло.

– Правда, – подтвердил мужчина. – Никакого искусственного освещения не требовалось. Солнце светило с неба.

– Здорово как! – воскликнула ева. И протянула припоминаяще: – Помню-помню. Это такой белый диск. Невозможно смотреть на него.

– А и нечего было смотреть на него, – сказал адам. – Ночь или день – не все равно. Главное, чтобы поезд пер. Чтобы никаких поломок, чтобы пер, пер, пер!

– А вот еще вам, – непонятно к кому на этот раз обращаясь, сказала, склоняясь со своей верхотуры вниз, женщина. – Послушайте: «Любое, даже самое громкое, деяние нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла». Точно, да? И дальше: «Деяние и замысел должны соответствовать друг другу, не то заложенные в них возможности так и останутся неосуществленными».

– Так. И что? – дослушав женщину, обратился адам к ней лицо. – Это вы к чему? Что вы этим хотели сказать? Я что-то не понял!

Мужчина успокаивающим жестом положил адам на плечо руку:

– Так это, ни к чему. Просто мудрость. Не поняли – и забудьте.

Дверь с грохотом рванулась из косяка, поехала в сторону, и на пороге возник проводник. Оглядел купе, поведив глазами из стороны в сторону, влево-вправо, вверх-вниз, и удовлетворенно кивнул:

– Хорошо! Орет во всю мощь. Можно чуток и потише. А то когда так громко, тоже слышать перестаешь.

Он, похоже, был немного навеселе – галстук сдвинут набок, фирменный пиджак расстегнут, ворот рубашки расхлюстан – и оттого благодушен, глаза его блестели от довольства жизнью, собой, тем, что во вверенном его заботам хозяйстве все обстоит наилучшим образом, как должно.

– Во-во, вот так, нормально, – махнул он рукой, показывая мужчине, какую громкость оставить, и подмигнул: – Что, чайку, может быть? А? Хочется чайку?

По его улыбке, по тому, как он подмигнул, мужчине было яснее ясного, что предложение чая – это такой род забавы. Попросить, конечно, чая можно, но принесен он не будет. Какой там чай.

– Нет, спасибо, – отказался мужчина.

– Ну, нет так нет. – Проводнику было обидно, что не удалось позабавиться властью. – А может, все же принести?

– Да нет же, – окончательно испортил ему кайф мужчина.

- Ладно тогда, – сказал проводник.
Выступил в коридор и вновь с грохотом закрыл дверь.
– Что?! – спросил мужчину адам. – Видите? Проводник же вам и сказал: по-тише. Сам! А можно, уверен, было договориться, чтоб и вообще выключить.
– А что же вы ни словом об этом не заикнулись?
– А не ко мне обращались.
– Вполне можно было обратиться и самому.
Адам сделал совершенно не свойственное ему постное лицо:
– Я, знаете, достаточно хорошо воспитан.
Мужчина не хотел – и всхрипнул:
– В самом деле?
– В самом деле! Да! А что? – рьяно вступилась за отца своего будущего ребенка ева.
– Послушайте еще, – голосом, полным отраженного хохотка мужчины, проговорила сверху женщина. И выставила с полки руку с книгой: – «Истинно благородные люди никогда этим не кичатся». А вот с другой страницы: «Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы их скрыть».
Женщина читала, – адам начал переодеваться, облачая себя в одежду, в которой ходил работать.
– Ну все, хорош грузить, – оборвал он женщину, когда она дочитала вторую максимум. – Нечего массы просвещать, они и так все знают. Вот если производится нападение с применением огнестрельного оружия скорострельного боя, а вы вооружены только пистолетом, как вы будете в этом случае действовать?
– Никак, – ответила ему женщина сверху. – Я не охранник.
– Только без иронии! – сказал адам, поддергивая на себе пятнистые просторные штаны камуфляжной формы и принимаясь звенеть пряжкой ремня. – Профессия охранника сейчас самая востребованная и почетная. Охранник, я бы заметил, – символ времени.
Это было точно, он был прав: охранников стало вокруг – каждый второй. Почти все молодые ребята из вагона ходили в камуфляже, грохотали тяжелыми ботинками, подбитыми металлом, стриглись как ежи. Никогда прежде в вагоне, еще до того, как он опустел, мужчина и женщина не видели такого количества людей, работающих охранниками. Можно было подумать, поезд на одной из остановок набил некими сокровищами, и теперь требовалось стеречь их и стеречь.
«Что вы там все стережете?» – хотелось спросить мужчине. Но он прекрасно знал, что ответа не будет, и воздержался.

11

- Ева, как это у них было заведено, выкатилась из купе практически следом за адамом. Женщина спустилась вниз и села на полке, вытянув перед собой ноги.
– Ух, хоть немного отдохнуть, – выговорила она.
– Ну да, какой отдых, когда гости! – ответил ей голос из-под стола. С улыбкой до ушей оттуда выбирался жираф. – Гости – это всегда хлопоты, а раз хлопоты – какой тут отдых?
– Ой, кого вижу! – Женщина сама расплылась в улыбке шире, чем у жирафа. – Вот, наконец, сообразил, когда прийти. А то что же: когда здесь эти!
– Упрек справедливый. Принимаю – и с чувством вины склоняю голову. – Жираф медленным движением согнул шею и прижал голову к груди. Подержал ее так мгновение и разогнулся. – Что? Прощен? Едем дальше?
– Едем, едем, – сказала женщина.

– Уф, слава Богу! – отозвался жираф. – Хуже нет, как стоять на месте. Терпеть не могу стоять на месте. Вот за что я люблю американцев – никогда не стоят на месте. Всегда в движении. Я, пожалуй, готов даже простить испанцев. Знаете, за что?

– Да, за что? – спросила женщина.

– За Колумба. За то, что ему не сиделось на месте, и он открыл Америку. Колумб, он ведь испанец?

– Бродяга он безродный, – сказал мужчина, не позволявший себе до этого встревать в разговор женщины и жирафа и наблюдавший за всем со стороны. – В Генуе родился, так испанец? Есть сведения, он был итальянским евреем.

– М-да? – Жираф изобразил огорчение. – Жалко. Значит, испанцам придется жить не прощенными мной.

– Ну, они, наверное, как-нибудь переберутся, – с покровительственностью, которая всегда прорезалась в ней при общении с жирафом, произнесла женщина.

– Да, придется им перебиваться, – подтвердил жираф. – Как я душевно ни щедр, но доброта моя не бесконечна.

О, он был мастер точить ляды. Что он мог бесконечно, так именно что точить ляды. Только отбивай посланный им мяч обратно. За этой игрой он мог забыть обо всем, даже и о деле. Если оно, конечно, имелось. А нынче оно имелось.

– Где же твой приятель? – спросил мужчина. – Что ты его выдерживаешь?

У них с женщиной – после той встречи с жирафом и американцем в тамбуре – произошло долгое, тяжелое объяснение. Она не верила в искренность американца, ей мнился здесь какой-то обман, подвох; но по прошествии самого недолгого времени в ней вдруг проснулось горячее, нервное нетерпение, она стала ждать появления жирафа с американцем как некоего судьбоносного события. И мужчина видел, как, обрадовавшись жирафу, балагурия с ним и насмешничая, она тут же вся напряглась и на самом деле хочет сейчас одного: чтобы ее обидчик поскорее предстал перед нею. Ну, когда? – читалось в ее глазах.

– Я выдерживаю своего приятеля, – изображая из себя примерного, занудливого ученика, по-школьному ответил мужчине жираф, – чтобы он созрел как хорошее вино. – Считаете, что уже достаточно выдержал? Могу откупорить.

– Откупоривай, – сказала женщина.

– Откупоривайся! – крикнул жираф.

Американец спустился с потолка, звучно шелестя сливающимися в прозрачный круг лопастями, словно вертолет. Коснулся пола двумя лапами, качнулся, утвердился на всех трех и отключил двигатель. Прозрачный круг обрел плотность, лопасти выскакивали из него на мгновение, давая схватить себя глазом, и тут же прятались обратно, потом стали выскакивать чаще, чаще, перестали пропадать, крутятся все медленнее, и, наконец, встали.

– Здравствуйте, – произнес американец, отвешивая поклон мужчине и затем, отдельный, глубокий, женщине. Выпрямился, замер, постоял так в молчании и передернулся сверху донизу, словно его потрянуло током. – Не знаю, что говорить, – обращаясь к женщине, выдал он скрежещуще, будто не смазывался сто лет, и все у него внутри спеклось ржавчиной. – Что ни скажи – не передашь. Я ужасно сожалею о своей глупости. Не понимаю, как мог так вести себя. Ужасно сожалею, ужасно! Я готов был бы пасть на колени, но у меня нет коленей. И это тоже ужасно, ужасно!

Американец разволновался, лопасти его стали вздрагивать. Мужчина вспомнил, это он так тогда в тамбуре говорил американцу: «На колени пасть, чтоб она простила!»

– Я лично могу считать, что вы пали на колени, – сказал он. И посмотрел на женщину: – Я лично считаю.

Ее лицо горело радостью удовлетворения. Но сквозь эту радость пробивалось и опасливое чувство недоверия: а вдруг тут все же какой-то подвох? Какой-то непонятный хитрый ход?

– Да, до меня дошли слухи о вашем сожалении, – церемонно произнесла она.

– Да ну, янки, янки, что с него возьмешь! – завопил жираф. – Дуб, ни бельмеса в нашей реальности, а показать себя хочется, – вот и показал!

– Вот показал! – эхом подтвердил американец.

Мужчина расхохотался. До того это было уморительно. Похоже, американец и в самом деле был простодушный и прямой парень, покажи палец, скажи «смешно» – и оборжется.

– Ты чего? – посмотрела на него женщина.

– Спиртику бы нам граммов по пятьдесят хряпнуть, – сказал мужчина. – Осталось у тебя? Ну, чтобы отметить такое событие!

Он не сомневался, что у нее осталось. Еще с той поры, когда отоваривались продуктами в самом поезде. «Рояль» в толстобокой зеленоватой литровой бутылке. Припрятала. Не могла не припрятать.

– Да? Спиртику? – посмотрела на него с осуждением женщина. – Ну, этот ладно, этот – конечно, – махнула она рукой на жирафа. – Но вы-то? – взгляд, который она устремила на американца, свидетельствовал, что его покаяние принято, и осталось лишь утвердиться в новом отношении к его персоне.

– Я... ну а я что! – переступил американец с лапы на лапу. – Я технический механизм, мне некоторые детали спиртом – очень даже на пользу.

– И ему на пользу! – воскликнула женщина.

Через две минуты и мужчина, и жираф, и американец – все были вооружены и сдвинули свои начиненные девяностошестидесятиградусным жидким порохом граненные орудия в стеклянном звяке.

– Нравится мне эта ваша традиция – позвенеть бокалами! – не преминул одобрить американец.

– Уж бокалами! – смущенно прокомментировала со стороны женщина.

– Надо же как-то и слух усладить, – готовясь принять в себя этот жидкий порох, отвечивал мужчина.

– Эх, чтоб не последняя! – воскликнул жираф.

И лихо метнул в себя свою порцию, не став запивать водой. Только по всему его большому телу, от холки до хвоста, пробежала судорожная крупная волна озноба.

Американец отправил во внутрь налитое ему добро неторопливой тонкой струйкой.

– Очень мне даже на пользу, – подытожил он, закончив журчать.

– Ну, разве не наш человек?! – наклонился к нему, боднул его рожками в лопасть жирафа. – Узнает нашу жизнь лучше – совсем наш будет.

Американец с живостью закивал своей большой головой:

– Да, да, между прочим, да! – И старательно поискал взглядом взгляда мужчины. – Расскажите мне о своей жизни. Очень вас прошу. А то я так мало знаю о ней!

Мужчина, приходя в себя после принятого внутрь порохового взрыва, похмыкал. Вот так взять ему и рассказать. Разве можно узнать чью-то жизнь из рассказа? Всякую жизнь нужно прожить. Тогда и узнаешь ее. Как ни из какого рассказа.

– Мчимся! – воскликнул он, отвечая американцу. – На всех парах, на всех парах, – что есть мочи. А скоро будем еще быстрее. Нарастиваем скорость!

Мужчина произнес это – и вспомнил о том вагоне, в котором недавно побывал. Вагоне управления. Каким они сделали его широким. Невероятно.

– А вообще хрен-те что! – проговорил он. – Хрен-те что, ей-богу. Какая-то у нас команда управления... странная команда! Можем разбиться в любое мгновение. Увеличили габариты своего вагона. Хорошо, сейчас едем по однопутке. Но так же не всегда будет! Завтра стрелка – и вынеслись на двухпутную. И все. Колея. Встречный состав – и катастрофа. Снесет нас, закувыркаемся под откос, костей не соберешь. А они: «Нормально!» Нормально им! Им там, конечно, нормально: просторно, комфорт, не жизнь – сплошное удовольствие. Но безопасность? Будущее? Они ни о безопасности, ни о будущем – ни о чем не думают. Даже о собственном будущем. О собственном!

– А этот начальник поезда, – вмешалась в речь мужчины женщина, – просто мразь. Вот его, – указала она на мужчину, – так по указке этой мрази отделали... Ни за что ни про что – просто попался под руку. Весь в крови пришел. Вот кого бы, – теперь она обращалась к американцу, – кого следует самого отделать – эту мразь. Чтобы знал. Чтобы понял кое-что. А то никто ему поперек ни слова...

– Перестань! Не подзуживай, – прервал ее мужчина. – Злом на зло... камень на камень, кирпич на кирпич... и вырастет высотный дом зла. Вот что еще странно, – перевел он взгляд обратно на американца, – странно так странно, страннее некуда... – Спирт всасывался со страшной силой, уже действовал, и язык несло, он молотил сам по себе, словно бы существуя отдельно от мужчины. – Я им расчеты скорости делаю. Где с какой проходить. Они мне данные дали – и я по ним. Где прибавить, где убавить. Чтобы не опрокинуться, насыпь чтоб выдержала. Ну, понимаете, да?

– Понимаю, понимаю, – покивал американец.

– Янки, они сообразительные, – с ухмылкой вставился жираф. – Во всяком случае, наш друг из таких.

Женщина погрозила ему пальцем:

– Не насмешничай!

– Да, так вот что странно, – повысил мужчина голос. Он еще ни разу ни с кем не говорил об этом. Даже с женщиной. Как-то так получилось. Что было говорить с нею. Все равно, что с самим собой. – Получается, что мы все время движемся по дуге. По дуге и по дуге. Дуга больше, дуга меньше. Только иногда по прямой. И такие это короткие отрезки! Чуть по прямой – и снова по дуге. Снова и снова!

– Как это может быть? – недоуменно спросил американец. Он был дотошным парнем, ему хотелось проникнуть в самую сердцевину чужой жизни, выяснить самую суть. – Что это значит?

– Не могу просечь! – сказал мужчина. – Вот уже сколько времени прошло, думаю временами – и просечь не могу!

– Тут и просекать нечего. – В улыбке жирафа была счастливая хмельная благоговейность. – Это значит, что мы не в поезде, а на корабле. И движемся к цели не по прямой, а галсами.

– А? Так? – посмотрел американец на мужчину.

Все же он был и туповат, несомненно. Галсы галсами, но какой корабль, когда рельсы под днищем!

Мужчина, однако, не успел ответить ему. Ручка на запертой двери задергалась, дверь запрыгала, и в нее постучали.

Это был не проводник, наверняка. У проводника имелся ключ, и, не открыв двери, он бы не стал стучать, а просто отомкнул ее. И все же не следовало, чтобы кто-то видел их гостей. Хватит того раза, когда они наткнулись на адама с евой.

– Исчезайте! Живо! Давайте! – шепотом велел мужчина.

Женщина бросилась прятать стаканы с бутылкой «Рояля». Стекло предательски звенело, она тыкалась в одно место, в другое – и все оказывались неподходящими.

– А если мне совсем не хочется уходить? – В голосе американца была пьяная неуступчивость.

В дверь застучали снова, и затем ее затрясли.

– Забирай его, забирай, давай же! – хлопнул мужчина жирафа по шее.

– Его заберешь! – с хмельной усмешливостью проговорил жираф.

– Помоги мне спрятать! Куда? – затеребила мужчину за рукав женщина.

Стук в дверь прекратился, и трясти ее тоже перестали.

Мужчина вскочил на стол, принял от женщины стаканы, бутылку и сунул все под подушку на их полке под потолком. Когда он спустился вниз, они с женщиной были в купе вдвоем. Жираф с американцем словно испарились.

В замок двери вставили ключ, щеколда щелкнула, ручка опустилась, оттягивая собачку, и дверь с грохотом отъехала в сторону. На пороге стоял проводник, из-за его спины выглядывала ева.

– Почему не открывали? – спросил проводник.

– Я стучалась, стучалась... – проговорила ева.

– Я еще мужчина, – сказал мужчина.

– А я еще женщина, – тотчас подхватила женщина.

Проводник втянул в себя воздух.

– Псиной у вас воняет. – Он пошевелил ноздрями еще. – И жженым маслом.

– Спиртом у них здесь пахнет, – тоже втянув в себя воздух ноздрями, жалующимся голосом сказала ева.

– Спиртом? – переспросил проводник. И унюхал. – Спиртом, точно! – Он расхохотался: – Ну-ну! Понятно. Алкоголь в этом деле вещь полезная. Пардон, что помешал. Но вот прибежала, – указал он на еву за спиной, – не пускают, не пускают!

Ева выступила из-за его спины, протиснула мимо проводника живот в купе и следом ступила сама.

– Именно что не пускали, не так разве? – сказала она.

– Но псиной все же у вас воняет, – приготовившись уходить, поводит проводник носом из стороны в сторону. – Смотрите, заловлю!

Он ушел, закрыв дверь, ева, все еще не пришедшая в себя от потрясения, пережитого перед запертой дверью, тотчас легла, закрыла глаза, и мужчина с женщиной тоже полезли к себе наверх. Им тоже требовалось отдохнуть. Они тоже пережили кое-что.

В барабанную перепонку, когда легли, переброшенный через оси, подвеску, через стенки вагона, полку, слегка приглушенный подушкой, ударил грохот колес о рельсы. Поезд мчался, пожирал пространство, стремил себя вперед. Прогремел металлический мост над каким-то овражком. Хорошая была скорость. А недолге поезд должен был помчаться еще быстрее. Мужчина уже заканчивал расчеты, почти закончил. Теперь – только воплотить теорию в практику.

12

Видимо, на станции, вещавшей по радио, была возможность увеличить звук независимо от того, насколько вывернута ручка включения, – динамик, гремевший барабанной музыкой с привычной громкостью, прервав барабан на середине фразы, вдруг словно взорвался: голос диктора, вырвавшийся оттуда, был истинно ударом грома.

– Внимание, чрезвычайное сообщение! Внимание, чрезвычайное сообщение! – выкатываясь из динамика, грохотал голос.

Мужчина с женщиной только что взобрались на свою верхотуру, собираясь ложиться спать, ева уже лежала, может быть, даже и спала, не было только адама,

несшего где-то свою ответственную охранную службу. Мужчина слетел вниз, крутанул колесико, чтобы приглушить раскаты грома, ева, соскочив босыми ногами на пол, со вздыбленной на животе ночной рубашкой, с диким видом, слепо глядя перед собой, стояла у стенки, тряслась, будто ее колотило в ознобе, и вопрошала в пространство:

– Что случилось?! Что случилось?! Что случилось?!

– Сейчас узнаем, – ответил ей мужчина. – За чем-чем, а за этим не заржавеет.

– За чем не заржавеет? – спросила ева, глядя перед собой все тем же слепым взглядом, похуже, не отдавая себе отчета в своем вопросе.

– За сообщением, обещают же, – нарочито обыденным голосом отозвался мужчина.

– Скорее не обещают, а угрожают, – поправила его сверху женщина.

– Зачем угрожают? – тотчас вцепилась в брошенное слово ева.

– Да нет, никто не угрожает, это шутка, – успокаивающе проговорил мужчина, с укором взглядывая наверх на женщину. – Шутка. Элементарная шутка.

Однако сообщение оказалось далеко не успокаивающим. Мужчина такого даже не ожидал.

– Внимание, чрезвычайное сообщение! – прогрехотал динамик в последний раз; последовала пауза, и тот же голос, что делал предуведомление, так же грохоча, наконец, сообщил: – Всем, находящимся в купе, независимо от возраста, состояния здоровья и самочувствия, незамедлительно выйти в коридор! Приказ обсуждению не подлежит и должен быть исполнен строго и неукоснительно. Все невышедшие автоматически будут считаться подозреваемыми. Повторяю: подозреваемыми!

– Подозреваемыми? В чем подозреваемыми? – снова спросила в пространство перед собой ева.

Ей было бы куда легче, если бы рядом сейчас находился ее адам. Ее бы, наверно, успокоила просто его рука, держащая ее руку.

– Да, в чем подозреваемыми? – вслед еве недоуменно проговорила женщина, свешивая вниз ноги и приступая к процессу спуска. Он у нее проходил в несколько этапов и затягивался довольно надолго.

– В государственной измене, в чем еще! – позволил себе прозубоскалить мужчина.

Хотя на самом деле прозвучавшее сообщение встревожило и его. Даже не встревожило, а как бы подняло ему внутри дыбом шерсть. Буквально такое было у него ощущение. словно бы там, внутри, он был неким зверем, и вот этот зверь почуял опасность.

В коридоре, когда они все трое вытиснулись туда, было уже полно. Юные создания, населявшие теперь вагон, исполнили отданное по радио приказание с бравой солдатской поспешностью. словно перед тем, как предоставить им здесь места, их специально тренировали. Они громко переговаривались, перекрикивались, в коридоре стоял гвалт – казалось, в воздухе разлита атмосфера молодой беспечности и легкомыслия. Но нет, отметил для себя, оглядевшись, мужчина: то была атмосфера старательно скрываемого страха. Юные создания вокруг были так же ошеломлены и испуганы, как и беременная ева. Только, не смея признаться в том друг перед другом, прикрывались, как фиговым листом, громким перекрикиванием. Но лица их выдавали. Как бы, при всей молодой неопытности, юные создания знали о своем пребывании здесь нечто такое, что не было известно ни мужчине, ни женщине, – и вот это знание оттиснулось ошеломлением и испугом в выражении их лиц.

Покушение, покушение, покушение, зашелестело затем по коридору. Слово перепархивало с языка на язык от одного к другому легкой бабочкой с листка на

листок. Оно, в отличие от всех иных, звучавших сейчас в коридоре, не произносилось громко, оно шепталось, и еле слышно, едва различимо, но, только возникло, тотчас же показалось, оно одно и звучит.

– Покушение? – тоже шепотом, с недоумением проговорила женщина, поднимая глаза к мужчине.

С тем же недоумением, что было в ее голосе, он пожал плечами. Ну, покушение. Может быть. Сейчас все разъяснится. К ним это дело не имело отношения. Конечно, сын работает в вагоне управления, но он вовсе не та фигура, чтобы покушаться на него. Если на кого-то и покушались, то на кого-то высокого. Очень высокого. Может быть, на того же начальника поезда.

«Начальник поезда» – эти слова и зашелестели по коридору следом. «Начальник поезда», «начальник поезда» перепархивало теперь тою же легкой бабочкой, что мгновение назад «покушение». Мужчина удовлетворенно взглянул на женщину: слышала? Она подтверждающе покивала: слышала. «Скрылся», «ищут», «не мог исчезнуть», – мотыльково промельтешило еще. Кто-то что-то знал, как-то откуда-то сведения приходили. Или специально делали утечки. Ознакомляли. Готовили. К чему?

Взрыв криков, раздавшийся в конце коридора, около дверей в тамбур, с несомненностью свидетельствовал, что из тамбура, шибанув дверь, в вагон разом вломилось несколько человек. «А-а!.. Что же вы!.. Ой, больно!..» – кричали, вопили, визжали придавленные. Словно волна прокатилась по вагону, уплотняя толпу, заставляя валиться на соседа, переступать ногами, торопливо перешагивать на новое место. «Молчать! Всем стоять! Не двигаться! Открыть купе!» – перекрывая голоса придавленных, прорывали с лающей волчьей беспощадностью другие голоса, – опять же, несомненно, тех, что вломились из тамбура. И новая волна побежала по коридору: пришедшие принялись ввинчиваться в толпу, раздвигать ее, прошивая своими телами. «Открыть купе! Дверь нараспашку!» – кричали они, продвигаясь вперед, все ближе и ближе подходя к мужчине и женщине.

Женщина, почувствовал мужчина, дрожит. Впрочем, беспокойство все сильнее охватывало и его самого. Чем-то происходящее напоминало ту давнюю пору, когда проводником был усатый. Конечно, когда в вагоне властвовал тот усатый, они с женщиной были детьми, они совсем плохо помнили то время, совсем смутно, но у этой памяти был запах, был цвет, и вот эти запах и цвет! – они будто прорвались оттуда, из детских годов сюда, в это происходящее сейчас действо, расцвели всеми своими красками.

– Не волнуйся, нет повода, ничего страшного! – нашел он руку женщины, взял ее в свою и крепко сжал. – Ничего страшного, набраться терпения, переждать это дело – и все.

– Да? Ты думаешь? – отозвалась женщина.

– И ты не волнуйся, девочка, – вспомнив о беременной соседке, взял он другой рукой руку евы, впервые назвав ее так, – словно она была ему родной.

Ева ничего не ответила ему. Но рука ее ухватилась за его руку так, что мужчина почувствовал: захоти он освободить свою руку – она не отпустит.

Шевеление толпы, пропускаясь сквозь себя ворвавшихся в вагон, нарастало, и вот первый из ломившихся по коридору оказался рядом с женщиной. Это был не кто другой, как та масса, что упражнялась на нем в вагоне-ресторане, – мужчина сразу узнал его. На массе пузырилась новенькая камуфляжная форма, и сам он под нею тоже весь пузырился и бугрился – выпирал из нее всеми своими мышцами.

– Купе! Дверь! – рывкнул он на мужчину, хватая его и швыряя в распахнутый дверной проем. – Шире! До упора!

Покатился, буравя толпу, дальше, а на его место протолкалась другая камуфляжная фигура, – и оказался это собственной персоной адам.

– Ой! – воскликнула ева, увидев его перед собой.

Скорее она заново испугалась, чем обрадовалась. Во всяком случае, ее рука, как и тогда, когда масса бросил мужчину в дверной проем, не оставила руки мужчины, а только сильнее сжала ее.

– Покушение! Слышала? – склоняясь к ней, жарким шепотом проговорил адам. – Сволочь эта американская. Который и к нам тогда лез. Несколько ударов успел нанести. Скрылся, сволочь!

– Который... тогда... к нам? – как-то сомнамбулически выговорила ева.

– Да перекинь твою марганца! – выругался адам. – Что ты так растряслась?! Сейчас поймаем его – и ша, сволочь! А остальным чего трястись?

– Стоять всем в коридоре, купе свободны! – проорал масса, пробравшийся в другой конец коридора. Видимо, по условиям операции ему полагалось управлять ее ходом оттуда. – Приступите к досмотру купе! Любой препятствующий досмотру считается подозреваемым!

Евина рука в руке мужчины крупно и сильно вздрогнула.

– Да что ты, девочка, – с тем же внезапно возникшим отцовским чувством к ней проговорил мужчина. – Не волнуйся ты так, в самом деле. Ты-то какое отношение имеешь к этому покушавшемуся. Что ты, девочка!

Но успокаивая ее, он успокаивал и себя. Вернее, женщину, чья рука при словах адама об американце, в противоположность руке евы, сделалась слаба, безвольна и покрылась потом. Ева не имела отношения к покушению – или что там было, – и ей действительно нечего было волноваться. А вот они с женщиной отношение имели. Самое прямое, непосредственное. Как там она сказала американцу про начальника поезда: «Кого следует... отделать – эту мразь». Едва ли у нее было намерение завести американца по-настоящему. Так, высказалась. Но получилось, что завела. Единственно, что никому об этом не известно. Кроме них двоих да самого американца с жирафом.

Орда в камуфляже прошла по купе вагона беспощадным смерчем. Грохали крышками нижние полки, летали с места на место полки верхние, взламывались, если не находились моментально ключи, чемоданы, открывались сумки, содержимое коробок вытряхивалось на пол. Обыскивался каждый закоулок, дальние темные углы просвечивались фонарем.

Потом охранники стали вскрывать всякие полости в стенах и потолке. Взгромождались на лестницы, отвинчивали отвертками шурупы на крышках, снимали их, залезали внутрь головами, снова светили фонарями.

Вот тут, когда начали шарить по внутренним полостям, мужчина ощутил совершенно реальный укол паники. Он не знал, откуда они приходят к ним с женщиной – жираф и американец, – не имел понятия, и жираф, когда спрашивал его об этом, неизменно уклонялся от ответа. Но на самом деле догадаться было несложно. Все варианты умещались в счет «раз-два».

Жираф обнаружился под крышкой кондиционера в соседнем купе. Поразительно, как он только сумел поместиться там. Его проволокли сквозь толпу по коридору в купе проводника, – он не сопротивлялся, покорно переступал ногами и, лишь когда удар дубинки оказывался слишком силен, всхрапывал, выворачивал голову, бешено вращал влажным выпуклым глазом, будто мог этим устрашить обидчика.

Зато оказал яростное сопротивление американец. Его нашли там, где, похоже, и не собирались искать, – в расположенном под полом коробе для грязного белья. Охранники о коробе или забыли, или не знали вообще, уже собрались все вместе, уже готовились к броске в следующий вагон, – из своего купе появился проводник, окликнул массу, спросил о чем-то, тыча в пол, и масса, побагровев, в

сопровождении двух подручных, расшвыривая всех на своем пути, тотчас бросился к указанному месту. Задрали лежавшую на полу ковровую дорожку, подцепили крышку люка, откинули... американец выметнул себя изнутри грозным боевым вертолетом, убийственным смертоносным орудием, врезал посвистывающим кругом лопастей, веющим ветром, массе по лицу, врезал одному его подручному, другому и снова массе...

Удар дубинкой, что обрушился на американца следом, был ужасен. Что-то в нем хрустнуло, треснуло, проскрежетало со страшным, размалывающим звуком, и из середины вращающегося прозрачного диска вылетела какая-то деталь. Влепилась в стену, пробила пластмассовую обивку и, оставив после себя черную рваную пробоину, громко прогремела о железо внешнего корпуса. Вторая дубинка вырвала у американца шмат резины из лопасти. Третья влупила ему по лапам, он упал. Вскочил – и от нового удара тотчас упал вновь.

Его охаживали в три дубинки, он крутился по полу, подпрыгивал, вращал искалеченными лопастями, все пытался подняться, – его молотили, молотили, молотили...

Еще он, непонятно для всех, кроме мужчины и женщины, непрерывно кричал – осколками фраз, слов, слогов:

– Ваш!.. Безумные!.. Поезд ведут!.. Широкий вагон!.. Однопутка!.. Пока!.. Когда двухпутка... Безум... Столкновение сразу!.. Нельзя допустить...

Постепенно его крик делался все нечленораздельнее. Потом он смолк. Летели во все стороны шматы резины, какие-то детали, с хрустом рассадился корпус, подвернулась одна лапа, отскочила другая. Искалеченные лопасти вращались медленнее, медленнее, двигатель взывал, скрежетал, из него повалил дым, выметнулось изнутри пламя. Лопасты остановились. Американец попытался приподняться еще раз, удар дубинки бросил его обратно на пол, он упал и больше не шевелился. С американцем было покончено.

13

– Так, значит, так она ему и сказала: «Отделать эту мразь, чтобы знал»? – указывая на женщину, спросил проводник жирафа.

– Так и сказала, – всхлюпывая носом, ответил жираф.

– И прямо так: «мразь»? – уточнил проводник.

– Прямо так, – отозвался жираф.

– Получается, прямо науськала?

– Получается, – согласился жираф.

Очная ставка с жирафом была устроена мужчине и женщине в вагоне-ресторане. Впрочем, вагон-ресторан использовался, вероятней всего, не только для очной ставки. Надо думать, здесь же до того проходил и допрос жирафа. Скатерти со столов были сняты, столы сдвинуты в один угол, поставлены друг на друга вверх ножками, а на них сверху, так же вверх ножками, накиданы в беспорядке стулья.

Сумрачно выглядело место веселья и развлечений.

Некоторое время, получив подтверждение жирафа, что женщина буквально науськала американца на начальника поезда, проводник сидел в молчании. Глядел неотрывно на женщину и молчал. Он один сидел во всем вагоне-ресторане, все остальные стояли. В том числе и охранники в камуфляже, сжимавшие их четверку – проводник, мужчина с женщиной, жираф – плотным мускулистым кольцом.

– Ну так что, – прервал, наконец, молчание проводник, обращаясь к женщине, – все так, подтверждаете показания?

– Нет, ну ведь я и думать не думала, – с торопливостью бросилась отвечать женщина, – что он сделает из моих слов такие практические выводы! Это была такая риторическая фигура, выражение моих чувств, моя оценка того, что начальник поезда позволил в отношении...

– Вы подтверждаете, – прервал ее проводник, – что вы сказали «отделать»? Да или нет, отвечайте: да или нет?

– Да, – произнесла через паузу женщина. – Это было, да.

– И «мразь»? «Мразь» вы тоже употребляли?

Женщина снова выдержала паузу. О, как ей не хотелось отвечать! Но что оставалось делать? Не ответить?

– Да, – вновь подтвердила она. – Да.

– Все, к вам вопросов у меня больше нет, – убирая с нее взгляд, сказал проводник. И объектом его внимания вновь сделался жираф. – А кто, значит, сообщил эти сведения о вагоне управления, о колее? О габаритах вагона, о том, по какой колее мы едем?

Он вообще был отменно вежлив – как никогда, даже, пожалуй, благожелателен и добросердечен, казалось, он выясняет интересующие его факты для того, чтобы в конце концов сделать для мужчины и женщины что-то необыкновенно хорошее. Но вид жирафа не позволял обмануться поведением проводника. Вот уж кто был отделан так отделан – это жираф. Морда его представляла собой сплошной синяк. Глаза заплыли, превратившись в бритвенные прорезы. Разбитые губы, в корке запекшейся крови, расплылись на пол-лица, из носа все еще продолжало подтекать, и на каждый вздох свиристело.

– Кто-кто, – хлюпая этим разбитым носом, отозвался на вопрос, заданный ему проводником, жираф. – Он вон, кто!

Голова его мотнулась в сторону мужчины, казалось, он хотел сказать мужчине столь экспрессивным движением: а что мне еще делать! прости, если можешь!

– Подтверждаете? – перевел проводник взгляд на мужчину. – Вы сообщили? Мужчина пожал плечами.

– Извините, но я ничего не сообщал. Я просто сказал. Упомянул об этом, вернее так.

Проводник отмахнулся от его уточнения:

– Это неважно. «Сообщил», «сказал», «уточнил». Все одно. От вас информация исходила? От вас!

– Это не информация.

– Информация, информация, – сказал проводник. – А вот то, что молоти про откос, про катастрофу – это уже не информация, точно. Это уже пропаганда. Панических настроений. Говорил он про катастрофу? – посмотрел проводник на жирафа.

Жираф с торопливостью старательно закивал головой:

– Говорил. Говорил, хорошо, сейчас едем по однопутке. А как двухпутка, встречный поезд – и тут же под откос. Вот таким образом!

– Ну?! – теперь проводник опять смотрел на мужчину. – Будем отрицать?

– А что, это не так, как я говорил? – спросил мужчина.

– Так, не так – это не важно! – Впервые за все время проводник позволил себе утратить свои благожелательность и добросердечие. Как бы волчий оскал проступил из-под его овечьего облика. Образ того, кто с легкостью мог сотворить сделанное с жирафом. – Важно, что вы сеяли панические настроения! Сеяли – и посеяли! Добились, чего хотели! И ну-ка, что он там о галсах нес? – даже не повернув головы к жирафу, приказал проводник тому вновь давать показания.

– Он говорил, что мы едем галсами, как какой-нибудь корабль, – с готовностью отвечал жираф.

Мужчина не смог удержать усмешки. Это жираф так специально, не в силах побороть свою натуру, или в самом деле забыл, о чем говорилось в действительности?

– Я говорил о дугах, – сказал он. – Галсы и дуги – это все же разные вещи. А о дугах – да. Мне показалось странным, как мы движемся.

– Галсы, дуги. В конце концов, это – все одно, – сказал жираф. – Не имеет значения, как называть.

– Вот именно, – с поразительной поспешностью согласился с ним проводник. – Главное, говорил об этом!

У мужчины не было никакого желания спорить с ними. Хотят считать галсы и дуги одним – Бога ради, их дело.

– Говорил, – подтвердил он.

Проводник намеревался спросить мужчину о чем-то еще, но был прерван. Тяжелым медлительным голосом, раздавшимся откуда-то из-за свалки столов и стульев:

– Достаточно. Все ясно.

Мужчина пригляделся – и увидел: там, за столами, в полутьме, так что едва светились фарфоровыми пятнами лица, сидело в ряд несколько человек. Словно бы неким зрительным залом. Или судом. А голос, остановивший проводника, принадлежал начальнику поезда. Он сидел посередине этого ряда, замаскированного перевернутыми столами и стульями, сидел так, что все остальные располагались от него на почтительном удалении, и несомненно, он и был главным распорядителем действия.

– Мужик с бабой пусть пока в стороне погужуются, – приказал проводнику начальник поезда. – Девчонку давай. Что она!

Охранники, молчаливо стоявшие все это время кольцом, пришли в движение. Мужчина ощутил у себя на предплечьях по суровому, беспощадному захвату, увидел, как точно так же взяли двое в камуфляже женщину, и их обоих повлекли с середины вагона к тамбурной двери. Он думал, их сейчас выведут из вагона, но нет: его резко остановили, остановив и женщину, и так же резко развернули, обратив лицом ко вновь сомкнувшемуся посередине вагона кольцу охраны.

– Стой! Понадобись еще! – сказали в ухо мужчине. – Стой, ты! – слышал он, как так же в ухо сказали женщине.

А перед проводником в середине кольца стояла уже ева. Ее, едва начальник поезда отдал свой приказ, мужчина и ожидал увидеть. Только вот что же за вина была у нее?

– Перекись твою марганца! – потрясенно произнес над ухом мужчины голос охранника.

И вновь, еще не повернув головы, мужчина знал, кто это: адам.

Он повернул голову – и удостоверился: адам. Один из беспощадных железных захватов на предплечье был его.

– А? – произнес мужчина не без чувства удовлетворения. – И что будешь делать?

Впрочем, чувство удовлетворения имело отношение только к адаму. Не к еве. «Девочка!» – с ужасом прозвучало в мужчине, словно она была его дочкой, – когда понял, кто сейчас будет стоять на их с женщиной месте.

– Козел! – сказал адам в ухо мужчине, сжимая его предплечье с такой силой, что у мужчины в глазах вмиг встали слезы и он едва удержал себя от того, чтобы не вскрикнуть. – Ее-то за что?! Козел!

– Слушай! – сумел выдать из себя мужчина. – Смотри. Решай для себя. И не сжимай так руку!

Железный захват ослаб. Мужчина перевел дыхание и взглянул на женщину. Она смотрела на него, ждала его взгляда. В ее глазах он прочел: «И что? Что теперь?» «Ждем, что!» – так же молча, движением подбородка и глазами ответил он.

Проводник между тем, сидя на стуле в центре кольца охраны, продолжал исполнение возложенных на него обязанностей. Он снова задавал жирафу вопросы, а потом просил еву подтвердить его ответ или же опровергнуть. Он спрашивал жирафа о том его посещении купе вместе с американцем, когда там не оказалось мужчины. Жираф отвечал со старательной, скрупулезной детальностью. Как вошли. Кого увидели. Что говорили. Что делали.

Наконец, проводник удовлетворился его допросом. Или удовлетворился начальник поезда, дав проводнику некий сигнал из-за своей баррикады. Проводник поправил узел форменного галстука под замечательно отутюженным воротничком форменной рубашки, пробежался пальцами по пуговицам форменного пиджака – все ли застегнуты. Пуговицы были застегнуты все до единой. Форменный пиджак сидел на нем так влито, будто проводник прямо и родился в том.

– Н-ну! – произнес он, обращаясь теперь исключительно к еве. – И почему же вы с мужем не сообщили куда следует, что в поезде безбилетные?

– Я не знаю, я не думала... – пролепетала ева.

– Что вы не думали? Почему не думали?

– Ну, они потолкались... исчезли – и все...

– А вы разве не помните инструктажа при посадке? Вы были обязаны доложить о безбилетных независимо ни от чего.

– Да, я была обязана, – повинно согласилась с проводником ева.

– И почему же не доложили?

– Я забыла, – сказала ева.

Проводник позволил себе усмешку. Вернее, не смог удержаться от нее.

– Вы понимаете, что вы говорите? Отдаете себе отчет?

– Нет, – тупо ответила ева.

Одна из рук, державших мужчину, снова стиснула предплечье с такой силой, что от боли мужчине опять задернуло глаза слезами.

– Перекись твою марганца! – жарким шепотом выдохнул над ухом адам.

– Вы обсуждали с мужем вопрос, докладывать или нет? – спросил проводник еву.

– Нет! – эхом отозвалась ева.

– Получается, он был с вами заодно?

– То есть? – переспросила она.

– Ну, чтоб не сообщать.

– В каком смысле? – вновь переспросила ева.

– Перестаньте дурочку из себя разыгрывать! – прикрикнул на нее проводник.

– Отвечайте: вы с мужем сговорились ничего не сообщать, так?

– Так, – подтвердила ева. – Сговорились. То есть нет! – тут же вскричала она.

– Не сговаривались! Не сговаривались, но не сообщили. Не знаю, почему.

Проводник выбросил перед собой запрещающим жестом руку:

– Не надо! Не оправдывайтесь! Вы признались! Признание сделано.

Рука адама, сжимавшая предплечье мужчины с силой чугунных тисков, разжалась. Мгновение – и мужчина увидел его уже стремительнодвигающимся к центру вагона, к кольцу охраны, в центре которого были трое: проводник на стуле и жираф с евой.

– Хватит! – кричал адам. – Довольно! Прекратите пытку! Она беременна, видите же!

Он не попал внутрь кольца – как, видимо, намеревался. Он даже не сумел приблизиться к тому: на нем гроздью повисли его товарищи, в таком же камуфля-

же, как он, мигом завернули ему за спину руки и пригнули к полу – так же, как тогда, при последнем посещении этого же вагона их начальник мужчину. Только тогда мужчина ведасть не ведал, что жаркая масса, скрутившая его, – это их начальник.

Товарищи адама пригيبали его к полу, он бился в их руках – и не мог вырваться, бился – и все бессмысленно, и тогда он завопил:

– Да я их, этих, я их так уделал! Я их! Этого особенно, америкашку! Я приемами каратэ! Они еле живы остались! Еле ноги унесли! Они на карачках уползли! Что о них докладывать было – я их взашей!..

– Заткните ему хайло, – донесся до мужчины тяжелый медлительный голос с другого конца вагона.

Адаму заткнули хайло первым же ударом. Те же его товарищи, что держали; без раздумий – тотчас, как было приказано. Но к первому удару незамедлительно был добавлен второй, ко второму – третий, четвертый, пятый... и когда мужчине в тесную прогалину между камуфляжным мельтешением открылось лицо адама, оно все было кусок сочащегося кровью парного мяса. Из щели рта у этого куска мяса вылетали и с легким веселым щелком падали на пол зубы.

Ева издала звук, похожий на икание, ее качнуло, она проделала в воздухе путь стекающей вниз синусоиды – и рухнула на пол в обмороке.

– Ссадить, – коротко произнес тяжелый медлительный голос из-за ощерившейся ножками столов и стульев баррикады.

Товарищи адама прекратили свое танцующее кружение вокруг него, подхватили его под мышки и споро поволокли к двери. Один борзо заскочил вперед, распахнул ее, впустив в вагон обвальный грохот колес, и держал створку, пока двое других с повисшим у них на руках адамом не протиснулись в тамбур. Потом он закрыл дверь. Грохот колес тотчас сделался глухо-далек.

Их не было не дольше, чем полминуты. Дверь вновь распахнулась, вновь наполнив вагон лязгающим грохотом, и товарищи адама один за другим вошли внутрь. Дверь закрылась. Адама с ними не было. На лицах вошедших играло то выражение благодного удовлетворения, какое бывает у людей, добросовестно выполнивших тяжелую, неприятную работу.

Один из них прошел к самой баррикаде, сложил в воздухе перед собой руки крест-накрест, поддержал так миг и резко бросил в стороны.

Мужчина почуствовал, как у него дергается, вибрирует сухожилие под левым коленом, – невозможно стоять на ноге. «Поджилки трясутся», вспомнил он. Вот оно, значит, как они трясутся. Ему было страшно взглянуть на женщину. Но он не мог оставить ее сейчас без своей поддержки – хотя бы взглядом.

В глазах женщины стоял ужас. «Неужели?.. И нас тоже?!» – было смыслом этого ужаса. Мужчине хотелось ободрить ее. Покачать утешающе головой: ни в коем случае! Но у него не оказалось на это сил. Смотрел на женщину – и не мог пошевелить ни единой мышцей.

– Ну-ка поближе их сюда всех, – словно из тумана, донесся до него голос начальника поезда.

Руки, державшие мужчину, подтолкнули его: иди! И тотчас вибрирующее сухожилие подвело: нога, словно парализованная, не послушалась мужчины, – и он упал на колени.

Должно быть, он выглядел при этом забавно, – за баррикадой грохотнули молодецким смехом.

– Ладно, ладно, перестаньте, – пресек смех голос начальника поезда. – Волнуется человек, почему нет?

Мужчину потащили к баррикаде волоком. Так же тащили из вагона адама. Это сходство было нестерпимо, мужчина пытался идти сам, наступать на ногу, но та-

щившие влекли его с такой свирепой неудержимостью, что осуществить свое желание мужчине так и не удалось.

– Но вообще раньше следовало волноваться, – сказал мужчине начальник поезда, когда мужчина оказался перед баррикадой. – Раньше, да!

Теперь это был не просто голос начальника поезда, это был он сам. Его лицо с другой стороны баррикады стало видно совершенно отчетливо, и как же изменился начальник поезда с той поры, когда мужчина видел его в прошлый раз! И прежде в его лице была та самая безмерная, каменная тяжесть, что звучала в голосе, теперь у него было лицо самого камня: ни выражения, ни чувств, одна эта каменная тяжесть – и только.

Мужчина смотрел на начальника поезда и чувствовал в себе: пусть ссаживают. Что за смысл ехать дальше после случившегося. Пусть ссаживают.

Казалось, начальник поезда услышал его мысли.

– Что, – проговорил он, каменно поворачиваясь влево, вправо – обращаясь к остальным, сидевшим с ним с той стороны баррикады, – что с ними делаем? Ссаживаем?

Ответом ему раздался согласный гул:

– Ссаживаем! Ссаживаем! Ссаживаем!

И, задержавшись, отстав от других голосов, догнал их еще один голос:

– Ссаживаем...

Мужчина вздрогнул. Это был голос сына. Он зашарил глазами по сидевшим там, с той стороны баррикады, – и нашел: сын располагался рядом с начальником поезда, первым слева от него, сын теперь был крупной величиной, невероятно крупной – можно гордиться!

Что ж. Действительно настала пора ссаживаться. Друг предал. Сын предал. Что за смысл ехать дальше.

Мужчина потянулся рукой – взять руку женщины в свою, как там, в вагоне во время обыска, только тогда другой рукой он еще держал руку несчастной беременной девочки, что лежала сейчас в беспамятстве, но ему не удалось дотянуться до руки женщины: железные тиски на предплечье сжались – и не позволили ему сделать это.

Начальник поезда повернулся в сторону сына и поманил пальцем наклониться к нему.

– За зверя меня считать не нужно, – выговорил он, когда его повеление было сыном исполнено. – На ходу ссаживать не будем. Остановим поезд. Специально.

Лицо сына было едва не таким же каменным, как у начальника поезда. Ни мускула на нем не дрогнуло. Только разжались губы.

– Спасибо, – произнес он коротко.

– Спасибо! – прихрюкнув разбитым носом, низко согнул шею жираф.

Начальник поезда отрицательно поводит в воздухе рукой.

– Тебя не касается. Этого, с шеей, – нашел он взглядом того, массу, начальника охраны, – его на чучело. Пусть стоит, ресторан украшает.

Жираф рухнул на колени. Из глаз его рванули слезы. Обильно, неудержимо, настоящим потоком.

– Помилуйте! – пронзительно завопил он сквозь рыдания. – Помилуйте!.. Ведь мне же было обещано, я все рассказал... Ссадите меня тоже! Ссадите... Там зима, мороз, я теплолюбивое животное, мне там и так конец... но только чтобы не чучелом!..

Начальник поезда каменно покачал головой.

– Зачем же добру пропадать. Вон у тебя какая знатная шкура. Послужи людям.

Жираф завопил диким, истощным голосом, попытался подняться с коленей, но масса дал знак, на жирафа навалилось столько – его не стало видно под камуф-

ляжем. Опрокинули на пол, завжикали в воздухе сырмятными ремнями, связывая ноги...

Женщина закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. Ей сейчас хотелось так же, как эта беременная девочка, упасть в обморок – и тьма.

Мужчина кивком головы указал на лежавшую у них за спиной беременную:

– А она? Что с ней?

– Она нам здесь что, – сказал начальник поезда, – нужна?

14

Поезд угрохотал во тьму, повисели в воздухе красные огни последнего вагона – как напоминание об утраченной жизни, растворились вслед за звуком поезда в окружающем неизвестном пространстве, и мужчина с женщиной, да беременная девочка с ними, еще бывшая без сознания, остались с этой тьмой наедине. Тишина, навалившаяся на них, имела плотность атомного ядра. Она давила на барабанные перепонки с такой силой – казалось, ее невозможно выдержать.

– Надо идти к жилью, – чтобы избавить себя от тяжести оглушающей тишины, проговорил мужчина.

– Умная мысль, – отозвалась женщина. – Только где оно?

В самом центре, над головой, небо было чисто, ни единого облачка, звезды катились по нему крупными мохнатыми жуками, и снег, лежавший на земле, отражая их свет, наполнял воздух слабым, мглистым сиреневым свечением. Вокруг, сколько хватало глаз, был один этот снег, снег, снег, темные сгущения деревьев на нем, и ни признака огонька, говорящего о жилье. Их высадили в чистом поле, вдали от всякого жилья – может быть, за километры и километры или даже десятки километров от него.

И еще мороз. Не слишком крепкий, но все же мороз, и ясно было: не двигаться – скоро превратишься в ледяной столб.

– Пойдем вдоль пути, – сказал мужчина. – Какая-нибудь станция рано или поздно должна быть. Вот только привести девочку в чувство.

Они с женщиной, не сговариваясь, глянули на нее – и увидели: девочку уже не нужно было приводить в чувство, она уже пришла сама. Видимо, только-только, лежала, глядела в круглую звездную прогалину над собой и, похоже, еще не успела осознать, что с ней произошло и где она.

– Привет, милая, – склоняясь к ней, произнесла женщина – с той нежной силой, которая прорезается у женщин в обращении с детьми и больными.

– Нас что, ссадили с поезда? – разомкнула губы бывшая ева, ставшая для них теперь просто беременной девочкой.

Оказывается, она все осознавала.

– Ссадили, – коротко отозвался мужчина.

– А он? – снова прошевелила она губами.

Мужчина с женщиной переглянулись. Отвечай ты, что хочешь, прочел мужчина (скорее, догадался, чем прочел) в ее взгляде.

– Его нет с нами, – сказал он.

Девочка попыталась приподнять себя на локтях.

– Но он... он?... – запинаясь, выговорила она.

– Мы втроем, милая, – словно это было необычайно хорошо, что они втроем, ответил мужчина. – Вот мы двое. И ты.

Девочка рухнула обратно на подстилку – так удачно прихваченный женщиной из тамбура кусок старой, затоптанной ковровой дорожки, – и лицо ей перекрутила судорога рыдания.

– Я так не хотела, чтобы он шел в охранники! Так не хотела!

Мужчина и женщина молчали. Что они могли ответить ей?

Немного спустя лицо девочки стало выглаживаться. Она издала еще несколько трубных звуков, и слезы у нее остановились. Поразительно быстро пришла она в себя. Словно была закаленной в таких делах.

– Его ссадили, не останавливая поезда? – выделив голосом «ссадили», спросила она, одновременно садясь на своей подстилке.

Мужчина с женщиной снова переглянулись. Вопрос девочки был еще поразительнее, чем то, как скоро она пришла в себя.

– Почему ты так предполагаешь? – осторожно проговорила женщина.

– Так да, нет? – требовательно спросила девочка.

Она остановила свой взгляд на мужчине, и ему не оставалось ничего другого, как возложить скорбную миссию на себя. Да, милая, прикрыв глаза, молча подтвердил он.

Он, отвечая, прикрыл глаза, девочка после его ответа глаза закрыла. Закрыла и некоторое время сидела так, покачиваясь из стороны в сторону. Потом прекратила раскачиваться и открыла глаза.

– Я так и знала, – произнесла она.

– Откуда ты знала? – быстро, с испугом спросила женщина.

Девочка медленно подняла к ней взгляд и произвела на лице нечто вроде усмешки:

– Это вы ничего там в поезде не знаете. А мы ко всему готовы.

– Кто «мы»? – Мужчина хотел воздержаться от вопроса – и не сумел удержать себя от него.

– Мы, кто недавно сели.

– И к чему готовы?

– Ко всему, – отрезала девочка. И стала вставать. – Вы поможете мне?

– В чем?

Мужчина и женщина задали свой вопрос одновременно. Прежде бы они непременно расхохотались над этим и вдоволь по этому поводу нашутились, но уж какое веселье было сейчас?

– Помочь похоронить, – ответила девочка. – Каждый человек должен быть похоронен. Я не могу оставить его лежать просто так.

Мужчина с женщиной переглянулись в очередной раз. Думай, как поступать, прочел мужчина в ее взгляде.

– Как же мы его найдем, милая? – сказал он. – Мы даже не знаем, где это случилось.

– Мы пойдем вдоль колеи, – сказала девочка. – С двух сторон. И будем смотреть. Ведь вы же все равно собирались идти вдоль колеи к жилью.

Оказывается, когда они с женщиной говорили об этом, она уже не только осознала, что с ней, но и все слышала и понимала.

– Что ж, – согласился мужчина, – ты права: все равно идти вдоль колеи. Так не все ли одно, в какую сторону. Пойдем откуда приехали.

– Но если раньше будет станция, на станции мы сделаем остановку, – сказала женщина. – Тем более что у нас нет никакого инструмента, чтобы вырыть могилу. Нам в любом случае нужно сначала к жилью!

– А еще можно пойти по хорде, – как не услышав женщины, словно продолжая договаривать прежние свои слова, произнесла девочка. – Тогда мы очень экономим в расстоянии и силах.

Мужчина не понял.

– По какой хорде? – спросил он. – При чем здесь хорда?

– При том. Ведь вы же сами говорили о дугах. Я слышала. Значит, тоже знает. А вы ученый. Сможете рассчитать.

Мужчина не понимал, что она говорит. Ровным счетом ничего не понимал.

– Что рассчитать? Что я знаю?

– Не прикидывайтесь. То, что мы едем по кругу. Вы же сами говорили: по дугам.

Молниевая вспышка прошла мужчину. Сотрясла его с ног до головы. Конечно! Он не посмел додумать эту мысль до конца, он остановился, можно сказать, на ее пороге, а то были не дуги, вернее, не просто дуги, а часть единой окружности! Они мчались по кругу, по кругу, и сын это знал, как знали все остальные из вагона управления, и еще зачем-то увеличивали скорость! И вот почему они не боялись столкновения: потому что сталкиваться было не с кем! Они были одни на этом круговом пути. Они одни – и никого больше. А тот мост над оврагом, так мучивший женщину, мешавший ее сну, – это, получается, все один и тот же мост!

– Ну! – понукула мужчину девочка. – Скорость поезда вам известна. Время, которое прошло, как ссадили его и нас, – тоже. Кривизну пути возьмете среднюю. Что вам рассчитать длины отрезков?

– Так вы, значит, знали, что мы по кругу?! – потрясенно воскликнул мужчина.

– Знали, конечно. – В голосе девочки прозвучала интонация превосходства. – Это только вы, в поезде, не имели понятия. А мы знали. Только об этом говорить было не положено.

– По кругу! Значит, по кругу! – Мужчина никак не мог прийти в себя. Он посмотрел на женщину. – А когда мы садились, ты помнишь, ведь не по кругу было! И две колеи. Стрелок было полно: в ту сторону, в эту, в третью!..

– Да, полно стрелок, – подтвердила женщина. Она тоже была потрясена, не меньше мужчины. – Не по кругу, точно, что не по кругу!

– Ну хватит об этом! – Девочка не просто прикрикнула, а и притопнула ногой. О, она чувствовала, что она для них уже не та, прежняя ева, что они уже совсем по-другому относятся к ней, и чувствовала свое право командовать ими. – Идем по хорде? – властно спросила она мужчину.

Мужчина был вынужден вынырнуть из своего шока.

– По какой хорде, – сказал он. – Вдоль пути – снег весь сметен, а так, как ты предлагаешь, – сразу в снегу утонем.

Девочка вместо ответа соскочила со своей подстилки, на которой топталась все это время, и скоро пошла в сторону от путей, в целинный снег. Она шла, шла – десять метров, пятнадцать, двадцать, – а снег под ногой у нее все не проваливался, не проваливался, только пуржился на каждый шаг пушистый и совсем неглубокий слой свежеснежавшего.

– Видели? – остановившись, крикнула девочка и так же скоро пошла обратно. – Здесь нигде не провалишься, – сказала она, подходя. – Здесь лед. У нас ведь теперь нет лета. Какое лето, когда без солнца. Вечная зима. Разве что оттепели. Снег уплотняется и становится льдом. Иди куда пожелаешь. И нет необходимости тратиться на строительство шоссейных дорог.

– Вечная зима? – переспросила женщина. Голос у нее дрожал.

– А похоронить, я знаю как, – не отвечая ей, продолжила девочка. – Без всякого инструмента. – Она протянула руку к мужчине: – Спички у вас есть?

– Зажигалка, – ответил он.

– Нормально, – одобрила девочка.

15

Мужчина ошибся в расчетах на какие-нибудь полкилометра. А может быть, не совсем точно сориентировался, и они просто уклонились от нужного направления. Во всяком случае, полкилометра – это была замечательная точность.

Лицо адама невозможно было узнать – так его изуродовало при падении. Но это был он, кто еще. И его одежда. Он лежал, разметав в стороны руки, уже оконченел, и сколько мужчина ни пытался свести руки на груди, ничего у него не вышло.

– Ломайте кустарник, наваливайте побольше кучу. Много-много тащите кустарника, – велела мужчине девочка.

Мужчина понял, как она хочет похоронить. Растопить лед, чтобы образовалась полынья, и опустить в нее адама. Потом мороз схватит воду, снова превратит ее в лед, и адам окажется замурован в нем. Откуда она узнала о подобном способе? А следом он догадался: так теперь хоронили всех!

Костер запыхал, подняв вверх многометровый хвост пламени, мужчина навалил рядом с ним еще целую гору хвороста и пошел подальше от женщин, на другую сторону железнодорожного полотна освободить мочевой пузырь.

Костер полыхал так ярко, так мощно освещал пространство вокруг себя, что мужчине казалось, он виден женщинам и с этого расстояния, и с этого, и все шел, шел дальше от колеи, уже и понимал, что не может быть виден, а шел. Он не отдавал себе отчета, что за сила ведет его, потом осознал: любопытство.

Земля под ногами неуклонно шла вверх. И все круче, все круче, и по тому, как темнела даль впереди, как тьма там сгущалась, густо чернела, было ощущение, там уже не снег, не белое пространство, а голая земная твердь, безвозвратно поглощающая слабый свет звезд над головой. Мужчина оглянулся. Костер казался малой точкой. Женщины никак не могли увидеть его, – это уж точно.

Мужчина остановился. Совершил необходимые манипуляции и, глядя в сторону костра, расслабил мышцы.

И тут, освобождаясь от ненужной организму жидкости, мужчина осознал: костер не просто далеко, а еще и далеко внизу. Так далеко, что между костром и ним – перепад уже в несколько десятков метров. Что это было у него под ногами? Холм? Гора?

Мужчина застегнулся и снова повернулся к костру спиной. Даль впереди сгущалась в непроницаемый мрак. Любопытство уже не мучило мужчину – сжигало. Холм это или гора, в любом случае, взобравшись наверх, можно будет увидеть далеко окрест, сориентироваться по огням, где жилье и, значит, в какую сторону отправляться после похорон.

Торопясь, он пошел вверх. Склон становился все круче. Некоторое время спуская на сплошной прежде белой голизне под ногами стали проступать черные плечи. Мужчина наклонился и потрогал одну, другую. Это, несомненно, была земля.

Потом плешинами стало белое. Оно исчезало, уступая место аспиду земных пород. Склон был уже такой крутой, что снег здесь просто не мог удерживаться. И уже приходилось больше карабкаться, чем идти. А там пришлось уже только карабкаться.

Когда мужчина вновь оглянулся назад, он не увидел никакого костра. Костер стал теперь такой микроскопической точкой – его, наверно, можно было разглядеть лишь в сильный бинокль. Зато взору мужчины открылось другое. То, что он хотел увидеть – и не очень верил в это; но и много больше того.

Светились огнями большие и маленькие города, поселки, села, деревни и, огибая их, нанизывая их на себя, словно ожившая нитка жемчуга, беззвучно резал пространство поезд. И отсюда, сверху, траектория его движения обозначала себя с недвусмысленной ясностью. Мужчина наблюдал, наблюдал за его нитью – и видел: вот поезд двигался под углом к нему, вот его жемчужная нитка вытянула себя перед ним во всю длину – наверняка промчавшись мимо невидимых ему женщины и девочки, жегших костер, обдав их мощным потоком взвихренного воздуха,

оглушив железным биением колес о рельсы, – и вот поезд начал двигаться в обратную сторону, под углом от него, и угол этот все увеличивался, увеличивался...

Следовало возвращаться. Слишком он далеко ушел. Слишком долго уже отсутствовал.

Мужчина принялся разворачиваться лицом к склону, чтобы начать спуск, и взгляд его мазнул по небу. Мазнул – и скользнул вниз, на склон, куда единственно и должно было смотреть, чтобы спускаться вниз. Но тут же глаза запросились вновь устремиться к небу. Что-то в нем было странное. Что-то *не то*. Оно было не такое, каким они с женщиной увидели его, когда их ссадили с поезда.

Тогда оно было непроглядно-черным и в самом центре, в круглой, будто вырезанной по циркулю, прогалине между облаками, полно звезд – ярких, крупных, мохнатых, – сейчас звезд не было ни одной и, хотя облака по-прежнему черно и глухо затягивали небо по периметру, прогалина в них непонятно посветлела – как бы наполнилась самым первым предрассветным солнечным светом, который и изгнал звезды с небесного купола.

Это было что-то невыносимое. Откуда вдруг взяться рассвету, когда тьма стояла уже годы и годы? Когда земля вокруг взялась антарктическим льдом?

Догадка, пронзившая мужчину, показалась ему столь безумной, что он не поверил себе. Заставил себя не поверить. Но и не мог уже удержать себя от того, чтобы не проверить ее.

Вместо того, чтобы начать спускаться, мужчина полез дальше наверх.

Он лез и старался не смотреть на небо. Еще немножко, еще чуть-чуть, говорил он сам себе. Он стремился уйти от места прежней остановки как можно дальше. Чтобы перепад высот оказался как можно больше. Чтобы сравнить так сравнить, чтобы наверняка, чтобы никаких сомнений. Он уже выбился из сил, он лез уже через силу, но все равно твердил себе: еще немного, еще чуть-чуть.

Наконец, он сдался. Остановился, перевел дыхание. И вскинул голову.

Небо над головой было восхитительного голубого цвета. Чистейший ультрамарин, тронутый с одного из боков пронзительным золотом солнечных лучей. А то, что они с женщиной внизу принимали за границы облачной массы, было на самом деле краями гигантской впадины, терявшейся своим дальним концом в сизой дымке. Вот отчего звезды были видны лишь в центре небесного купола: потому что смотрели на них со дна этого провала!

Мужчина глянул вниз. Под ногами была черная чаша. Непроглядная тьма, дышавшая вечным холодом. И уже невозможно было разглядеть никаких огней: ни огней жилья, ни огней поезда, с бешеной и все возрастающей скоростью нарезающего свои бесконечные круги.

Мужчина перевел взгляд на руки. И понял: еще карабкаясь, он знал, что увидит. Потому что, карабкаясь, уже давно видел руки со всею отчетливостью, как не видел их во время прошлой остановки. Пальцы были сбиты в кровь, в карминных коростах на костяшках, ногти обломаны, – он все это видел уже давно.

Дыхание его восстановилось, вернулись силы, и мужчина полез по склону дальше наверх. Он понимал, что нужно вниз, что там его ждут, потеряли и паникуют, отдавал себе в том отчет – и был неволен остановиться.

Солнце осветило его, когда мужчина находился еще на склоне. Оно появилось из-за края провала, ударило ему в глаза – и ослепило его, помутило сознание, он едва удержался, чтобы не сорваться, не загреметь вниз. Если бы сорвался – летел бы уже до самого дна, и что бы прилетело туда вместо него? Какой невероятной глубины был провал. Бездна!

Последние метры мужчина одолевал, ничего не видя, не чувствуя, не понимая. Пот заливал глаза, пальцы рук онемели, ноги отнимались. Он вывалился наружу и, извиваясь, привставая на четвереньки, пополз от края бездны, – как червь,

как пресмыкающееся, как четверолапое насекомое. Отполз – и уронил голову на землю, потерял сознание.

Сколько он так пролежал, мужчина не знал. Он пришел в себя, сел – и огляделся.

Была середина дня, солнце стояло почти в зените. Прекрасное, благословенное лето царствовало в природе. Цвели, ходили волнами под легким теплым ветерком травы и полевые цветы, воздух был напоен их ароматом, жужжали пчелы, перелетая с одного разноцветного Божьего создания на другое, собирая в мохнатые брюшки сладостный нектар, чтобы превратить его к концу лета в живительный мед, гудели жуки, шелестели бабочки. Промчался, сотрясши землю, в какой-нибудь сотне-другой метров от мужчины скорый пассажирский поезд. Окна его были распахнуты, у окон стояли, смотрели на окружающий теплый, солнечный мир люди – незнакомые, чужие, далекие.

Рыдание сотрясло мужчину, и его вновь бросило на землю. Он все понял. Ему все сделалось ясно – как если б внутри него открылось некое хранилище знания.

Их поезд когда-то сошел на круговую дорогу – и так и остался на ней. Он резал и резал по ней, давил и давил на ее полотно, то под тяжестью поезда стало проседать, уходить вглубь, утаскивая с собой прилегающее пространство земли, и никто этого не заметил, не спохватился. А когда, наверное, спохватились, было уже поздно. А вернее, не спохватились. Так и продолжали резать по кругу, старательно делая вид, будто ведут поезд к некоей цели, к некоему конечному пункту, название и месторасположение которого известно лишь им одним. Куда ушла жизнь! И даже просвещенные новые поколения, полагающие, что от них ничего не скрыто, печально обманываются. От них не скрыли лишь очевидного. Главное осталось для них неведомо.

Мужчина рыдал и не мог остановиться. Слезы выворачивали его наизнанку. На что ушла жизнь! И ведь все, что случилось, – уже безвозвратно. Уже не поднять дорогу сюда наверх, не перевести стрелку, не вернуться в этот теплый земной мир... И здесь, конечно, грохочут грозы, режут ураганные ветры – бушует стихия, а на смену зеленому лету приходит ледяная зима, но ведь зима здесь не вечна, сколько бы ни тянулась, вслед за нею непременно и неизбежно наступает весна!

Что-то теплое и мягкое толкнуло мужчину в висок. Прикосновение было неожиданным, сотрясло мужчину судорогой произвольного испуга, вмиг оборвавшего рыдания, он быстро встал на колени и увидел перед собой щенка-кутенка. От поведения предмета, казавшегося неподвижным, тот насмерть перепугался сам, отлетел от мужчины метра на два, но любопытство, заставившее его понюхать мужчину, не позволяло отбежать подальше, и он, в готовности, если надо, все же бежать без задних ног, сидел смотрел, наклонив голову, на мужчину – словно ждал от него какого-то нового необыкновенного поступка.

– А-ах ты! – успокаиваясь, проговорил мужчина. – Вот ты кто...

Лохматая, в шарах свалывшейся большой шерсти выкатилась из зарослей травы взрослая собака. Остановилась перед мужчиной, загородив собою щенка, и, падая на передние лапы, залаяла. Злобно ощеривая пасть, поднимая шерсть на загривке. Отлаявшись, она схватила щенка в зубы, повернулась и, взволновав на мгновение вокруг себя траву, моментально исчезла в ее море. Похоже, это была какая-то бездомная сука и где-то неподалеку находилось ее жилище.

– А-ах ты! – снова, протяжно произнес мужчина, вытирая рукавом мокрое от слез лицо.

Но теперь это «ах ты!» имело совсем другое значение.

Он поднялся во весь рост и, не оглядываясь, быстро пошел обратно к черневшему ужасным адским провалом котловану. Заглянул в него, отшатнулся, постоял так короткий миг и опустился на колени, лег на живот, полез ногами вперед по

собственному следу обратно в черную преисподнюю. Девочка исполнила свой долг и, наверно, уже похоронила отца носимого ею ребенка. Теперь надлежало исполнить свой долг ему. Его жизнь была там, внизу. С женщиной, с девочкой, которой предстояло скоро родить. Он чувствовал себя ответственным перед ними. Перед ними обеими. Словно был девочке отцом. Жить, сколько осталось, нужно было там.

И еще нужно было рассказать там, внизу, о том, что он видел и понял здесь, наверху. Это тоже был его долг. Теперь ему были понятны и слова американца – тогда, в тамбуре – о Помпеях и Этне...

Когда от солнца, заглядывающего к нему в котлован, осталась маленькая горбушка, на которую можно было, не опасаясь сжечь глаз, смотреть, мужчина остановился и взглянул на нее. Ему требовалось напитаться солнцем, набрать его в себя столько, чтобы воспоминание о нем поддерживало его и укрепляло силы. Путь вниз обещал быть не легче, чем наверх. И он вовсе не был уверен, удастся ли ему увидеть солнце когда-нибудь вновь.

ПО НЕКОГДА УКРАДЕННОМУ ПРАВУ...

ЧУМНАЯ ВЕСНА

Мне тяжело смириться с этой весной –
слишком горластой, ветреной, расписной,
в пегих кустах, чернеющих у корней,
в талых ручьях, чей запах слегка пивной
ноздри щечочет... Мне невесело с ней.

Лучше – домой, где был мой досуг убог, –
триллер смотрела, трескала сухари.
Рядом со мною, словно из песни сурок,
в кресле собака мне согревала бок...
Нынче собачий холод жрёт ее изнутри.

Может, у жизни со смертью опять ничья?
Мне остается один поворот ключа
прежде, чем я в квартиру решушь войти.
Сверху навстречу сыплются, грохоча,
дети, как разноцветное ассорти.

В доме темно и тихо, как под водой.
Страшно туда нырять, хоть считай до ста, –
омуты, гроты, гибельные места.
Что там – собака или валун седой
слабо колышет водорослью хвоста?

Если хоть на мгновение под иглой
вздрагнет сухая, точно фанера, плоть,
Значит, судьба была не настолько злой,
чтоб всё живое близ меня прополоть,
перелопатив почву за слоем слой.

Иллюминатор Луны всплывает в астрал...
Кто ты – надмирный сумрачный адмирал?
Я ничего уже тебе не отдам.
Ты постепенно всех вокруг отбирал,
Чтобы мне стало пусто здесь уже, а не там.

БИБЛИОТЕКА

Вечером в библиотеке района
имени Пушкина или Толстого
дам два десятка и два кавалера –

пенсионера, сухих, как фанера,
встретились, чтобы заняться любовью
к литературе. На улице клёны
в окна скребут. На часах – полшестого.
Льется беседа, как дождь, постепенно.
«Веточки вербы, согласно фэн-шую,
если поставить букет к изголовью,
вам обещают удачу большую...».
«Вера Петровна, сыграйте Шопена!»
«Будьте любезны, две ложечки кофе».
«Музыка лечит...». «Еще рафинада?»
«Помилосердствуйте, больше не надо.
Сахар губителен при диабете!».
«Я сочинила вчера два сонета
о посещение дворца в Петергофе».
«Ждем с нетерпением!» «Будем как дети,
чтобы действительность в нас не растёрла
неугасимую искорку божью»...
Дама читает. Над бронзовой брошью
прошелестело слоеное горло:
«Взвейтесь, хрустальные струи фонтана!
Вновь я брожу под ажурную сенью...».
«Дивные строки! Спасибо за это!»
«Главное – оригинальная тема!»
«Образ пленительный не поясните ль?»
«Будем искусству служить неустанно!»
«Надо шарлотку испечь к воскресенью».
«Нет упоения словом дороже!»
«Наговорились. Одухотворились».
На пианино цветет амариллис.
«Скоро замкнутся ворота Эдема,
Вот и явился наш ангел-хранитель!»...
Мнётся на лестнице сторож Сережа –
редкобородый приветливый даун.
Дам по домам провожает всегда он.

ДВЕРЬ В ЗАСТОЙ

В.А. Лейкину

Мы с вами набрели на павильон,
что каменным забором обнесен,
как панцирем. Вокруг автомобили
скользили, исчезая за углом
обшарпанного дома, что на слом
был обречён, потом о нём забыли.

Мы словно приоткрыли дверь в застой
и в ресторан вошли полупустой –
туда, где в блеске люстры стосвечовом,
фанерный украшая интерьер

надменной безмятежностью манер,
буфетчица спросила: «Что еще вам?».

...Мы не одни. Безрукий инвалид,
губами взяв стакан, что недолит,
в себя вдыхает водку, словно воздух.
Сжав коробок обглодышами плеч,
огонь из спички пробует извлечь –
недостижимый, словно пыль на звёздах.

Сюда лазейку не прогрыз прогресс.
по радио доносится Бернес –
в той песне ночь темна и свищут пули.
И вы, лежалый бутерброд схватив,
жуете вместе с колбасой мотив.
И мы уже не здесь, мы утонули

во времени, и там на глубине
качаемся, довольные вполне,
и не хотим наружу возвращаться –
туда, где не хватало одного –
покоя... И неловко оттого,
что слишком неказисто наше счастье.

РОВЕСНИЦА

Вот ты идешь, близоруко глаза прищунив.
Кажется, я знакома была с тобой.
Ноги твои в голубом венозном ажуре
шаркают мне навстречу по мостовой.

Мы ведь когда-то вместе стихи писали.
Впрочем, а кто их в детстве не сочинял?
Строчку оттуда припомнить можешь? Едва ли.
Ты закрываешь на ночь читальный зал

и – на метро. В авоське – пакет сосисок,
зонт, очёчник, но-шпа и Пастернак.
Неисчерпаем книг классический список,
где ты пыталась выловить некий Знак.

Но, отразившись как-то лицом овечьим
в мутном, словно вчерашние щи, трюмо,
вдруг поняла, что больше заняться нечем,
и срифмовала жизнь не вполне «von mot».

Твой суицид завершился мелким поносом,
лишь на мгновенье склеила веки мгла.
Смерть наклонилась, душная, как опоссум,
дёрнула носом и стороной прошла.

Возобновилась жизнь в затяжном вояже
старым маршрутом: библиотека – дом

с очередной книгой – чужой... Твоя же
стынет в душе, как лужица подо льдом.

СТРАННИК

Загромыхав ключами в тесной прихожей
комнаты на Обводном, что ли, канале,
видишь, как на пороге стоит понуро
немолодая дама с несвежей кожей –
столь испещренной, будто стрелы Амура
целили в сердце, да не туда попали.

Ты ей поведаешь, будто в привычном русле
двигался к дому, да завела кривая,
и засосало в душный карман подвала.
Сорные мысли крошились в мозгу, как мясли,
ты их пытался склеить довольно вяло,
в мутный стакан забвение наливая.

Ты был захвачен острым, проникновенным,
внутренним диалогом с самим собою –
будто с душою тело соединили.
Взгляд заметался, словно паук по стенам,
по лепесткам заляпанных жиром лилий,
что украшали тёмной пивной обои.

Скрипнула табуретка, подседа тётка, -
глазки блеснули, словно изюм в батоне,
вспыхнула сигарета, включился голос.
И от вопроса, заданного нечётко,
лопнул мираж, и музыка раскололась
и зазвучала глуше и монотонней.

Лень было переспрашивать, откликаться.
И, ощутив потребность уединиться,
позже ты сбился с курса, лишился галса
и пробудился в сквере, в тени акаций –
там, где на веках солнечный луч топтался
суетно и навязчиво, как синица...

Улица, двор, подъезд, жена в коридоре.
Что-то в лице у ней хлюпает, как в болоте.
Ты – ее приз, обретенный под старость странник,
вечный Улисс, вынырывающий из моря.
Вот поцелует чёрствую, словно пряник,
щёку, и свет погасит. И вы уснёте.

ИНТЕРЬЕР

Командировка. Через Москву транзит.
Вечер в чужой квартире, где луч скользит

по фотоснимку бывшей геологини –
то есть хозяйки, месяц тому назад
жизнь, словно дом, покинувшей... Лишь фасад
весь в слюдяных прожилках инея стынет.

В парке напротив чёртового колеса
встроено в небо, как циферблат часов.
Ветка в окне мелькает секундной стрелкой.
Время струится вспять, словно я вползла
старой хозяйке в быт, надломила пласт,
расшифровала трещины под побелкой.

И приоткрыло передо мной жильё
пенсионерки облик, досуг её –
как наливает рюмку, за стол садится.
Блещут в углу пирит, опал, турмалин
возле икон, поскольку неодолим
ужас перед последней из экспедиций.

Яшма, слюда, нефрит, портрет под стеклом,
и в чёрно-белом взгляде – не то что злом,
опустошенном, скорее – прицельно-резвом –
некая тайна, будто бы вы нашли
главный трофей, и с той стороны земли
недра явили свой драгоценный срез вам.

ПОДМАСТЕРЬЕ

Ты полагаешь, мастер, шедевр творя,
мир поразить собою? Вот это зря!
Думаешь – уникален, вплоть до молекул?
Вот из угла за тобой следит неофит –
вечный отличник – скромн, но плодovit.
Он про тебя всё понял, давно скумекал.

Ты не заметил, творчеством увлечён,
как он врал в тебя, обвивал плющом,
выждал момент, когда ты обронишь посох
там, где ловил внезапный приход зари.
Зри, как в твою палитру вросли угри
в амбициозных юношеских расчёсах.

Как он тайком мечтал, что, отбросив гнёт,
он тебя переварит и отрыгнёт
в виде мазка на свежих своих полотнах,
чтобы кумир, пропущен сквозь решето,
интерпретаций, понял, что он – никто.
Вот и блуждай в неверных огнях болотных,

опознавай пейзаж, вертя головой.
Этот сюжет знакомый – уже не твой.
Здесь подмастерье всё скопировал чинно.

Он возлюбил тебя и возвёл в квадрат.
Так и живи, себе самому не рад,
будучи отражённою мертвечиной.

* * *

Когда бы не отсутствие судьбы,
я наплела бы вам таких сюжетов.
Но почерк жизни – бледно-фиолетов,
как на рецепте, а глаза слабы.

И предстоит протискиваться меж
корявых строчек за ответом: «Кто ты?».
Чужие судьбы склеены, как соты, -
там сложно для себя нащупать брешь.

Я в эту жизнь, как на прием к врачу,
явилась незаконно, без талона.
Я стану бесталанно-эталонной
салонной дамой, если захочу.

А после превращусь случайно в ту
старуху, что сидит в бистро напротив,
подмигивая, вишенки в компоте
вылавливая, теребя тафту

на кофте, будто пробуя привлечь
к себе вниманье, роясь в ридикюле,
звеня ключами, кашляя... Смогу ли
Я пустоту облечь в такую речь,

чтоб убедились все, что я – жива,
сама себя придумав на халяву
по некогда украденному праву –
отсутствие судьбы сплестать в слова.

РАССКАЗЫ

ОТЕЦ

Отец был скромным рядовым инженером и никогда не высовывался. Возможно, это спасло ему жизнь до войны. Единственный раз, когда он высунулся, так это из окопа в 1942 году, чтобы выстрелить из своего ПТР в гусеницу немецкого танка. Это тоже, наверное, спасло ему жизнь. Гусеница слетела, танк завертелся на месте. Через верхний люк стали вылезать немецкие танкисты. Первого уколошили беспорядочной стрельбой, второй, вылезая, поднял руки. Отец заорал: «Не стрелять, возьмем пленного!» Немец так с поднятыми руками и скатился по броне в объятия полудохлых солдат батальона выздоравливающих. Его тут же уволокли в окоп, подвесили пару невразумительных плюх для острастки, перевязали руки за спиной его же брючным ремнем, посоветовались, кому его в тыл тащить. «Ну, раз Березин танк подбил, пускай и ведет с сержантом.»

И они втроем поползли в штаб батальона. В то время пленные попадались редко, тем более из подбитого танка, и это событие стало явлением батальонного масштаба. Когда они то ползком, то на четвереньках и на самом последнем участке уже в полный рост добрались до штаба батальона, там их уже ждали. Капитан велел немца слегка помыть, почистить, положил перед собой его документы и сказал:

– Надо бы провести первичный допрос. Эх черт, никто языка не знает. Да и я подзабыл.

Однако поднапрягся и, глядя немцу в глаза, строго спросил:

– Анна унд Марта баден, вир фарен нах Анапа?

Немец обомлел от ужаса и запричитал:

– Найн, найн. Анна унд Марта ниht фарен нах Анапа цум баден!

Возможно, он испугался, что с ним говорят каким-то шифром, имея в виду немецкое наступление на Кавказ. Капитан явно обрадовался:

– Понимает, шельма, ишь как испугался! Тут бы его и опросить, пока он еще тепленький. Солдат Березин снова высунулся.

– А вы спросите товарищ капитан!

– Как же я спрошу? Я кроме «Анны с Мартой» и «хэнде хох» ничего не помню.

Немец вздернул руки вверх.

– Да опусти, ты. Это я так, к слову. Варум, дарум, вифель урен.

Немец с готовностью отстегнул ручные часы и протянул капитану.

– Вы его спросите по-русски, а я попробую перевести, – снова встрял настыр-ный солдат.

Капитан недоверчиво посмотрел на него. Маленького роста, тощий, сутулый, с горящими глазами, только что из стационара для дистрофиков. Солдат ему явно не понравился. «Но танк ведь подбил, с двадцати метров, как учили. Может, он и в школе хорошо учился и что-нибудь помнит». И капитан стал задавать вопросы, солдат без запинки переводить, а немец отвечать. Через полчаса капитан исписал уже полблокнота. Позвонили из штаба полка:

– Твою мать, что вы там с пленным делаете, почему не ведете?

Капитан говорит:

– Снимаем допрос, пока тёплый. Уже полблокнота заполнили.

- У тебя же переводчика нет, или он по-русски говорит?
- Он говорит только по-немецки, а переводчик у меня бронбойщик из дистрофиков, который танк подбил. Он по-немецки чешет – вашим так и не снилось.
- Давай их обоих сюда, живо! Солдата-то покормите, чтобы по дороге не откинулся.
- Покормите... у нас у самих только суп рататуй, по краям картошка, а в середине – сам знаешь.

И они потопали в штаб полка. Пленный, солдат Березин и двое конвойных. В штабе полка после допроса солдату сказали:

– А ты останешься у нас, нечего тебе там в окопе грязь месить. Будешь у нас служить в разведроте. Отправляйся к капитану Погибе, он тебя к настоящему делу приставит. И солдат отправился по новому месту службы в разведроту. Ротой командовал кадровый военный из кубанских казаков. «Академиев» он не кончал, что, возможно, спасло ему жизнь во время армейского погрома конца 30-х, но разведчик он был от бога. На Ленфронте половина «языков» приходилась на роту капитана Погибы. Если бы не его сомнительное происхождение из старинной казацкой семьи, то был бы он уже полковником и командовал бы разведотделом корпуса или армии, а так остался с самого Халхин-Гола капитаном. Почему-то он обрадовался новому бойцу так, как будто ему не доходягу из батальона выздоравливающих прислали, а самого наипервейшего снайпера. Он представил солдата личному составу и сказал:

– Батю беречь, кормить от пуза, в караулы не ставить, чего попросит – достать из-под земли, а когда подкормится, обучить стрельбе из всех видов трофейного оружия. Он, между прочим, танк с двадцати метров один подбил. Не каждый сможет.

Разведчики сочувственно посмотрели на батю, похлопали по тощему плечу, по костлявой спине.

У солдата Березина началась новая жизнь. Скоро у него появились справные хромовые сапоги вместо грубых кожмитовых ботинок с обмотками, которые прилипали к еще не зажившим язвам. Ушили по его размеру комсоставовскую гимнастерку, вместо мосинской берданки 91/30 дали ППШ, а вскоре дополнительно и трофейный шмайсер. Понемногу он осваивал и азы профессии. Учился кидать из любых положений немецкий штык-нож, стрелять в темноте на звук или на вспышку. Но главным занятием было освоение немецких радиопередатчиков различных систем. Целыми днями он сидел с радисткой роты Аннушкой и перестукивался с ней без выхода в эфир, отрабатывая свой почерк. Время от времени разведчики уходили на задание, иногда возвращались с языком, иногда сами теряли товарищей на той стороне или при переходе через линию. Капитан Погиба обращался временами к отцу:

– Ну, что, Батя, осваиваешься? Скоро найдут тебе напарника, тогда будет и твой черед.

Напарник нашелся, черед наступил. Напарник и отец никогда не встречались, никогда не видели друг друга, только слышали. Напарник сидел где-то в штабе армии, и отец переговаривался с ним по телефону на немецком языке. Говорили они, в основном, на бытовые фронтовые темы. Каждый из них по роли занимался вопросами снабжения: фураж там, ГСМ, реквизиция гужевого транспорта у местного населения, рационы, обмундирование, всё – вплоть до гуталина и жировой смазки кожаных ранцев. Скоро они должны были вести свои разговоры уже в эфире, а не по защищенному телефонному каналу.

Ранней весной группа разведчиков из роты капитана Погибы направилась в глубокий немецкий тыл.

Как это всё делается, мы знаем по литературе, по замечательному кинофильму «Звезда», по другим источникам, но дальний поиск в постановке капитана Погибы,

по-моему, не был описан. Во-первых, разведчики, отправляясь в тыл, не имели ни единой вещи советского производства. Оружие, одежда, рация, сигареты, спички – всё было трофейное. У них не могло быть такой оплошки, как убить советским ножом, пули от ППШ, окурка «Беломора». Всё было натуральное, из Фатерлянда. Встречи с местным населением были категорически запрещены. В случае неожиданных контактов несчастные очевидцы подлежали уничтожению независимо от пола и возраста. При захвате пленных, преимущественно офицеров или рассыльных, их не тащили через линию фронта, а проводили опрос на месте и результаты сообщали открытым текстом на немецком языке, на немецких частотах в штаб армии. Вот тут-то отец и его далекий напарник могли вдоволь наговориться на условном языке о шнапсе, тушенке, подковах, лопатах и понтонах. Разведгруппа, работающая в немецком тылу на морзянке, – обречена. Пеленгаторы находят рацию максимум за три дня. Открытая немецкая речь, пересыпанная отборным матом, и переругивание с ближайшими станциями могли дезориентировать пеленгаторов на некоторое время, особенно в период неразберихи, возникающей во время передислокаций, а это и было время разведывательных операций.

Обо всем этом я узнал уже после войны, когда отец демобилизовался и на девятое мая 1947 года была назначена встреча фронтовых друзей в Ленинграде. В этот вечер все должны были собраться у нас на квартире. Мамаша сказала:

– Ну и прекрасно, я сварю крjшон и испеку в чудо-печке шарлотку.

Отец мрачно посмотрел на неё и буркнул:

– Какой крjшон, какая, к черту, шарлотка! И, обратившись ко мне, приказал:

Купишь шесть бутылок водки, нет, семь, на всякий случай, коньяк, десертного вина для Анны Прохоровны, она водку не пьет. А ты, – обратился он к матери, – запечешь в духовке окорок и пригостишь закуски.

– Водка? – закричала мамаша. – В нашем доме никогда не было водки! Фу, какая гадость, у нас и водочных рюмок нет.

– Кстати, – сказал отец, – купи комплект рюмок, двенадцать штук, на свой вкус.

Вообще говоря, меня всегда удивляли такие претензии мамыши на аристократизм. Родилась она в семье боцмана неевского дебаркадера, и боцманы, как известно, крjшоны не пьют. Дедушка исключением не был. Главным инструментом воспитания в семье был шпандырь. Насколько я понимаю, это какой-то специальный ремень. Так что особенных нежностей в семье не было. Я думаю, что все эти крjшоны и шарлотки пришли уже гораздо позже, в разгар нэпа, когда мамаша на разных курсах познакомилась с осколками разбитого вдребезги старого общества и поднабралась от них манер и выражений.

Девятого мая к семи часам у нас собрались гости, большинство было в мундирах с наградами. Командовал парадом полковник Погиба. Он только что получил генеральскую должность и ожидал свою первую генеральскую звезду. Отец хотел посадить его во главе стола, но полковник сказал:

– Нет, сегодня мы в гостях у Бати. Он хозяин, и сегодня мы воздадим ему должное. Только пусть место рядом с ним никто не занимает. Это место его напарника. Они никогда не встречались, и я думал, что сегодня они, наконец-то, встретятся, но он умер от инфаркта на прошлой неделе. И он еще с нами, нальём и его рjмку.

И они налили. Они никуда не торопились и вспоминали... Полковник наклонился ко мне и спросил:

– Отец ведь, наверно, тебе ничего не рассказывал – и не расскажет. Из него ведь клещами не вытащишь. Так вот, сиди и слушай.

Истории, которые они рассказывали, были, в основном, смешными. Можно было подумать, что они сильно веселились там, в разведке. Особенно смешной

была история, как отца вызвали в штаб Черняховского для допроса немецких генералов, и пришлось ему срочно присваивать офицерское звание, которое присвоить было никак невозможно, потому что у отца не было никакого военного образования. Тогда ему присвоили звание «офицер без звания». Полковник, вручавший офицерскую книжку, сказал ему:

– Берегите её как зеницу ока, она еще вам сможет пригодиться, потому что в нашей армии сотни тысяч офицеров, тысяча генералов, даже маршалов всех родов наберется с дюжину, а в звании «офицер без звания» вы, наверно, один на всю Красную Армию.

Ему выдали шинель полковничьего сукна и отправили к Черняховскому. Он пробыл там до самой смерти командующего и был в нескольких шагах от него, когда раздался взрыв. Генерал армии был убит, а «офицер без звания» контужен и еще долго валялся по госпиталям, пока, наконец, не вернулся к своим боевым товарищам.

Во всей этой истории неясно только одно: где это он так наострился говорить по-немецки. Неужели в школе, или, вернее сказать, в Киевской первой гимназии, которую он окончил с золотой медалью в 1915 году? Конечно, нет. В гимназии училось много достойных людей. В одном классе с ним учился Константин Паустовский и некоторые знаменитые, потом забытые деятели революции. Все учили иностранные языки, но отец как круглый пятерочник знал их не только лучше своих сверстников, но и все свободное время тратил на изучение немецкого – главного языка науки и философии. Его единственным приятелем в гимназии был сын немецкого колониста Михель Вернер. Вернер-старший очень хотел, чтобы Михель поступил в Киевский политехнический институт и стал инженером-механиком. Большое хуторское хозяйство требовало своего инженера. У Михеля были трудности с точными науками, отец занимался с ним все зимы, а летом отправлялся на хутор, где отводил душу в разговорах по-немецки с Вернером-старшим в его богатой библиотеке.

К окончанию гимназии Михель получил свои твердые четверки по нужным предметам, а отец говорил по-немецки с едва заметным саксонским акцентом.

С разведгруппой он уходил в дальний поиск пять или шесть раз, и за все время их ни разу не засекли, и он не был ни разу ранен. Свою единственную тяжелую контузию он получил в штабе Черняховского. Никто из его сослуживцев по батальону выздоравливающих не дожил до конца войны. Большинство погибли на Невском пятачке и при прорыве блокады. Так, казалось бы, бесполезное знание иностранного языка помогло ему сохранить жизнь и пройти всю войну в рядах настоящих солдат-разведчиков.

В тот вечер полковник Погиба сказал:

– Батя на фронте никогда не пил водки, считал, что даже глоток понижает боеспособность, и обещал, что выпьет с нами после войны. Этот момент настал: исполняйте обещание, товарищ офицер.

И отец взял стопку водки, выпил ее не торопясь и, к ужасу мамыши, заел соленым огурцом и крякнул. Полковник Погиба полез целоваться.

Отец умер в 1973 году от инсульта. Из фронтовых друзей на похороны пришла только Анна Прохоровна с сыном – капитаном Погибой. Остальных разметала послевоенная жизнь, а многие ушли еще раньше.

СТАРШИНА ЩЕРБИНА

После окончания четвертого курса нас, военнообязанных студентов физфака, отправили в летние лагеря для прохождения практики перед присвоением офи-

церских званий. Тогда, в 1950 году, товарищ Сталин был еще жив и товарищ Берия еще не знал, что жить ему осталось только три года, и во всем был полный порядок. Студенты в летних лагерях считались призванными в армию на 30 дней, гражданская юрисдикция на них не распространялась, и за разные провинности они могли привлекаться к военному суду, направляться в штрафбат и так далее, вплоть до высшей меры. Но для студентов высшей мерой казалось отчисление из университета и прохождение полного срока службы – в пехоте четыре года и во флоте пять лет. Один из наших коллег, отчисленный с третьего курса, уже ломал службу в одном из стройбатов на севере, и по его письмам мы хорошо себе представляли, что теоретическая механика в Ленинграде гораздо лучше, чем строительная механика в Анадыре. Кроме того, на военной кафедре нас лишней раз предупредили, что на 30 дней мы не студенты, а солдаты, и наш отец не декан, а старшина роты, который может объявить вплоть до пяти нарядов или накапать такую телегу, что вовек из грязи не вытащишь.

С тем мы и поехали в Лугу в летние лагеря прославленного Артиллерийского училища. Для меня это было как бы возвращение в детство, в мою спецшколу ВВС. Военная форма, кирзовые сапоги, портянки, построения, строевая подготовка утром и вечером, бодрые песни на марше, сон в дырявых и продуваемых палатках под комариный звон. Но для многих лагерная жизнь оказалась шоком. Нет, среди нас не было особенных неженков, и все прошли войну с ее тяготами и неустроенным бытом, но для тех, кто не знал казармы, испытание оказалось серьезнее, чем они ожидали.

Неприятности начались сразу же на другой день после приезда, после того, как мы облачились в выданное обмундирование БУ третьего срока. Старшина роты Щербина построил нас, скомандовал «смирно» и стал каждого внимательно разглядывать. На его выразительном лице заправского старшины блуждало выражение нескрываемого презрения. Половина была в очках, что само по себе вызывало отвращение. У некоторых нечесанные лохмы торчали из-под пилоток, гимнастерки нависали над пузом, тонкие и кривые ножки наших главных умников болтались в разношерстных кирзовых сапогах. И вот из этих недоносков старшина Щербине предстояло сделать бравых солдат и подготовить их к получению офицерского звания через месяц. Сам старшина готовился стать лейтенантом только на будущий год. Он ткнул пальцем в одного особенно кучерявого и рявкнул:

– Фамилие!

Кучерявый прокричал в ответ:

– Безверхний!

– Без чего? – удивился старшина.

– Не без чего, а студент Безверхний.

– Я тебе покажу «студент», – обозлился еще больше старшина, – здесь ты не студент, а годный необученный. Без чего ты там, повтори!

И Эмиль Безверхний, чуть не плача от стыда и унижения, повторил:

– Негодно обученный Безверхний!

Я подумал: сейчас начнется.

– Рядовой Безверхний, выйти из строя!

Эмиль сделал шаг вперед с правой ноги, забыв, что в армии все начинается слева.

– Становитесь в строй!

Эмиль попятился назад и встал на прежнее место. А надо было повернуться кругом, сделать шаг вперед с левой ноги, встать на свое место и снова сделать поворот кругом.

– Так, – сказал старшина, – интересно.

Перевел глаза на следующего. Следующий был я.

– Фамилие! Выйти из строя, войти в строй! Направу! Налеву! Кругом! Строевым шагом марш!

Прижав руки к бедрам и высоко поднимая несгибающиеся ноги, я промаршировал несколько шагов.

– Стый! Кругом! Будешь меня приветствовать. Шагом марш!

Я сделал три нормальных шага, затем перешел на строевой, прижал левую руку к бедру, вскинул правую к пилотке, повернул в его сторону подбородок и начал есть глазами. Он небрежно вскинул руку к виску, отдал приветствие, скомандовал:

– Стый! Становись в строй!

Потом подошел поближе, спросил:

– Ты где проходил строевую подготовку?

– В Казанской спецшколе ВВС № 9, товарищ старшина!

– А как ты сюда попал? – кивнул он головой на наш строй.

– По недоразумению, товарищ старшина!

В строю захихикали.

– Разговорчики! – рявкнул старшина. – То-то, я смотрю, что вы все здесь по недоразумению, но ничего, я вас быстро вразумлю. На первый-второй рассчитайсь!

После третьей попытки мы рассчитались. Первые номера отправились со Щербиной на плац. Вторые номера остались со мной осваивать повороты и команды. Лучше всего у нас получалась команда «вольно», ее в основном мы и выполняли до возвращения первых номеров со Щербиной. Гимнастерки у первых номеров были мокрые от пота, лица красные и измученные. По щекам Эмиля Безверхнего текли слезы. После этого мы сменились: вторые номера ушли на муку со Щербиной, а мы стали тренировать команды «вольно» и «оправиться».

По возвращении вторых номеров Щербина построил роту, скомандовал «мирно», вызвал меня из строя и объявил два наряда вне очереди за халатное отношение к выполнению задания по строевой подготовке личного состава. Во время выполнения наряда вне очереди на кухне ко мне пришел Щербина и сказал:

– Ты не обижайся, служба есть служба. Не мог же я потакать тому, что ты решаешь им филонить.

– Не расстраивайся, старшина, каждый делает свое дело. Ты своё, а я своё. Не могу же я рычать на своих товарищей, каждый из которых в десять раз умнее меня.

– Да, – сказал он, – ну, ты и влип, шел бы лучше к нам.

– Уже поздно, – ответил я, – знать, не судьба.

На следующий день Щербина, отправив рядового Безверхнего в парикмахерскую, принял за рядового Корепанова. Витя Корепанов был человек деревенский, приехал в Ленинград из далекой Удмуртии. Гранит науки давался ему нелегко, но он грыз его с невероятным упорством и догрыз до пятого курса. Все уважали Витю за его трудолюбие, безукоризненную честность и природную доброту. Был он несуетлив и немногословен. Печатать строевой шаг, который в девятнадцатом веке назывался гусиным, есть глазами начальство и лихо щелкать каблуками было ему чуждо и противно. Повозившись с ним полчаса, Щербина, раскрасневшись от усердия и злости, построил роту и объявил рядовому Корепанову наряд вне очереди. Рядовой Корепанов выслушал и равнодушно молчал.

– Что надо ответить?! – взревел Щербина.

Ответить надо было – «есть, один наряд вне очереди», но рядовой Корепанов вместо этого сказал с сожалением:

– Мудак, ты Щербина!

Мы все оцепенели. Щербина открыл рот, закрыл, снова открыл и скомандовал:

– Разойдись!

Он вытащил из своего планшета блокнот, посмотрел на часы, что-то записал в блокноте, повернулся и пошел к штабу. Мы сгрудились вокруг Вити. У каждого была одна и та же мысль: «Что же теперь с ним будет?» Послonyaвшись до конца строевого часа, мы построились, как сумели, и отправились на стрельбище. Вскоре туда пришел дежурный по штабу и спросил:

– Члены комсомольского бюро есть среди вас?

Члены нашлись и отправились с дежурным в штаб. К обеду они появились в столовой мрачнее мрачного, сообщили, что после самоподготовки будет комсомольское собрание. На собрании было объявлено, что командование по рапорту старшины приняло решение рядового Корепанова отдать под суд за невыполнение приказа и оскорбление старшего по званию. Вместо диплома физика и звания лейтенанта перед Витей замаячил штрафбат. Сам Витя отнесся к происходящему индифферентно и сказал:

– Штрафбат – так штрафбат, не хуже, чем в колхозе. По крайней мере, есть каждый день дают и работа понятная.

На собрании ещё долго галдели, а я отправился на кухню выполнять свой второй наряд. Я чувствовал, что старшина Щербина снова придет после отбоя. И он пришел. Совсем не бравый, а ссутулившийся и поникший. Он сел рядом.

– Много тебе ещё осталось?

Я показал на целый котел нечищенной картошки.

– До подъема хватит, – успокоил он меня. – А кто этот? Он на вас вроде и непохожий.

– Он и есть непохожий, крестьянин он, колхозник из Удмуртии. На нем земля держится, а ты ему – «подбери задницу, шевели мослами». Он ведь шевельнет – от тебя мокрого места не останется, хоть ты и ГТО второй ступени.

– Так ведь под трибунал пойдет!

– Ну, не боится он твоего трибунала, не боится!

– А ты боишься?

– А я боюсь, и все боятся, а он не боится, потому что мужик. Ты сам-то из каких будешь?

– Я из военных.

– А, из этих, «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Не всех можно заставить. Объяснить – всем, а заставить – не всех. Еще Суворов говорил: «Каждый солдат должен понимать свой маневр». Потому он и был Суворов, а ты как есть старшина Щербина, так им и останешься, только звездочек тебе повесят, а в первом же бою и ухлопают.

Он вздрогнул:

– Кто?

– А эти самые, задницы подберут и убьют.

– Ты откуда знаешь?

– Отец рассказывал, он солдатом был.

– Мне тоже отец рассказывал, но про другое.

– Вот видишь, солдатская правда от командирской отличается, а солдат-то больше.

Щербина задумался:

– А у генералов, выходит, совсем своя.

– Какая тебе разница, твое дело «не хочешь – заставим», а не хочешь заставлять, тогда сам в штрафбат пойдешь, вслед за Витей. Там и встретитесь.

Щербина воткнулся в меня взглядом:

– Ты, это, кончай травить меня.

– А я и не травлю, сам напорился.

- Он извиняться будет?
- И не надейся.
- Что же теперь будет?

– Он пойдет в штрафбат, а ты так и останешься тем, кем он тебя назвал. Так за тобой это и потянется. Тебя ведь тоже никто за руку не тянул рапорты писать. Назначил бы пять нарядов и спал бы себе спокойно, пока он тут пять ночей картошку чистит.

- Ну тебя к черту, – сказал старшина, – и поплелся в свою палатку.

Ситуация с Витей осложнялась еще и тем, что не был он комсомольцем и нельзя было ему строгача вклеить. Кто-то посоветовал – срочно принять и тут же вклеить, но это уже был полный бред, и коллективный разум помутился.

Тем временем занятия продолжались, Витю на губу не отволокли, старшина перестал называть задницу задницей и переименовал её в таз. Первый раз, когда он попросил подобрать его, все стали шарить глазами, где он лежит, чтобы исполнить команду. Пришлось старшине вызвать из строя рядового Гусева, похлопать по данному месту и объяснить, что это не ж..., не задница, не курдюк, а таз.

– Так и запомните с трех раз, – сказал он. – А это, – показал он с другой стороны, – не пузо, не брюхо, не арбуз, а живот. Равняться на него не надо, равняться надо на грудь четвертого человека, не первого попавшегося, а четвертого, и нечего тут лыбиться, то есть улыбаться. Все понятно?

- Так точно, – рявкнули мы.

– Вот и хорошо, что такие понятливые. А теперь на месте шагом марш! Запевай!

Это был удар ниже пояса. Из всех песен, которые мы могли спеть сообща, был только «Ёксель-моксель», и мы начали:

Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка:
Давай те раны первяжу, ёксель-моксель,
И в санитарную повозку, студебеккер,
С собою рядом положу.

Дальше шло уже коллективное дисциплинарное взыскание, но старшина не испугался, вывел нас за территорию лагеря, и там мы уже грянули во все сто двадцать глоток:

Летят по небу самолеты, бомбовозы,
Ёксель-моксель.

И далее по тексту. По окончании песни старшина сказал:

– А теперь чтобы к завтрашнему дню выучить такую, чтобы можно было в лагере спеть, ёксель-моксель, понятно?

- Так точно, – взревели мы.

К концу месяца, к собственному удивлению, мы уже сносно преодолевали полосу препятствий, обозначали прицеливание на «хорошо» и «отлично», кидали боевую гранату в окоп с чучелом и во всю глотку орали строевые песни.

Артиллеристы, Сталин дал приказ ...

Витя Корепанов очень громко и уместно свистел разбойничьим свистом на припеве. Только Володя Меркулов заснул на боевых стрельбах. Когда его нашли спящим на капонире, он открыл глаза и сказал:

- А чего такого, они стреляют так однообразно.

Они – это стомиллиметровые пушки-гаубицы. От звука их выстрелов на расстоянии полкилометра вылетают стекла в домах, но разбудить Володю на расстоянии пятидесяти шагов они не смогли. Володя получил последний наряд вне очереди, но исполнить его уже не успел. Мы уезжали из лагерей, пропыленные ветром, пропахшие пороховой гарью, уже не годные необученные, а офицеры запаса. Старшина Щербина как младший по званию отдал нам честь на перроне.

Через год мы пришли на выпускной вечер в Артиллерийское училище как лейтенанты к лейтенантам и сфотографировались со старшиной на память. С нами был и Витя Корепанов.

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД

Осенью 1965 года в Белграде должна была состояться большая конференция по «Явлениям в ионизованных газах». Явления эти чрезвычайно разнообразны, начиная от неоновой рекламы и до термоядерного взрыва. Поскольку в то время одной из самых актуальных проблем физики было осуществление управляемых термоядерных реакций, которые могли происходить только в полностью ионизованной плазме, то интерес к тематике конференции был всеобщий. Было решено, что, наконец-то, на эту конференцию поедет не жалкая горстка функционеров, а мощная представительная советская делегация, человек на сто. В этом году в Югославию начался массовый туризм, и было решено отправить всех желающих ученых как туристов за их собственный счет. Желающих нашлось сто сорок человек. Югославы были страшно рады, что после семнадцати лет остракизма русские братушки снова приедут к ним и начнется нормальный научный обмен, прерванный ссорой Сталина с Тито. Из-за такого количества «братушек» возникла проблема перевода. Шесть параллельных секций, по три переводчика на секцию – нет, такого количества синхронных переводчиков в Югославии не было. Оргкомитет обратился в нашу Академию наук с просьбой оказать содействие в переводе. Дирекция вызвала меня и Жору и спросила:

– Неужели не выручите?

Ни я, ни Жора до этого синхронным переводом не занимались. Жора был переводчиком от бога, но одно дело – переводить на семинарах, когда можно переспросить докладчика, а другое дело – сидеть в будке и переводить слово в слово человека, которого ты, как правило, не видишь, довольно плохо слышишь и который, может, сам не знает языка, на котором делает доклад.

Жора сказал:

– Можно попробовать, но за успех мы не ручаемся.

В себе-то, конечно, он был уверен, но мой потенциал оценивал довольно низко и никаких гарантий за меня давать не хотел. Дирекция добавила:

– Международный комитет ваш труд будет оплачивать, и затраты на поездку вы оправдаете.

Этот аргумент нам показался убедительным, и мы согласились.

По приезду в Белград нас нашел член оргкомитета Боже Аничин, ответственный за весь перевод, и притащил пачку докладов по нашей секции. Среди докладчиков было много японцев, немцев, поляков и разных «прочих шведов», для которых английский был чужим языком. Что такое переводить японцев на слух, мы уже знали по институтским семинарам. Однако здесь же они, наверное, будут зачитывать свои тексты? Боже Аничин, как бы видя нас насквозь, сказал:

– Безусловно, эти доклады читать никто не будет. Они предназначены для опубликования, а для вас они будут только для ориентации – чтобы знать, о чем речь. Доклады получены не все, многие привезут их с собой и сдадут в оргкомитет

прямо перед выступлением. Не все хотят, чтобы их доклады видели заранее. Тематика, сами понимаете, какая.

Физиономии у нас вытянулись. Боже понял, что он перестарался и решил исправить положение:

– Безусловно, ваш труд будет оплачен. Мы будем платить 48 тысяч динаров.

Значит, по двадцать четыре тысячи каждому, – быстро сообразили мы. Это была как раз сумма туристского обмена. Неплохо, но физиономии у нас по-прежнему оставались мрачными. Боже заволновался и добавил:

– Каждому по сорок восемь тысяч.

Жора пнул меня под столом ногой. Мы по-прежнему смотрели на Аничина безо всякого выражения.

– В день, – добавил он, – плюс за два дня подготовки. Хотя на самом деле у вас будет один.

Мы погрузились в вычисления: семь дней по сорок восемь тысяч динаров – это уже составляло четырнадцать туристских обменов на каждого и перекрывало пределы нашего воображения. Боже почти в истерике начал ломать руки:

– Я понимаю, что вы рассчитывали на доллары, но доллары мы платим только международным переводчикам из Атомного агентства, которые будут работать на пленарных заседаниях. Мы взываем к вашей социалистической солидарности и как к братушкам. Я обещаю вам, что мы введем коэффициент на инфляцию, чтобы вы могли получить по пятьсот тысяч динаров каждый. Это почти что соответствует международной норме.

Жора закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла.

– Так я могу рассчитывать на вас? – С надеждой спросил Боже Аничин и буквально выскочил за дверь.

Жора приложил палец к губам, поднял глаза вверх, обшарил взглядом потолок, как бы высматривая на нем «жучки» и «зрачки», потянулся за своей курткой, я за своей, и мы молча вышли на улицу.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спросил он меня.

– А чего тут понимать? Работать надо. Выходит, они нас расценили по международным нормам.

– Ничего, переоценят по местным, когда услышат наш перевод.

– Если услышат, – добавил я.

– Тогда пошли разбираться с материалом.

Мысль о том, что послезавтра мы сядем в будку, в которой нам уже никто не поможет, и вместо миллиона динаров мы получим пинок под зад, начала давить на нас все сильнее и сильнее. Вечером мы обнаружили, что ужинать не в состоянии, у обоих случился спазм пищевода на нервной почве. Мы купили себе по бутылке минеральной воды «Князь Милош» и по пятьсотграммовой плитке черного шоколада. «Князь Милош» и шоколад стали нашим рационом на последующие три дня. На четвертый день спазм стал отпускать, появился аппетит вместе с первыми навыками синхронного перевода. Но уже на второй день нас разлучили – Жору отправили в другую секцию, где профессионалы из Атомного агентства несли какой-то бред. Я остался один в своей будке. Понимать дословно, что говорят докладчики, я так и не научился, поэтому, зная, в общем, содержание доклада, устраивал себе вольное изложение на заданную тему. Иногда мои домыслы были далеки от текста докладчика. И когда ему задавали вопросы, он глубоко задумывался и предлагал встретиться в кулуарах.

Профессионалы из Атомного агентства были супруги Петровы – белоэмигранты. Он был по специальности кораблестроителем, и именно он построил самый знаменитый и самый быстрый французский лайнер – «Нормандия». Он был признан чудом кораблестроения и самым элегантным кораблем всех времен и народов.

Господин Петров знал несколько языков и по выходе на пенсию стал работать в Атомном агентстве. Мадам Петрова его всюду сопровождала и тоже работала синхронным переводчиком. Физика ионизованных газов была для них китайской грамотой, чего они и не скрывали.

Третьим переводчиком была Катя Ровенская – дочь полкового священника из армии генерала Врангеля. Она окончила Сорбонну, специальные курсы синхронных переводчиков в Женеве и была признанной звездой мирового синхронного перевода. Катя переводила в любую сторону на пяти языках – русском, английском, французском, испанском и немецком. Ее постоянно приглашали на конференции ООН, МАГАТЭ, на заседания Совета безопасности и всех других международных организаций. Ее график был расписан по дням на год вперед. Каждую неделю она перелетала из одной страны в другую. Ее перевод был произведением искусства. Голос на французском звучал, как у Мирей Матье – глубокий и хватающий за душу, с неповторимым раскатистым «ррр». На английском она звучала, как Вивьен Ли, на русском ... Наши участники говорили, что когда Катя переводила на русский, они просто слушали ее дивный голос, забывая о содержании. По-русски она говорила так, как в России уже давно не говорят, и к тому же с едва заметным французским акцентом. Она интонировала на наиболее значимых, по ее разумению, словах, придавая им какой-то особый смысл. Например, «электронно-ионные пары» несли в ее изложении какую-то загадку, неясно было, как они встретились, что их ждет впереди, сколько времени они пробудут в возбужденном состоянии, не скроются ли в «туннельном переходе», не сорвутся ли, очертя голову в «лаvinу». Мы и не подозревали до Кати, до чего романтична наша наука. Сам «акт лазерного излучения», когда перевозбужденный атом «испускает» и «истощенный сваливается в основное состояние» – это же сплошной секс в наушниках! Обалдевшие участники бегали слушать Катю, носили ей в будку воду, кофе, цветы, конфеты, любовные послания. Катя потом говорила, что подобного внимания ранее она устаивалась только один раз, когда переводила Никиту Сергеевича в ООН и мгновенно находила английские эквиваленты его «кузькиной матери» и другим элоквенциям. «Самое трудное, – говорила Катя нам с Жорой, – было мгновенно подобрать соответствующий оригиналу народный английский слэнг, чтобы не упустить всей самобытности хрущевской речи и не обеднить впечатление. Многие переводчики опускают эмоциональную составляющую и теряют личность докладчика, которая иногда оказывается гораздо важнее самого текста. Я вживаюсь в докладчика, я его альтер эго, только на другом языке. Какое я имею право исказить его образ, часто неповторимый?»

Много позже я узнал, что одна австрийская писательница написала повесть «Я синхронный переводчик», где Катя была прототипом главной героини, которая подобно Кате, принадлежала всему миру и «жгла свою свечу» с обоих концов. Свеча горела ярко, но недолго.

На пятый день международная группа переводчиков забастовала из-за задержки зарплат. Боже Аничин пришел к нам и спросил, будем ли мы с Жорой работать или присоединимся к забастовке. Для него наш отказ был бы равносильен катастрофе. С другой стороны, он хотел выбить из своих бюрократов все положенное и обещанное. Мы спросили, будет ли работать техника.

– Будет, с техникой проблем нет.

Мы переглянулись и сказали:

– С нами тоже проблем не будет.

– Тогда собирайтесь! Будете работать на самых важных секциях.

И мы пошли с Жорой в свои залы. В фойе, где был размещен бар, красиво бастовали международные переводчики и примкнувшие к ним местные кадры – невероятной красоты длинноногие, сероглазые, англо-русскоговорящие потомки белых офицеров, застрявших на Балканах. Мадам Петрова окликнула нас:

– Куда вы идете, господа? Разве вы не знаете, что мы бастуем? Присоединяйтесь к нам! И она показала на свой высокий бокал с соломинкой.

– Нет, – сказали мы, – там сейчас наши товарищи будут докладывать, мы идем на их секции.

– Вы хорошие товарищи, но плохие друзья, – припечатала нас Катя.

И мы – два штрейкбрехера – поплелись к своим будкам.

Вечером конференция кончалась. Всем переводчикам наконец-то выплатили зарплату. Нам с Жорой деньги разнесли по будкам. Дали каждому по большому полиэтиленовому мешку, набитому динарами. Каждый расписался, не глядя в ведомость и продолжая перевод. На заключительном заседании, где всех благодарили, особенно подчеркнули выдающийся вклад Жоры, который вынес на своих плечах основную тяжесть пленарных заседаний. Господин Петров сказал нам, что их группа приглашает нас сегодня вечером в ресторан отметить наше знакомство и начало совместной профессиональной карьеры. Мы обрадовались, что они не затаили зла за нашу измену, и охотно согласились. Господин Петров заехал за нами на своем немыслимом «ситроене» и повез куда-то в высший свет. Катя с мадам Петровой уже ждали нас. Мадам Петрова сказала:

– Ну, раз вы теперь приобщились к нашей профессии – пора вам приобщиться и к нашей профессиональной «cuisine». Вы когда-нибудь пробовали «стейк-тартар»?

– Нет, – сказали мы честно, – не довелось.

– Вот, сегодня и попробуете. Это главное блюдо синхронных переводчиков, которое восстанавливает силы, как ни одно другое.

Господин Петров щелкнул пальцами: тут же появились шеф и его помощник. Они выкатили столики – на одном было блюдо с сочными кусками мяса, а на другом золингеновские ножи в футляре и разделочные доски. Шеф кинул на одну из досок первый кусок, вынул из футляра сверкающий большой нож, выдернул из бороды волос и полоснул по нему ножом. Мы поняли, что нож должен был разрезать этот волосок, но увидеть это было невозможно, хотя шеф, очевидно, увидел. Он удовлетворенно хмыкнул, одним ударом рассек кусок мяса, кинул половину помощнику, вынул второй нож и стал двумя ножами с невероятной скоростью рубить мясо. Мы расстроились. Рублеными шницелями мы наелись в физтеховской столовой, и не этого мы ожидали здесь, на эспланаде Хилтон-отеля. Постепенно шеф изрубил все куски в столовский фарш, посолил, поперчил, посыпал кубиками лука и полил прованским маслом. Затем он взял немного фарша серебряной лопаточкой, положил на тарелку и протянул господину Петрову. Ага, сообразили мы: прежде, чем жарить котлеты, дают попробовать фарш. Владимир Михайлович попробовал и одобрил, и шеф с помощником стали накладывать его на наши тарелки.

– Господа, – провозгласила мадам Петров, – это и есть «стейк-тартар», еда богов, воинов Чингисхана и синхронных переводчиков. Приятного аппетита!

На столе около нас оказались рюмки водки, мы их подняли, и Жора под столом протянул мне таблетку синтомицина, каким-то чудом оказавшегося у него с собой. Мы чокнулись, выпили и с отвращением ткнули вилками в сырой фарш. Они впились в нас глазами. С первой вилки было непонятно. Мы взяли по второй и по третьей.

– Ура! – закричали, заплодировали господа Петровы и Катя. – Состоялось! Господа, мы так рады. Мы выпили еще по одной. Стейк-тартар распрямил наши плечи, поднял подбородки. Мы почувствовали себя воинами Чингисхана, оседлавшими степных скакунов. Господин Петров сказал:

– Разрешите мне, мадам Петров и Кате сердечно поблагодарить вас за то удовольствие, которое доставила нам встреча с вами.

Ну, начинается, – подумал я, – вот тут-то они нам и припомнят забастовку. Жора тоже набряк. Он никогда ничего хорошего от жизни не ждал и в каждом внешне благоприятном событии видел начало неприятностей. А Владимир Михайлович продолжал:

– Вот уже сколько лет мы работаем с русскими-советскими, и всегда чувствуем с их стороны настороженность и отчуждение. Некоторые просто избегают нас, их, наверное, там инструктировали – держаться подальше от белоэмигрантов, врагов трудового народа. А вы первые советские, которые отнеслись к нам по-человечески, как к своим коллегам, а не классовым врагам, и мы заметили с вашей стороны не только уважение, но и ... симпатию. Мы с Катей посмотрели друг на друга, я наклонился к ней и чмокнул в щеку.

– Bravo! – закричал Владимир Михайлович, – официант, шампанское! Неужели там, где вас учили, вас не предупреждали, что семьдесят процентов международных синхронных переводчиков – это русские эмигранты и их потомки?

– Нас никто не учил, – сказал Жора, – мы сами.

– Вернее, меня учил Жора и вы, Катя, – добавил я.

Рано утром я провожал Катю в Белградском аэропорту. Она улетала на очередную конференцию в Южную Америку.

– Ариведерчи, мон шер, – раскатилась она своей бесподобной трелью и скрылась в толпе пассажиров по ту сторону границы.

Тем же вечером вся советская делегация отправилась на автобусах в турпоездку по стране. К нам с Жорой пристроился сотрудник института Химфизики Юрий Саясов. Он слыл знатоком немецкого языка и его тоже потянуло на синхронный промысел. Он надеялся с нашей помощью прильнуть к этому занятию. Юрий имел сильные претензии выглядеть как денди: на нем были кремовые шорты фабрики «Большевичка», сиреневые сандалеты ереванского пошива, бобочка и панамка. На носу у него гордо сидели темные очки в золотой оправе из анодированного алюминия. Всю дорогу в автобусе он читал толстый «New York Times», подобранный на остановке, и пытался заговорить с Жорой по-немецки. Жора терпеть не мог говорить на иностранных языках бесплатно или без большой нужды и недовольно морщился, слушая «киндердойч» херра Саясова. Жора предложил его именовать между собой: Херберт фон Саясов или просто Херберт. По приезде в Дубровник Херберт поселился с нами в квартире частного сектора и стал нашим постоянным спутником. Дубровник курортный город, и там, кроме пляжей, морских экскурсий и сувенирных лавок, было множество стрип-баров, казино и прочих зланных мест, куда пускали только иностранцев. В первое же заведение Херберта не пустили. Наметанный глаз вышибалы мгновенно распознал в нем соцлагерника, и его выгнали взащей. Нас с Жорой пропустили беспрепятственно. Из чувства солидарности мы тоже вышли и отправились в следующий вертеп. Там повторилась та же картина. Не солоно хлебавши мы вернулись домой, где Юрий-Херберт уже на пороге запричитал:

– Ну, почему, почему?! Ведь я одет, в отличие от вас, по-европейски, в руках у меня «New York Times», а вы оба, я извиняюсь, выглядите как охламоны, и еще эта кошмарная туристская сумка за плечами! Что только вы в ней таскаете? Ну почему, почему?!

– Надо не казаться европейцем, а быть им. В этом все дело, – сказал Жора. – А относительно сумки – бвана, покажи ему, что у нас в сумке!

Бвана – это так мы звали друг друга. На языке суахили это значит – господин. Чтобы быть бваной, требуется немного: никогда не терять чувства собственного достоинства. У бваны Жоры это великолепно получалось с самого рождения: он никогда не был пионером или комсомольцем, не приносил никому никаких клятв, и его терпели в Политехническом институте только потому, что он был безнадежным отличником. Конечно, мне было до него далеко, но я старался.

Несколько помедлив, я расстегнул сумку и показал Херберту два туго набитых динарами полиэтиленовых пакета с надписями «Гуля» и «Жора».

– Что это! – сдавленным голосом спросил Херберт.

– Деньги, – ответил Жора.

– Сколько же здесь? – выдохнул Херберт.

– Около миллиона.

– Вы что, миллионеры? – прошептал Саясов.

– Если быть точным – то хиллиардеры, – ответил Жора.

Один хиллиард равнялся тысяче динаров.

– Откуда? – спросил Юрий, озираясь на двери.

– Гонорар за синхронный перевод.

– И это все ваши?

– Нет, – поспешил ответить я, пока Жора чего-нибудь не брякнул лишнего, – большую часть мы должны будем сдать в Академию наук.

– А если вы потеряете? – спросил Юрий.

– Тогда мы долго будем бить тебя, пока не найдем, – ответил Жора.

Юрий посмотрел на нас. Наши лица выражали полную решимость исполнить обещанное. Жора уже несколько лет занимался культуризмом, и его бицепсы не оставляли никаких надежд бестелесному Юрию. Про себя я скромно умолчу, но своему полутяжелому весу в общем соответствовал. Мы все помолчали, каждый о своем, и отправились спать.

Утром после купания мы забыли сумку на пляже. По дороге домой Жора спохватился:

– А где, бвана, сумка?

Мы рванули назад, слава богу, под гору, перемахнули через забор, подбежали к месту, где раздевались, – сумки не было. Только из ближайшего мусорного бака высовывался какой-то знакомый хвостик. Мы бросились к баку, дернули за хвостик и ...вытянули сумку! Мы стали расстегивать молнию, ее заело – попал мелкий песок, но когда молния подалась, мы увидели два полиэтиленовых пакета «Гуля» и «Жора». Никому в голову не пришло, что в этой старой заношенной торбе мог находиться миллион динаров! Миллион, который мы собирались весь до последнего динара потратить в Белграде, не оставив родной Академии ни полушки.

Вообще, эта тема сдачи денег в Академию после заграникомандировок обошла нас стороной. Мы перестали бы себя уважать, перестали бы быть бванами, если бы позволяли грабить себя, как разрешали сотни других командированных. В конце семидесятых годов, кстати, выяснилось, что эти поборы были незаконными и шли в карман чиновникам иностранного отдела, игравшим на исконной запуганности и замордованности советского интеллигента. Примерно то же самое было и в спорте, и в искусстве. И это явилось одной из причин невозвращения гордых и постоянно унижаемых Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой и многих других.

Через два года, летом 67-го, в Вене состоялась очередная конференция по «ионизированному газам». К этому времени мы с Жорой уже были профи. МАГАТЭ уже само пригласило нас в качестве основных синхронистов, и мы снова увидели супругов Петров и Катю Ровенскую. Петровы сильно постарели за эти годы, а Катя смертельно устала. У неё не хватало сил ни на что. Она много курила, пила черный, как деготь, кофе и добавляла туда Хеннесси. К вечеру она становилась уже никакая. Один раз мы все пообедали в столовой МАГАТЭ стейком-тартар, но это уже был не тот тартар, да и все было не то. А у нас с Жорой возникла коллизия, связанная с Хербертом фон Саясовым.

Австрийский оргкомитет захотел, чтобы ряд немецкоговорящих участников прочли свои доклады по-немецки с переводом на русский и английский. Для немецко-

английского была Катя, а для немецко-русского – наш академический Совет по физике плазмы рекомендовал Саясова. Оргкомитет согласился.

Как обычно, мы с Жорой поселились в одном номере, Херберт жил один. Уже с самого начала конференции он повел себя странно: на инструктаж не пришел, доклады не взял, а на второй день вообще не явился на работу. Пришлось Жоре бежать из нашей секции в саясовскую и переводить за него. Вечером мы поймали Херберта. Он был какой-то взвинченный, извинился, сказал, что перепутал время и что у него было какое-то важное свидание. Жора пообещал, что еще одно важное свидание, и на все последующие он без посторонней помощи ходить не сможет. В третий и четвертый день Саясов на перевод не являлся, Жора работал за него, а я – за Жору и за себя.

В последний день конференции Саясов, прячась от нас, появился в оргкомитете, схватил причитающийся ему по контракту гонорар и исчез. Мы с Жорой почувствовали себя нагло обворованными и решили перед возвращением в Москву у него эти деньги отнять и отлупить, главное – отлупить. Группа отправилась в путешествие по стране, мы остались в Вене редактировать доклады.

Но Саясов не появлялся. Вместо него появился наш консул и попросил открыть ему номер Саясова. Мы вошли в него вместе с консулом, комната была в беспорядке, но в основном личные вещи остались, и даже на видном месте лежал дорогой немецкий фотоаппарат. Увидев аппарат, консул меланхолично заметил:

– Советские люди без фотоаппарата не убегают. Сейчас, наверное, где-нибудь болтается под мостом в Дунайском канале с гирей на шее. Получил деньги, загулял, попал к арабам, и все – догулялся. Придется писать заявление в «криминал-полицию» об исчезновении. Неприятно. Забирайте его вещи, доставите на родину.

Проклиная этого несчастного Херберта фон, мы начали собирать его вещи и в ванной комнате обнаружили пузырек с какой-то остро пахнущей жидкостью. Консул понюхал и сказал:

– Дело дрянь – хлороформ. Это он взял с собой, чтобы усыпить соседа, когда будет убегать ночью. Кому-то сильно повезло. Нет, не болтается он с гирей на шее в канале и не едят его рыбы. Он уже в Бундесе и рано или поздно выплывет. Но в криминал-полицию все равно сообщать придется, а то они подумают, что мы им сюда крота подкинули. Теперь пускай сами ищут.

Руководитель делегации Матвей Самсонович переживал больше всех. Ведь именно он рекомендовал Саясова на роль переводчика. От огорчения Матвей Самсонович не поехал со всей группой – остался в гостинице и не выходил на улицу – боялся, что теперь будут следить за ним и в случае чего приклепают попытку к побегу.

В Вене стояла невыносимая жара. Возвращаясь с работы, мы заходили к Матвею Самсоновичу и выводили его погулять в парк, чтобы он немножко подышал свежим воздухом. У него было большое сердце, и мы опасались, как бы его не хватил инфаркт от этих переживаний и недостатка кислорода. Матвей Самсонович был безучастен к внешнему миру и все время бормотал одно и то же: «Что будет, что будет...» Мы утешали его как могли, рассказывали анекдоты из жизни Атомного агентства и убеждали, что лично ему ничего не грозит.

По приезде в Москву мы сдали багаж злополучного Херберта, написали свои объяснения и укатили в Ленинград.

Через несколько недель в газете «Известия» появилась статья «Невеста из ЦРУ» про нашего Херберта. В статье рассказывалось, как некая разбитная бабенка – жена одного из американских физиков – ездит с конференции на конференцию и соблазняет «морально неустойчивых» советских ученых, за что получает от ЦРУ вознаграждение. Очередной ее жертвой явился Саясов, которого она подцепила, пообещала выйти замуж, «поматросила и бросила». Безутешный Саясов вернулся

в Москву, где сотрудники института его единодушно осудили и с работы выгнали. Теперь он служит переводчиком в бюро технической информации.

Странно, что Саясова не посадили, а всю эту туфту сочли достаточным поводом для того, чтобы оправдать его побег с родины, да и еще из режимного заведения. С «невестой из ЦРУ» я встретился на следующий год в Стокгольме. При одном взгляде на нее было ясно, что ни о какой любви с первого взгляда не могло быть и речи. Впрочем, со второго тоже. И вообще, чем больше на нее смотришь, тем яснее становилось, что вся эта история – газетная утка. «Невеста из ЦРУ» была вполне почтенная пожилая гримза, которая действительно ездила со своим мужем, известным физиком, с конференции на конференцию и не отходила от него ни на шаг. Саясов действительно обратился к ним с просьбой о содействии в побеге. Они сообщили об этом в свой режим – и всё остальное уже было делом техники. В последний день конференции он с одним портфельчиком пришел в американское посольство. Там ему сказали, что его будут вывозить через границу на машине военной полиции под видом пьяного американского солдата, загулявшего в Вене. Влили ему в глотку бутылку дешевого венгерского виски, облачили в форму американского солдата, но тут вышел конфуз: таких шибздигов в американскую армию не берут, и форму пришлось ушивать прямо на нем. Потом его в бессознательном состоянии свалили на джип и повезли через границу на базу под Мюнхен. Когда он пришел в себя, его начали экзаменовать, чтобы решить, стоит ли его дальше ввозить в США или оставить на месте. В ходе экзамена выяснилось, что не стоит. «Великая американская мечта» быстро развеялась, и в конце концов Саясову было предложено место техника-лаборанта на химфаке одного из провинциальных университетов в ФРГ. Это была пощечина всей советской науке: кандидат наук, старший научный сотрудник престижного академического института потянул с трудом на лаборанта. В Академии этим обстоятельством шокированы были больше, чем самим фактом побега. Все это я узнал много позже от Матвея Самсоновича, которому показали все материалы по делу Саясова.

В 1968 году мы участвовали в конференции МАГАТЭ по термоядерному синтезу. Конференция проходила в новосибирском Академгородке. Это был самый разгар сибирских вольностей: кафе «Интеграл» с повсеместно запрещенным джазом, поэтические вечера, фестивали бардов, выставки неформальных художников. Кругом кишели молодые гении, к ним льнули крепкие сибирские девицы из стройгородка, аспирантки, абитуриентки и прочие фемины. В Академгородке были свои небожители – академики Лаврентьев, Будкер, Кутателадзе и другие знаменитости. Мировой термояд на этот раз приехал к Будкеру – основателю и директору Института ядерной физики. Готовились основательно: отремонтировали туалеты в номерах для иностранных гостей в гостинице «Золотая долина», покрасили «Интеграл» и купили туда новую ударную установку.

В Академгородок завезли из Москвы вагон девиц со знанием языков. Назывались они «интерлинго», и поместили их тоже в «Золотую долину». Больше никого из советских туда не пустили. Нас с Жорой тоже не хотели пускать, но мы сказали им, что понятие советский-несоветский к нам не относится, так как мы международные переводчики, и призвали для подтверждения директора конференции мистера Агню. К тому времени Агню был уже сильно взбешен результатами своей проверки технического обеспечения конференции. Все было хотя и широко по-сибирски, но безмозгло по-русски: микрофоны гнали на зал какой-то пархотный рев, зато в наушниках раздавался комариный писк. Переносные приемники ловили «Кукарачу» из кафе, но не доклады со сцены. Проекторы показывали на экране загадочные картинки из жизни других галактик вместо графиков и таблиц. А тут еще отказываются поселять его синхронных переводчиков, потому что привезли каких-то проституток из Москвы и мест якобы нет. Агню рывкнул – места нашлись, мы поселились.

Поначалу было морально тяжело, потому что «интерлинго» точно знало, что кроме них в «Долине» никого советских нет, и принялось на нас с Жорой оттачивать свое мастерство оболъщения. Надо отдать должное: кадры в «Интерлинго» были на высоте и свое дело знали. Это привело в дальнейшем ко многим коллизиям внутреннего и международного характера. Много лет спустя вспоминая Новосибирскую конференцию, зарубежные коллеги сладко зажмуривались и произносили волшебное слово «интерлинго». наших жеребцов от девиц отгоняли оглоблей, а одному, особенно озабоченному, так и сказали:

– Вы сюда работать приехали – вот и работайте. Они тоже работать приехали, и не мешайте им, а то быстро выкатитесь.

Местные комсомольцы, которые охраняли «интерлинго» от туземных посягательств, не разобравшись, поставили фингал под глазом начальнику термоядерного управления товарищу Лупандину. Тот без промедления предъявил фингал академику Будкеру и потребовал сатисфакции. Будкер вызвал медперсонал, который приложил примочку, а заодно взял кровь на анализ алкоголя. Анализ оказался очень положительным. В милицеском протоколе было зафиксировано, что начальник такой-то в состоянии сильного алкогольного опьянения учинил дебош, в результате чего местные дружинники вынуждены были применить силу. Протокол вылетел в Главатом, а начальник из Главатома. Но это все были события вокруг конференции. На самой же конференции тон задавала сибирская молодежь во главе со своим ребе Будкером. Официально его называли Андрей Михайлович, хотя на самом деле он был Гирш Ицкович, сын раввина из славного города Жмеринки. Сказать, что его любили в институте, – значит ничего не сказать: его обожали. Это он ввел знаменитый круглый стол в своем институте, на котором обсуждались все научные и хозяйственные дела и приглашались все, кто имел за душой что сказать, а у кого за душой ничего не было, тот быстро собирал манатки и выкатывался из Новосибирска.

Главным теоретиком термояда у Будкера был Роальд Сагдеев, тогда еще молодой доктор, в будущем молодой академик, директор Института космических исследований, советник Горбачева по вопросам космических вооружений и председатель Комитета советских ученых в защиту мира. Но это все было потом, потом, а пока он был даже не Роальд, а Ролик, хотя в термояде уже считался признанным классиком. На Новосибирской конференции как раз одним из главных событий был доклад Сагдеева о турбулентности плазмы: почему она не желает удерживаться и нагреваться, а бурлит и клокочет без всякого толка. В формулу, очень приблизительно и неточно описывающую турбулентность, он ввел новый член, который все поставил на свои места. Мы с Жорой сразу же назвали его членом Сагдеева и, поскольку в докладе он фигурировал много раз, каждый раз мы его живописали по-разному. Он был у нас и гибкий, и могучий, обладал скрытой потенцией и в конце доклада, когда мы, следуя за текстом, последний раз воткнули член Сагдеева в нужное место, зал просто повалился с кресел от хохота. Много ли нужно, чтобы развеселить тысячу задерганных ученых на занудном теоретическом докладе. В перерыве Сагдеев зашел к нам в будку и спросил:

– Что у такого смешного сказал? Почему так все ржали? Или перевод был неадекватным?

Мы отловили нескольких знакомых американцев и задали им этот вопрос в присутствии Сагдеева. Они в один голос заорали, что это был лучший доклад, который они слышали в своей жизни.

Сагдеев кое о чем догадался, но на рожон не полез. Он понял, что мы ему обеспечили паблисити и не погрешили научной истиной. В научный обиход этот член в уравнении турбулентной диффузии так и вошел как «член Сагдеева». Кто с чем входит в науку!

В Новосибирск для усиления группы перевода МАГАТЭ пригласило из ООН главного переводчика Совета безопасности господина Хлебникова. Я не знаю, родственник он или однофамилец несчастного Пола Хлебникова, которого убили в Москве. Он появился перед самым открытием, высокий, элегантный, с подстриженной щеточкой усов, как у сэра Энтони Идена. В руках у него был дорогой кожаный кейс с именной монограммой. Он открыл его. В нем стояла малоформатная коллекция избранных коньяков, несколько бутылок виски, серебряные стаканчики и еще какая-то дребедень, необходимая для успешного синхронного перевода. Он предложил нам выпить за знакомство – мы отказались. В отличие от наших зарубежных коллег, мы никогда алкоголь во время работы не употребляли – только минеральную воду и кофе, впрочем, от кофе мы впоследствии тоже отказались. Слегка расстроенный нашим отказом, он выпил «Джек Дэниэлс» один и сообщил, что сегодня переводить не будет, так как не выспался с дороги и подремлет у нас в будке, а заодно вникнет в тематику. За ланчем он недовольно поковырял вилкой свой шницель и спросил, может ли заказать стейк-тартар. Мы радостно сообщили, что нет. Он открыл саквояж и утешился еще одним «Дэниэлсом». Мы спросили его, не родственник ли он знаменитого русского поэта Велимира Хлебникова. Он ответил, что о таком поэте никогда не слышал, и прибавил важно:

– Мой батюшка – генерал-адъютант Его Величества.

Жора, который хорошо разбирался в придворной жизни последнего царя, заметил, что никогда не слышал о генерал-адъютанте с такой фамилией. Господин Хлебников слегка покраснел и сказал:

– Это очень похвально, что современная русская интеллигенция интересуется жизнью высшего общества, сама не имея к нему никакого отношения. Жору последнее замечание слегка задело, но он сдержался.

Назавтра Хлебников сел в резервную будку, мы прильнули к наушникам, и в эфире понеслось:

– Магнетические силы компрессируют плазму и приводят ее к полному коллапсу, но она, извиваясь, как флейта, бросается на стенку и погибает, разбрасывая фотоны от импюритивных атомов высоких степеней. У нас с Жорой отвисли челюсти, а потом мы гомерически расхохотались. (На языке физики это означало бы примерно следующее: магнитное поле сжимает плазму и приводит ее к схлопыванию, но в результате желобковой неустойчивости она вытесняется к стенкам и распадается с излучением фотонов от высокоионизованных примесных атомов.) Сразу же после доклада к нам в будку ворвался мистер Агню, которому наши академики уже настучали про магнетические силы, и сообщил, что мистер Хлебников от перевода отстраняется и весь его перевод передается нам. Потом появился сам мистер Хлебников и заявил:

– Как вы догадываетесь, я больше здесь переводить не буду. Главный переводчик Совета безопасности должен переводить либо блестяще, либо никак. Эти плазмы и протоплазмы не моя стихия. Оставляю их вам вместе с остатком моей коллекции.

И он открыл кейс.

– Между прочим, почему бы вам не приехать к нам в ООЭН и не поработать у нас. Нам нужны такие люди, как вы.

– Нет-нет, – сказал Жора, – это не наш профиль. У вас там своя терминология, своя специфика и глоссариум.

– Помилуйте! – воскликнул мистер Хлебников. – Какая там специфика, о чем вы говорите! «Агрессия справа – агрессия слева», «вооружение – разоружение», весь глоссариум не займет и двух страниц! Вам на полдня работы. Я могу поговорить.

– Но ведь мы физики, а не международники. Нас никогда туда не пошлют.

– Какие международники в ООЭН?! – снова возразил Хлебников. – Где вы их видели? Международники-таксисты, международники-гувернантки – да вы будете самыми образованными людьми в нашей компании. Вот вам моя визитка, будете в Нью-Йорке – звоните и заходите. Я познакомлю вас с топ-менеджментом.

На следующий год мы зашли с Жорой в ООЭН на Ист-Ривер. Господин Хлебников был в отпуске, в наших услугах никто не нуждался, да мы и не особенно стремились их предлагать.

Наша карьера синхронных переводчиков, начавшаяся в Белграде, продолжалась более двадцати лет. В 1976 году на Международной школе по физике лазеров мы с Жорой установили неофициальный мировой рекорд по длительности нон-стоп синхронного перевода: одиннадцать дней по шесть часов в день каждый. Как и любой рекорд, этот дался нам нелегко, и больше мы таких экспериментов над собой не проводили. Врачи считают, что нервные нагрузки при синхронном переводе сродни нагрузкам летчика-испытателя. И в том, и в другом случае от перегрузок люди иногда теряют сознание, испытывают продолжительные нервные стрессы, становятся инвалидами, но вместе с тем, преодолевая себя, синхронисты испытывают удовлетворение подобное тому, что испытывают спортсмены, победившие в беге на длинные дистанции или просто дошедшие до финиша.

Но рано или поздно звенит звонок – пора! – синхронист снимает наушники, выходит из будки и начинает жизнь нормального человека.

ДВА РАССКАЗА

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ

Летайте самолетами

– Радость моя, – сказала Мира, – мне пора ехать домой. Родители, наверно, с ума сходят.

– Конечно, – сказал Рыжий.

Он попытался понять, почему его так тянуло к ней еще недавно – во время летних каникул.

Отчуждение ощущалось вполне. Внутренне он находился уже не здесь, хотя еще не в далеком городе, куда нужно было добираться через столицу, сначала самолетом, потом поездом.

– Позвони мне как только доедешь, – попросила Мира.

Переступая через тюки, чемоданы и спящих людей, они вышли из здания аэропорта.

Остановили такси.

«Словно вырвалась на свободу, – подумал Рыжий, вытирая с губ остаток Мириной помады. – Духота, запах пота – не ее стиль. Одна блузка на ней дорожке всех моих тряпок».

Он разговорился со старичком, провожавшим длинноногую желтоволосую девочку, которая сидела на полу, облокотившись на неподъемный с виду рюкзак.

– Не могу ждать, – жаловался старичок. – Как я доберусь, если не успею на автобус?

– Поезжайте, – сказал Рыжий, – я ей помогу.

– Танечка, – позвал старичок, – молодой человек за тобой присмотрит.

– Не надо за мной смотреть, уезжайте – и все, – сказала Танечка.

– Племянница. На даче у меня гостила, – шепотом сообщил старичок. – Как я с ней намучался...

Рейс опять отложили, теперь – до утра.

– Пойдем в зал для иностранцев, – предложила Таня, – там удобнее.

Рыжему подобная мысль и в голову прийти не могла.

– Нас не пустят.

– Скажу что-нибудь по-французски, я на иньязе учусь.

Никто у них ничего не спросил. Таня вошла нахально, будто так и надо, Рыжий постарался не отставать.

В зале для иностранцев было чисто, свободно и пахло не потом, а мятой и карамелью.

Устроились в мягких креслах.

– Девочка тебя провожала красивая, как Юдифь, – сказала Таня.

– Да, – согласился Рыжий.

– Твоя девочка?

- Теперь не знаю, меня целый семестр не будет.
- Где ты учишься?
- В медицинском.
- А французский я знаю с детства, – сказала Таня, – бабушка научила.
- Трудно поступить на инъяз? – спросил Рыжий.
- Не очень.
- Кто твои родители?
- Папа – большой начальник, проектирует самолеты, но это секрет.

В зал вошла девушка в униформе и предложила пройти на регистрацию пассажиров нескольких отложенных рейсов – то есть улететь вне очереди на единственном сегодня самолете.

– А если у нас другой рейс, но мы очень спешим? – спросила Таня по-английски.

– Идите, – согласилась девушка.

Регистрация происходила без суеты и давки: чернокожие, арабы, полдюжины болгар, пожилая пара восточноевропейцев...

Кроме одежды, свои от чужих отличались выражением глаз. Но Таня – столичная штучка – взгляд имела нездешний, а Рыжий нацепил темные очки-капли, купленные у моряка дальнего плавания. Что же касается одежды, то, во-первых, город портовый – все от фирмачей, а во-вторых, даже иностранная публика пообмялась и поблекла за долгие часы ожидания.

Очередь продвинулась. Вместе с билетами предъявляли паспорта.

– Вы же *наши*, – удивилась женщина за стойкой, – вам сюда нельзя.

– Ну пожалуйста, – потянули хором Таня и Рыжий, – мы в институт опаздываем...

В очереди засуетились – спор приобрел международный характер. Оказалось, что иностранцы вполне понимают по-русски.

– Можно всем, – сказали чернокожие.

– Можно, у них ведь билеты, – сказали арабы.

– А почему нельзя? – заинтересовалась пара пожилых восточноевропейцев.

Болгары промолчали.

– Проходите, – решила наконец женщина за стойкой.

Прошли во внутренний зал.

– Ничего себе интерьерчик, – заметил Рыжий, – и бар, как в американском фильме. Жаль, что ночью не работает...

Подъехали к трапу.

– Группу пропустите. Раз, два, три, четыре... двадцать четыре – все.

Они оказались в самолете.

– Спать пора, спать... – сказала Таня.

Рыжий попытался опустить спинку сидения – ничего не вышло.

– Кончилась граница, – сказал он.

– Ты сядешь в нормальное кресло, а я в поломанное, – распорядилась Таня. – Теперь откинь спинку и подлокотник.

Она свернулась, поджав ноги на своем сидении, а голову положила Рыжему на колени.

– Укрой меня кофтой, – попросила Таня.

Рыжий не удержался и поцеловал ее в губы и в закрытые глаза.

– Из аэропорта поедем к моей сестре, – сказала Таня, – это недалеко. Она уйдет на работу, а мы поедим и отдохнем. Успеешь на свой вокзал.

В столице за поездку на такси «недалеко» Рыжий заплатил треть всех денег, выданных ему родителями на первое время, но посмотрел на Таню и подумал: «Оно того стоит».

А сестра оставить их одних в квартире не решилась и на работу не ушла.

– Пойду я, – сказал Рыжий.

– И я, – сказала Таня.

Дошли до автобусной остановки.

– Будешь в городе, позвони.

Генеральская дочка

Любка оказалась на чердаке, оборудованном под квартиру, где в двух комнатках со скошенными потолками жили студенты-медики, а центральная часть служила кухней, прихожей, столовой и гостиной одновременно. Там же, из важного, находилась уборная за фанерной перегородкой.

Семнадцатилетняя Любка могла выпить сколько угодно, не отказывалась от иглы и колес, когда угощали, и спала со всеми, кроме Бенчика.

Сегодня не шумели. Катя-медсестра, приходящая жена Левы, варила макароны. Рядом на плите, в металлической коробочке, кипятился шприц.

– У нас где-то было яйцо, – вспомнил Рыжий. – Кто его съел?

Посмотрели на Бенчика.

– Это он, – догадался Лева, – когда мы уходили сдавать бутылки.

– Да, я сделал себе яичницу, – живот Бенчика колыхнулся между спортивными рейтузами и короткой футболкой. – Я раб своего желудка.

– Нехорошо, – сказал врач-интерн Сеня, хотя ему-то до яйца не было никакого дела: он жил не здесь и питался прилично, – оно же общее.

Бенчик понял, что над ним издеваются.

– Тебе и Любка не дает из-за твоего антиобщественного поведения, – отметил Зорик.

Любка заерзала у него на коленях. Она была в вечернем платье, в котором неделю тому назад не вернулась домой с гулянки.

– Сходила бы белье сменить, родителей успокоить, – предложил Рыжий.

– А пошли они...

– У нас разный социальный статус, – заявил Бенчик. – Она блядь, а я интеллигент во втором поколении.

Любка заплакала и ушла в спальню.

– У нее папа генерал-майор, о каком статусе ты говоришь? – Лева прихватил шприц и пошел за Любкой.

– Она же себе стирает, – сказала Катя. – Вон висит на батарее.

– Я знаю наизусть триста стихотворений Пастернака, – настаивал Бенчик.

– Почитай, – попросила Катя.

Он ломаться не стал:

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно...

Появился Лева.

– Все, – ответил он на вопрошающие взгляды, – у меня ничего не осталось.

– Бенчик, – позвала Любка, – иди ко мне.

– Иди, – сказал Зорик, – пора с этим кончать – с девственностью твоей, я имею в виду.

– Не пойду, я ей не верю...

- Иди, – сказал врач-интерн, – если что – вылечу... Гнали б вы ее, – посоветовал он, глядя вслед Бенчику. – Надоело вас лечить.
- Рыжий ее привел, пусть и уводит, – предложил Лева.
- Не хочу я грубить женщине, с которой живу, – сказал Рыжий, – но иначе она не уйдет.
- А папа-генерал подал в розыск, – сообщила Катя.
- Из спальни выскочила Любка.
- Ой, не могу я с этой жирной свиньей... – и засмеялась.
- Вышел Бенчик, взлохмаченный, покрасневшийся.
- Пусть убирается, она здесь не живет.

После ужина Катя забрала коробочку со шприцем и ушла домой. Лева проводил ее и вернулся – Катины родители его и на порог не пускали. А поздно вечером все, кроме Любки, отправились на переговорный пункт. Сеня принес телефонистке шоколадку. Он первым получил разговор и минут через двадцать ушел.

– Мама, – кричал Бенчик в телефонную трубку, – пришли мне другие трусы, мои совсем порвались.

К часу ночи переговорили.

Возле дома стояла милицейская машина.

– За Любкой приехали, – предположил Рыжий.

– У меня все равно ничего не осталось, – сказал Лева.

– Повезло, – отозвался Зорик.

– Зайдем или нет? – спросил Бенчик. – Не ночевать же на улице в тридцатиградусный мороз...

Сука Альма и лаванда

Сеня, врач-интерн, будущий специалист по кожно-венерическим заболеваниям, снимал шестиметровую комнату в старом деревянном доме.

Раньше он жил по соседству, на чердаке, разгороженном фанерой на несколько комнатусек, с компанией приятелей-студентов.

Студенту Сене это подходило, врачу-интерну не годилось. Недоедание, недосыпание, попойки не вязались с напряженным рабочим днем и периодическими ночными дежурствами.

Домом владела моложавая разведенка, у нее были две дочери-погодки пяти и четырех лет, старая мать, всегда сидевшая на табурете возле газовой плиты, и почти английский дог – сука по имени Альма.

Несколько лет тому назад разведенка выгнала мужа за пьянство и тогда же взяла щенка – дом охранять.

Со временем обида на мужчин притупилась, и она решила: пусть будет жилец – тем более доктор.

Комнатка оказалась теплой и светлой. В ней помещались кровать, книжная этажерка, небольшой стол и старое, с большим зеркалом, трюмо. В качестве шкафа Сеня привык использовать свои чемоданы.

Единственным недостатком было то, что на притолоке вместо двери висела занавеска.

В первое же воскресенье Сеня решил постирать. Он наполнил ведра из колонки, которая находилась на улице, согрел воду на плите и одолжил у хозяйки небольшое корыто. Не прошло и часа, как первая рубашка была выстирана.

– Ладно, – сказала хозяйка, – если наносишь воды, я и твое стираю. Чуть больше белья, чуть меньше – какая разница.

Вечером Сеня лег пораньше, чтобы полистать в кровати медицинский атлас дореволюционного издания, доставшийся ему по случаю и недорого.

В комнату вошла разведенка-хозяйка. Поскольку не было двери, то и стучаться было незачем.

– Что-то ты рано лег, – констатировала она факт и присела на край кровати.

На ней была байковая ночная рубашка до пят с застегнутым под самое горло на мелкие пуговички воротником. Несмотря на рубашку, она казалась вполне голый. Байка напряглась на больших и явно твердых сосках, обтянула бедро...

Кровать под ее весом закрипела. Женщина была ничего себе – из крупных.

– Что там у тебя? – она взяла в руки атлас. – Бабы голые и мужики...

Он объяснил.

– Мне утром на смену, – сказал он.

– Всем на смену, – сказала разведенка.

– Ко мне невеста приедет через неделю, дня на три. Ты не против? – спросил Сеня.

– Пускай, – согласилась хозяйка и махнула рукой, – какая разница...

Ночью Сеня проснулся – кто-то шумно дышал ему в ухо, а по щеке будто елозили мокрой тряпкой. У самого лица сверкали два налитых кровью глаза.

– Пошла вон, – сказал Сеня.

Сука Альма тяжело вздохнула и отступила.

Сеня дотянулся до трюмо и взял первое, что попало в руку, – большой флакон с одеколоном «Лаванда» для бритья.

Собака отступила еще немного.

Сеня пшикнул в нее из пульверизатора.

Альма выскочила вон.

Утром он проснулся от невыносимого запаха лаванды. Возле трюмо стояли хозяйские дочки, старшая поливала младшую Сениным одеколоном.

– Я парикмахер, – сообщила она.

В комнату вошла бабушка, а за ней хозяйка.

– Мама, ты опять заблудилась. Девочки, а вы что здесь делаете?

– Слушай, нельзя ли как-нибудь дверь поставить? – спросил Сеня.

– А где ее взять?

В тот же день, после работы, Сеня зашел на стройплощадку.

– Продайте дверь, мужики.

– Новых нету, но можно снять с нашего вагончика.

– Сколько?

– Трояк, вместе с замком.

– И с ключом, – уточнил Сеня.

С позиции сюрреализма

Лектор-любитель, пытаясь объять недозволенное, вяло критиковал Сальвадора Дали. Он демонстрировал дилетантские слайды и альбом, бережно обернутый в целлофан.

Молодые интеллектуалы, не оценив просветительской миссии, свистели, что-то выкрикивали и топали ногами.

Двухметровый детина лет восемнадцати-двадцати (косая сажень, кровь с молоком и так далее) с места произнес речь в защиту сюрреализма вообще и Дали в

частности: говорил о бесконтрольном воспроизведении подсознания, о сочетании реальных и ирреальных предметов, о виртуозной технике...

– Кто это? – спросил Бенчик, очарованно глядя на великана.

– Мясник с рынка, – ответил Сеня.

– Этот гад украл наш магнитофон, – сообщил Бенчик.

Вчера вечером, вернувшись домой, на чердак, Бенчик нашел его незапертым. А минут за пять до этого он встретил на улице вышеуказанного мясника-искусствова, тащившего под мышкой магнитофон, очень похожий на тот, что должен был бы стоять, но уже не стоял на деревянном табурете.

– Я могу с ним объясниться, – сказал Сеня, бывший чемпион небольшой области по дзюдо среди юниоров, – но эта горилла дружит с Рыжим. Пусть сами разбираются.

Спор о сюрреализме достиг температуры кипения и начал испаряться. Вышли на улицу.

– Здесь минус двенадцать, – объявил Бенчик, – а у нас еще лето. Я до ноября в море купался.

– Ты-то не мерзнешь, с такой жировой прослойкой, – сказал Сеня.

Рыжий пил воду из-под крана не отрываясь, большими глотками.

Зорик сидел за столом, обложенный тетрадами и атласами, и вид имел несчастный.

– Катя ширь принесла, а у меня курсовик, – пожаловался он.

– Брось учиться, – посоветовал Сеня, – чтобы найти вену, не обязательно быть врачом.

В одной из комнатшек шумно возились Катя и Лева. Их совместная жизнь заканчивалась вечером, после чего Катя возвращалась к родителям, которые Леву не признавали, несмотря на официальное свидетельство о браке, выданное молодой семье районным загсом.

– Он не мясник, а ученик мясника, – зачем-то объяснил Рыжий, выслушав доклад Бенчика об очередном заседании молодежного интеллектуального клуба. – Я из него магнитофон с потрохами выблю.

Через день Рыжий вернулся с магнитофоном.

– Он говорит, что просто взял послушать. Пришел ко мне, а я спал, и дверь была не заперта. Вы же сами не велели закрываться, когда я сплю.

– Тебя не добудишься, – подтвердил Лева.

Рыжий сунул руку за пазуху и достал бутылку вермута.

– Кстати, магнитофон не работает, а это я взял в качестве компенсации.

– Ты бы лучше кусок мяса принес, – сказал Бенчик, – или, в самом деле, каких-нибудь порошков.

Праздник витаминов

На столе лежали огурец-переросток, десяток средней величины помидоров, пучок укропа, два пучка крупной редиски и связка молодого лука. Кроме того, в полулитровой банке белела неровной поверхностью деревенская сметана, купленная хотя не на рынке, но в кооперативном магазине под названием «Дары природы», – дар, который обошелся недешево.

– Сметану можно было не брать, – заявил Рыжий, – я предпочитаю с маслом.

– Хозяин – барин, – объяснил Сеня, – а хозяин здесь я.

Сеня, совершенно один, снимал шестиметровую комнату в частном деревянном доме. Рыжий, он же студент мединститута, посетил своего земляка и приятеля солнечным весенним утром в воскресенье.

– Жрать хочется, – сообщил он с порога.

Врач-интерн Сеня еще вчера получил зарплату в кожно-венерологическом диспансере, но потратиться по-человечески не успел, так как сразу же вышел «в ночь» – на дежурство.

– Весной нужно есть витамины, – сказал он, – но в это время года их можно достать только на рынке.

На всякий случай заглянули в овощной магазин, где увидели чудо: на прилавке лежали свежие огурцы.

– Парниковые, – разочаровался было Рыжий, – но пахнут...

Каждый огурец был размером с хорошую скалку.

– Возьми для своей малолетки, – предложил Сеня, – пусть попользуется.

– Пусть пользуется тем, что есть, – сказал Рыжий.

Купили самый большой.

Зашли в «Дары природы».

– Нам бы сметану, – попросил Сеня, – густую, чтоб ложка стояла.

– От этой все что угодно встанет, – пообещала продавщица. – Подфартило вам, мальчики.

Показали продавщице эротический огурец.

Конской колбасы и косульего мяса решили не брать.

Следующим и последним был рынок.

– Тут прилавков больше, чем продавцов, – сказал Сеня.

Пошли вдоль рядов, ориентируясь на самую большую кепку. Где-то там должны были находиться помидоры...

– Как ты теперь доживешь до аванса? – спросил Рыжий.

– Не хлебом *едимым*... – отвечал врач-интерн.

Овощи Сеня мыл и нарезал сам. Рыжему было доверено принести тазик с хозяйской кухни.

– Перчику не забудь, – говорил Рыжий.

Как всегда, подготовка к процессу еды оказалась интереснее и острее самого процесса. Ели ложками. Объелись за несколько минут, не проглотив и половины. Потом сидели отстраненно, думали – каждый о своем.

Кто-то давно уже скребся и поскуливал за дверью, запертой предусмотрительно на ключ изнутри. Открыли. В комнату ввалился среднего роста толстяк.

– Здравствуй, Бенчик, – сказал Сеня.

– Что это у вас? – простонал Бенчик, схватившись за ложку.

Бонжур, Афродита!

Из-за нелетной погоды он опоздал на неделю.

– Группа в колхозе, а ты поработаешь в общежитии, пока иностранные студенты не съехались, – распорядились в деканате.

– А нельзя ли там место получить? – закинул удочку Бенчик. – А то я уж который год квартиру снимаю...

– Не мы решаем, кого можно поселять с иностранцами, а кого нельзя, – ответили в деканате.

Ему пришлось обосноваться в столетнем деревянном доме на чердаке, разгороженном на комнатухи деловитым хозяином.

В общежитии Бенчик разыскал коменданта и получил наряд на работу в библиотеку. Перезрелая девушка (библиотечный стандарт) в немодных очках, рутинного цвета костюме и с клубком волос на затылке поручила ему сортировать книги по алфавиту.

В перерыве он пошел в столовую. Очередь состояла из иностранных студентов. Один из них разволновался, глядя на тефтели.

— Положите мне только гарнир, — попросил он по-французски.

Раздатчица не поняла. Бенчик понял и объяснил.

— Тут все свежее, — сказала она, — плохого у нас не бывает.

— Этот парень, наверное, мусульманин, — предположил Бенчик, — ему свинину нельзя.

— Бедненький, — посочувствовала раздатчица. — Что ж это их присылают, а денег на еду не дают? — и обильно полила мясной подливкой картофельное пюре.

Мусульманин обалдело уставился на тарелку.

После обеда Бенчик вернулся в библиотеку. Среди учебников и пособий он отыскал несколько сборников поэзии Серебряного века для англоговорящих, изучающих русский язык. К каждому стихотворению прилагался английский перевод. Авторы были такие, что Бенчик сразу бросился в атаку.

— Я хотел бы взять эту книжку, у вас там еще есть.

— Насовсем дать не могу, — сказала библиотекарь. — Возьмите, конечно, но верните когда-нибудь.

Она сняла очки и распустила волосы.

«Юная совсем, — удивился Бенчик, — красивая, как Афродита...»

— Я знаю наизусть триста стихотворений Пастернака, — похвалился он.

— Почитаешь мне после работы? — спросила Афродита.

В дверях замельтешил комендант, пропуская кого-то ответственного.

— Вы с ума сошли, — прошипел ответственный, — иностранца заставляете работать.

Загоревший за лето, отрастивший длинные кудри и одетый по южной моде в кирпичного цвета штаны, Бенчик в самом деле выглядел не по-местному.

— Больше не приходи, — шепнул ему комендант.

— А справка для деканата?

— Я подпишу.

Бенчик проводил Афродиту.

— ...Тупик, спускаясь, вел к реке...

— Холодно, — сказала она. — Зайдешь? Чай? Кофе? Бутерброд с колбасой или с сыром?

— ...Ты с ногами сидишь на тахте...

Бенчик задержался на некоторое время.

— ...Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще...

Мезальянс

— Что же им во мне не нравится?

- То, что мне в тебе нравится.
- Например?
- Например, нос.
- Чем больше у мужчины нос, тем больше у него...
- Что-то я не замечала.
- Где это ты не замечала?
- Вот дурак, я же все-таки медсестра.
- Нужно снять квартиру, – настаивал Лева. – Зорик все вечера в прихожей сидит, ты ему ширь таскаешь. Нарвешься...
- Не поймают, – отвечала Катя, – я не наглею.
- У меня денег нет передачи тебе носить.
- А говоришь, квартиру снимем. Выпил бы с моим папашей пару раз в какой-нибудь забегаловке, так ведь ты не пьешь.
- Я не пью? – удивился Лева.
- Ты как-то не так пьешь.
- В самом деле, пьем мы с ним по-разному, – согласился Лева.
- Что же делать?
- Уговори родителей позволить мне пожить у вас.
- Я их обязательно уговорю, – неуверенно пообещала Катя. – Временно и без прописки. А как только ты закончишь институт и получишь распределение – мы уедем.
- Им объясни, я-то сам все понимаю.

- Наверно, тебе нравится на чердаке, – сказала Катя. – Шлюшки всякие приходят и генерал-майорская дочь...
- Клянусь, я чист, как Бенчик, – поклялся Лева. – Просто жалко ее, совсем еще девчонка.
- Мне ее тоже жалко, но и себя жалко.
- А Бенчик то хамит, как в трамвае, то стихи ей читает. Кому он нужен, этот Пастернак...
- Узнаю – убью, – предупредила Катя. – Умрешь во сне от передозировки.
- Купи ребятам вермута, – попросил Лева. – Вечером Сеня приведет свою невесту показывать.
- Почему мы должны всех поить? Я не так уж много зарабатываю.
- А почему они должны слушать, как ты стонешь по вечерам за фанерой?
- Тебе не нравятся мои стоны?
- Нравятся, но могла бы и потише.
- Поттише не получается, – сказала Катя.

Черно-белое кино

В раннем детстве Зорик любил все фильмы подряд, но со временем понял, что хорошим является только цветное кино.

А сейчас его забирали в армию.

Вообще-то в армию его забирали уже два года, с тех пор как турнули из института, а заодно из комсомола, по причине, о которой сам Зорик вспоминать не желал.

В комсомол он вступил снова, на предприятии, где временно работал и постоянно, то есть ежедневно, а иногда и по несколько раз в день раскладывал на тюках с новой спецодеждой неосвобожденного комсорга – кладовщицу Надю.

– Завтра веду «баранов» в райком комсомола, – сообщила как-то раз Надя, сползая с горы из ватников, – и тебя возьму заодно.

– Мне же скоро двадцать, – засомневался Зорик. – Спрашивать начнут: «Где раньше был? Что делал?»

– Все схвачено, – успокоила Надя, – везде свои ребята.

Вскоре комсомолец Зорик восстановился в мединституте за две тысячи километров от родного дома.

Тут и началось: в текстильном городишке ощущался недобор призывников – «подметали» всех.

Оказалось, что отсрочка от армии сохраняется лишь за теми, кто *перевелся* и, значит, не прерывал учебы, а он *восстановился*, то есть учебу прервал.

В первый призыв Зорика не заметили, второй стоил нервов и денег, а к третьему пришла в институт папка с его личным делом. Открыли – а там справка об отчислении из комсомола. Теперь-то Зорик безоговорочно подлежал призыву.

На занятия он уже не ходил – срочно сдавал «хвосты» за прошлый семестр: где коньяк подсовывал, где на жалость давил: забирают, мол, помогите завершить незаконченное высшее образование. А в свободное время ходил в кино. Смотрел все подряд. Фильмы отвлекали: полтора-два часа хорошей или плохой – главное, другой жизни. Но даже самые цветные фильмы выглядели черно-белыми.

Наступил день призыва. Последнюю неделю Зорик бурно отгулял; заодно со всеми попрощался и почти примирился с неизбежным.

– С медицинским образованием пристроюсь где-нибудь в санчасти, – храбрился он.

– Армии не знаешь, – предупреждала Любка, дочь генерал-майора авиации.

– Солдатики все несчастные, а в санчасти ты скурвишься...

Она брала его руку и засовывала к себе под юбку.

– Как ты там без этого?

Письмо пришло через три месяца: «Служу в санчасти, – сообщал Зорик, – к спирту пока еще не подпускают, но конопля растет за окном...»

Больше письма не приходили.

Одно из двух...

– ...или в психушку, или замуж, – рассказывала Катя. – Уговорили политрука-майора. Вдовец – одну уморил, но специально искали, чтоб умел гайки закручивать. Он согласился, потому что в Германию без жены нельзя, а главное – тесть генерал.

– Это из анекдота, – вспомнил Лева, – лучшие мужья – майоры: у них еще эрекция, но уже зарплата.

– Расписались – и сразу на самолет, – продолжала Катя. – А в Германии им банкет устроили по случаю прибытия и свадьбы. Там уж Любка отвязалась. Майор, с согласия папаши, быстро оформил бумаги, и теперь она в нашей больнице: уколы, таблетки – все как положено. Я заходила – говорит, что в психушке лучше, чем с офицерем.

– Сумасшедшая, – сказал Бенчик. – Хорошо, что у меня с ней ничего не было.

– Это у нее с тобой ничего не было, – уточнил Рыжий.

– Скоро женюсь, – сообщил Сеня (он работал врачом в райцентре, но иногда приезжал к приятелям на выходные). – Она сейчас учится на четвертом курсе – может, сумею получить открепление.

– А если не сумеешь, к себе возьмешь? – спросил Лева. – Это же не семья – ты там, а жена за две тысячи километров.

– Кончились декабристы. У нее квартира в центре, мама, папа, университет... Здесь одно из двух: или я, или не я...

– Муж неожиданно возвращается из командировки, – сострил Рыжий.

– Буду у Кати жить, – сообщил Лева, – она с родителями договорилась. Теща сказала: «Пусть живет, но чтоб я его не видела». Стану человеком-невидимкой. Кстати, хозяин велел передать: либо новых жильцов ищите, либо платите за всю квартиру.

– Это не квартира, а чердак, – возмутился Бенчик.

– Обязательно найдем, – сказал Рыжий, – пусть успокоится.

Это серьезно

– У меня шесть, – сказал Рыжий. – Нужно минимум двенадцать.

Лева, совершенно случайно зашедший в гости, вздохнул и дал рубль. Бенчик ненадолго скрылся в комнате и вынес трешку.

– Итак, – подбил Рыжий, – четыре на билет, потом автобус, метро... Остальное на представительство. Должен же я хоть раз расплатиться в кафе?

– А назад как же? – спросил Лева.

– Мира организует, – похвалился Рыжий.

– А ночевать?

– У нее, если не застукают. Знаешь, где она живет? В «Интуристе».

– Столько мороки ради двух дней, – прикинул Бенчик, – причем на содержании у девушки. Не пойму, гусар ты или альфонс?

– Это серьезно, – сказал Рыжий, – уже полтора года.

– С перерывами, – подсказал Лева.

Позавчера Рыжий получил телеграмму: Мира в столице, дальше адрес и телефон. Ехать он не мог, но сразу понял, что поедет, а сегодня в восемь утра уже стоял в телефонной будке возле гостиницы.

Номер не отвечал.

«Спит, наверное, – решил Рыжий, – позвоню через час».

Было холодно. Он позвонил через час.

Потом еще раз – через полчаса...

В полдень Рыжий полистал телефонную книжку и позвонил одной местной девочке, с которой когда-то познакомился в аэропорту в родном городе. Тогда погода была нелетной, но они совершенно случайно сумели прорваться на единственный улетевший в тот день самолет.

– Таня на занятиях, – ответил женский голос, – будет не раньше семи. А кто ее спрашивает?

Рыжий объяснил.

– ...Еще у меня ее кофта осталась. Случайно.

– Кофту я помню, – сказала женщина. – Позвоните вечером.

«Ну, девочки, кто раньше?» – подумал Рыжий.

Никакой кофты у него с собой не было, он даже не помнил, куда ее задевал, но это могло послужить опознавательным знаком для Тани – все-таки больше года прошло.

Часа через два, околавываясь возле входа в гостиницу, Рыжий наконец увидел Миру. Она тащила переполненную сумку.

– Тебе помочь? – спросил он.

– Я ездила в пригород, – объяснила Мира, – там хорошие магазины, многое удалось купить. Ты ешь, а то совсем худой... Собственно, все это можно достать и у нас, но хотелось вырваться, тебя повидать.

Они сидели в гостиничном ресторане.

– А если бы я не приехал? – спросил Рыжий.

– Я бы сама к тебе приехала. Хотя не знаю... Родители волнуются, каждый вечер звонят...

– Здорово, – сказал Рыжий утром. – Ты, я, «Интурист»...

– А я замуж выхожу, – сказала Мира. – Так уж получилось. У тебя учеба, потом интернатура, распределение... Ты появляешься раз в четыре месяца, а я же не могу одна в театр, например, или в кино...

– Не провожай, – сказал Рыжий, – поезд только вечером, а у меня сессия начинается. И вообще, приличные студенты путешествуют автостопом.

Конечная остановка

Бенчик, Лева и Рыжий – студенты медицинского института – решили навестить своего приятеля Сеню, получившего диплом врача по кожно-венерическим заболеваниям и работающего теперь по распределению в районном центре – километрах в ста двадцати от города.

Собирались долго: дожидались денежного перевода от чьих-либо родителей, праздников, сухой погоды, подходящего настроения...

И вдруг все сошлось.

Бенчик получил стипендию, а из дому – посылку с орехами, шоколадом и консервированной ветчиной иностранного производства.

Рыжий, отработав несколько вечеров и ночей на мясокомбинате, закупил местного «Советского шампанского» – вполне приличного в полусладком варианте.

Леве жена его Катя посоветовала убраться в праздничные дни куда-нибудь из города, а не шататься с утра до вечера по квартире, нервируя и без того нервных Катиных родителей, на что выделила несколько рублей, полулитровую бутылку лечебной настойки и трехлитровую бутылку маринованных огурцов.

Деньги и, главное, продукты временно заперли в чемодане, чтобы не провоцировать Бенчика.

– Лучший способ похудения – полное отсутствие жратвы, – сказал Рыжий, отъевшийся на мясокомбинате.

Бенчик протестовал до самого отъезда:

– Консервы испортятся, конфеты засохнут...

Бенчик протестовал в электричке:

– Не знаю, как вы, а я сегодня почти не завтракал.

Но в электричке выпили настойку и закусили бутербродами с жареной колбасой, выданными в последний момент на дорогу прозорливой Катей.

В напитке оказалось градусов шестьдесят, поэтому три часа в поезде пролетели как один.

Потом ехали автобусом. Спали урывками – сильно трясло. Проснулись на конечной от того, что трясти перестало. Рыжего, перетрудившегося на мясокомбинате, пришлось расталкивать.

Конечная остановка – нужный районный центр – широкая, кое-как заасфальтированная площадь. Справа – двухэтажное здание; на первом этаже все закрыто, на втором – столовая-ресторан. Напротив – еще одно двухэтажное здание с

обязательным бетонным бюстом у входа, один этаж каменный, другой деревянный. И по периметру площади – избы с вывесками «Хлеб», «Почтамт», «Продукты», «Книги», «Галантерея»...

Отыскали больницу – два домика и несколько длинных барачков, окруженных забором.

– Доктор тут живет, вон его машина, – показал старичок, встреченный у ворот.

Обошли «пятерку» цвета «коррида», поднялись на крыльцо, постучали.

– Открыто, – услышали наконец Сенин голос.

– Тратить не на что и негде, а я еще гинеколог на полставки и на четверть ставки глазной, – рассказывал Сеня. – Тут их «четверка» интересует – деревенский вездеход или «Нива», а выделили «пятерку» – на ней по этим дорогам не раскатаешься. Теперь вернусь домой на «Жигулях». Родители, конечно, помогли...

В двадцатиметровой комнате, кроме металлической кровати, табурета и большого деревянного стола, мебели не было. Были Сенины чемоданы, один открытый – вместо шкафа, другой со времени приезда он и не открывал. Три года нужно отработать по распределению, и год уже прошел.

Выяснилось, что нет хлеба, и еще чего-то недоставало. Пошли в магазин.

– Хлеб только для здешних, – сказала продавщица – и тут же смутилась, даже испугалась: – Ой! Извините, доктор, я вас не узнала.

– Я обычно в больнице ем – сюда не хожу, – объяснил Сеня испуг продавщицы.

– Это она ко мне придет еще со своей эрозией...

– Но почему же хлеб только местным? – спросил Бенчик. – А если я проездом и проголодался?

– Ездят тут всякие, скупают хлеб свиней кормить, извини за каламбур, – ответил Сеня.

– Но если я хочу кушать? – недоумевал Бенчик.

– Иди в ресторан.

В ресторане купили пива и водки. Буфетчица хотела обслужить доктора без очереди, и присутствующие не возражали, но Сеня отказался.

– Сейчас они трезвые, а вообще-то лучше не связываться, – объяснил он позже.

Пили, ели, говорили:

– Мы тут, сельская интеллигенция, на охоту ездим: я с главврачом, милиционер, пожарник... То на скорой, то на милицейской, то на пожарной, – рассказывал Сеня. – А вообще-то я всегда дежурю или подменяю кого-нибудь. У них семьи, огороды – а мне нужны отгулы. Два раза домой ездил. Может быть, через год получу открепление, главное – связи...

– Родичи у нее совсем взбесились, – жаловался Лева. – Я там ничего не ем и даже на кухне не показываюсь, занимаюсь в библиотеке, поздно прихожу, Катя открывает – я к ней в комнату, а утром выхожу, когда их уже нет...

Бенчик цитировал:

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят...

– Это я поэт, – говорил Рыжий, – мною сочинено шесть тысяч четыреста семьдесят семь стихотворных строк. Хватило бы на два тома, но второй нужно

сжечь. Господи, помоги издать два тома моих стихов! Если позвонят из Нобелевского комитета – я в сортире.

- Не позвонят.
- Почему?
- Здесь нет телефона.
- А как же ты звонишь домой?
- С почтамта.

Отправились звонить домой.

- Люсенька, это для *нашего* доктора, – упрасивала трубку телефонистка.
 - Нет связи, – отвечала трубка.
 - Ну постарайся, для доктора и для меня...
- Переговорили.

- Я каждую ночь жене звоню, – сказал Сеня.
 - Понятно, – понял Лева.
- И Рыжий понял, и Бенчик тоже...

Утром Сеня повез их на станцию.

– Ездить некогда и некуда, – жаловался он. – Скоро жена будет рожать, тогда и поеду, заодно машину обкатаю. Две тысячи километров – то, что доктор прописал.

1999

ТРИО В СОСЕДНЕЙ КВАРТИРЕ

* * *

– Все же ты нахалка, дорогая Мали. В Праге мы, конечно, не учились, но умывальник от биде отличаем с тех пор, как эти невиданные штуковины завезли по ошибке на склад нашего предприятия вместо импортных унитазов... – Лир (сокращенное – от школьной клички Лирик) скороговоркой продолжил рассказ: – Просто раньше там жили какие-то лилипуты, и поэтому все выключатели, розетки и раковины расположены очень низко. Впрочем, для тебя в самый раз.

Мали (сокращение от школьного – Малютка) разозлилась именно так, как нравилось ему: серые большие глаза стали синими и пустыми – зрачки сузились, словно исчезли совсем, а маленький рот округлился и задрожал.

- Перестань издеваться, олух.

Разозлиться основания были, тем более что со школьных времен она подросла основательно и рост имела идеальный – 164 сантиметра (как у Венеры Милосской), если надевала туфли на одиннадцатисантиметровых каблуках.

– Лис идет, – сказала Мали. – Он тоже бестолочь, но хоть разговаривает по-человечески.

– Почему я вожусь с тобой с восьмого класса? – спросил Лир. – Почему не женился, не завел детей? Почему, наконец, моя мама...

Тут подошел Лис (школьное прозвище – из-за рыжих волос) и присел на скамейку, по левую от Мали руку.

– Где ты пропадала две недели, блудная дочь? – спросил он. – Что на сей раз поразило твое воображение – фортепьянное трио из начальной школы?

– Радуйтесь, – отвечала она, – ошиблась девушка. Но хоть кто-нибудь может поговорить со мной по-людски? И почему вы никогда не дарите мне цветов?

– Ты и без того разорешь наше гнездо – скоро мы все разлетимся в разные стороны.

– Ладно, проскочили, – попыталась унять его Мали.

– Я проповедую всепрощение, – не успокоился Лис, – и он всего лишь Лир, а не Иван Грозный, но по старинному обряду тебя следует посадить на кол.

– Насиделась, спасибо. И вообще, надо будет – сама удавлюсь.

Она перешла в наступление:

– Лир нашел квартиру, там все низенькое, даже унитаза. Если будешь писать мимо, оскоплю.

– И ни с чем останешься, – заметил Лис. – Кстати, скопцы тоже писают.

– Ну, «ни с чем» – это тихо сказано, – возмутился молчавший недолго Лир. – А Лису, собственно, все равно, не в смысле кастрации, а в смысле нашего унитаза. Он влюбился и скоро уйдет из семьи.

– Но почему? Почему я вожусь с вами с восьмого класса? – спросила Мали. – Ведь моя мама...

– Это не окончательно, – перебил ее Лис, – это временно. Через месяц меня бросят, и я вернусь. Так что треть за квартиру можете получить сейчас, и комнату мою прошу не занимать.

– Знаем, – хором сказали Мали и Лир.

– Ну конечно, – заканючил Лис, – рыжих никто не любит. «Ты, – говорят, – врун, неряха и нытик, или проваливай, или женись».

– А ты женись, – сказали Лир и Мали.

– И почему я вожусь с вами с восьмого класса? – спросил Лис. – Говорила же моя мама, что добром это не кончится.

– Это ничем не кончится, – заметила Мали, – и никогда.

– Тоже мне – ворон, – сказал Лир. – А тебе, нытик, и уходить не стоит. Нужно обустроить жилье: подкрасить, там, и тэ дэ, может быть, унитаза поменять. Что же нам – одним корячиться? А через месяц ты придешь на все готовое с бутылкой водки для меня и с шоколадкой для Мали...

– Обещаю торт и коньяк, – сказал Лис. – А не уйти нельзя. Сам же познакомил меня с этой поэтессой, а я всего-то и сказал, что она гений, – легче легкого, – на секунду он задумался. – Нет, никак нельзя упустить. И красавица к тому же...

– Правильно, – согласился Лир, – чем красивее поэтесса, тем лучше ее стихи. Эта же внешне потянет на способную, но с гениальностью ты перегнул.

– Важен результат, – сказал Лис.

– Что хорошего можно сказать о мужчинах вообще, если самые умные из них рядом сидят? – спросила Мали.

Четырехэтажный дом без лифта на шестнадцать квартир

Первый этаж.

Квартира № 1. На кого-то кричит женщина. Есть на кого. Двое детей и муж. Он по утрам долго заводит машину. Что-то с аккумулятором. Или с карбюратором. Мы в этом не разбираемся. Женщина кричит часто, у нее нервы.

Квартира № 2. Пахнет жареным – в прямом смысле. Дочь у них в армии. Возвращается голодная...

Квартира № 3. Лает собака. Стоит кому-либо пройти мимо двери – и собака заливается. Хозяйка собаки и квартиры недовольна, если кто-то поздно возвращается домой, то есть проходит мимо двери и тем самым вынуждает лаять собаку. Спать не дают.

Квартира № 4. Ремонт – ломают все. Потом начнут строить заново. Знакомая система. Сюда вселятся новые жильцы. Серьезные люди, судя по глобальности затеи.

Второй этаж.

Квартира № 5. Громкая музыка. Живущий здесь подросток иногда выставляет в окно динамики. Ему кажется, что нет ничего прекрасней именно этой музыки, и он спешит поделиться ею со всеми проживающими в округе.

Квартира № 6. Плачет ребенок. Неизвестно который. Детки-погодки. Мать разрывается между двумя. Одного берет – другой плачет. Берет другого... и так далее.

Квартира № 7. Гудит пылесос. Вариант не худший. Чаще дверь открыта настежь, и хозяйка убирает палубным способом. Воду гонит на лестничную клетку.

Квартира № 8. Забивают гвозди. Тут всегда что-нибудь чинят, мастерят... Кульки с продуктами все тащат по лестнице, а у этих подъемник прямо из окна, скорее из принципа, чем по необходимости: второй этаж – не так уж высоко.

Третий этаж.

Квартира № 9. Запах. Травят насекомых. Вся гадость вылезет на лестницу подышать. Нужно смотреть под ноги.

Квартира № 10. Старики живут. Глуховаты. Телевизор на полную мощность. Запах лекарств.

Квартира № 11. Любопытное место: ни звука, ни света, ни запаха. Либо очень уж тайный притон, либо там вообще никто не живет.

Квартира № 12. На кого-то кричит мужчина (в отличие от квартиры № 1). Потом он уйдет и вернется ночью. Будет звонить и стучать в дверь. Не сразу, но его впустят.

Четвертый (и последний) этаж.

Квартира № 13. Снова запах, теперь – нитрокраска. Не умолкая, звонит телефон. Что-то покрасили и ушли.

Квартира № 14. Здесь живет вдова – не старая и не молодая. У нее сын лет семнадцати-двадцати. К ней приходят двое мужчин (в разное время). Сын ежедневно приводит новую девушку. С лестницы ничего не слышно, но, имея капельку воображения, можно представить, что там творится.

Квартира № 15. Тут все ясно: кого-то изнасиловали и задушили, потом напечатали фальшивых купюр на полмиллиона, а сейчас играют в покер по-крупному.

Квартира № 16. Отпираем дверь.

Лир

Дед печатал мемуары на трофейном «Ундервуде» – пачка листов сантиметров пять толщиной. Где они? «Ундервуд» достался мне. Долго стоял в кладовке, в нем поселились жуки. Их вытряхнули в ванну вместе с кареткой, которая рассыпалась на сотню маленьких деталей. Нашелся мастер – собрал. Что еще?

Подумалось: пиши повесть, если есть тема для романа; пиши рассказ, если есть тема для повести; пиши стихотворение, если есть тема для рассказа; пиши роман, если есть тема для стихотворения.

Дача, зеленая поляна, старая перевернутая лодка, сидим под лодкой – свечку жжем.

Мужичок лет шести:

– Давай ты мне поцелуешь, а я тебе...

Пожимаю плечами. Чего ради я должен это целовать?

Помню, папа сделал стойку на руках на самом краю обрыва. Помню, долго ищу возле дачного домика камень, чтобы бросить в старшую сестру. Как ни странно, ничего подходящего.

Бегу по двору за взрослым соседским парнем, кричу ему: «Толик-нолик!». Не понимаю, почему он так зло на меня смотрит. За что меня не любить? Но это потом – мне уже пять лет.

Залезли в подвал под домом. Мальчишки и одна девчонка. Долго шли с фонариком вдоль обмотанных стекловатой труб. Остановились.

– Раздевайся.

Она руки к шароварам прижала. Постояли так недолго – и обратно пошли.

Лис

Врать можно по-разному. Не чувствуешь вины – без подготовки. Когда виноват, но не стыдно, – нужно разве что сориентироваться. Если стыдно и виноват, то готовься заранее, и все равно трудно будет. Лучше всего выдать версию, а потом ждать вопросов. Вопрос – ответ, вопрос – ответ...

Можно предупредить разговор:

– Не хочешь дурацких ответов – не задавай дурацких вопросов.

Можно отшутиться:

– Здравствуйте. У тебя рот в зубной пасте...

Можно рассказать историю. Например:

– Захожу сегодня в банк, а за мной старичок. «Там еще деньги остались?» – шутит. – «Ваши, может быть, и остались, а моих больше нет», – шучу, хотя какие уж тут шутки...

Или другую:

– Помнишь Арлекинера? Рыжий, как я, но с улыбкой до ушей и вечно в клетчатом пиджаке... Бросил работу, жену, детей, престарелых родителей, собаку, канарейку, подводное плавание – и уехал в Канаду. О чем люди думают? Что они о себе воображают?

Можно спровоцировать маленький скандал, во избежание большого:

– Лучше и не говори.

– Я и не говорю.

– Нет, ты говоришь.

– Нет, не говорю.

– Ты только говоришь, что не говоришь, а сама говоришь.

– Я не говорю, что не говорю, – я не говорю.

– Ну и не говори...

Можно молча войти, сесть, съесть то, что есть, и – спать... Но это мечты – ничего не выйдет.

Мали

Меня украли – все засуетились. Бегали по столице, будто перцу им насыпали. Я их видела дважды: из автомобиля и в ресторане – когда они в окна заглядывали, а меня не заметили.

То-то теперь хренов Лис никуда не опаздывает, а тогда опоздал. Я ждала в купе – скорый тронулся, так и поехала в столицу, барахло для свадьбы закупать, без жениха и без денег. А в купе пацан-малолетка, весь в джинсе, жалуется, что СВ не достал, а в столице ему билеты на дом приносят. Разговорились: я в смяте-

нии – рассказала про свадьбу через две недели, про жениха, к поезду не пришедшего.

Как только доехали, вещи мои схватил: «Пошли, – говорит, – у мамы денег возьмем – я-то постратился, билет обратный купим, а должок, как вернешься, переводом вышлешь». Ночь была. Поймали такси. В квартиру привез теплую, благоустроенную. «Тут, – говорит, – поживешь, еда в холодильнике». Сумку забрал с документами и растворился – я рта раскрыть не успела. Дверь двойная – заперта, на окнах решетки, телефона нет. Вспомнила Людмилу: «...подумала и стала кушать...». А он вернулся – с цветами, разделся догола без разговоров, красивый сопляк – сплошные мышцы, кофту на мне порвал, я подергалась, как могла, и сдалась.

Он приходил (всегда с букетом) каждый вечер – один, честное слово, – когда темно, и почти не разговаривал. Я привыкла, даже ждала: ни одной книги в квартире, ни телевизора, ни радио, ни магнитофона – вообще никакой музыки. Потом мы одевались и выходили из дому. Возле подъезда стояла машина, в ней еще двое. Ехали в ресторан: ужинали, танцевали... Я там напилась несколько раз от безысходности – до беспамятства...

Они предупредили, чтоб не рыпалась. Я и сама понимала – любой бы понял.

Через две недели отвезли меня на вокзал, посадили в скорый, за секунду до отправления. Вагон СВ, в купе полно цветов и коробка со свадебным платьем – американским.

Вечер

...Города не видно. Туман как будто разевает пасть и сипит: «Всех съем». В голову приходит мысль: выпить водки и заснуть. Но сначала нужно добраться...

«Кто страдает непривычкой просыпаться с первой птичкой?» Я страдаю лет этак тридцать, а возможно, и больше, потому что помню себя с трехлетнего прилблизительно возраста.

В тумане образовалась – чернокожая... В зябком варианте: голые ноги, живот – а ведь холодно. Чаше они как швабры, но эта плотная. Возмудился, то есть возбудился. Это для адреналина... Даже простенький триппер может разрушить семью.

Вжжжик! Тормоза...

Что же он не смотрит, при такой погоде? Ну конечно, по телефону разговаривает, будто у него у одного телефон.

Рядом сидит девушка – испугалась. Чуть не доездились... На что ей такое чучело? Синица в небе – хрен в руках?

Вдули бы гаденышу крупный штраф в мелкое его самолюбие.

Сколько еще светофоров? Три. Поворотов? Два.

...дура на «Субару»...

Почему им можно, а мне нельзя? Или мне тоже можно? Нарру end – это когда все умерли, а главный герой остался жив.

Приехали...

* * *

– Будь ты мышкой, я бы знал, где поставить мышеловку.

– Где?

Мали сидела на кухне, ноги положив на плиту. Дверца духовки была приоткрыта, электрическая спираль накалена.

– Скучаешь? – спросил Лир.

- А что, мастурбировать?
- В самом деле холодно, – сказал Лир, – надо бы купить обогреватель.
- Ты когда чихаешь, закрываешь глаза? – спросила Мали.
- Закрываю.
- А когда за рулем?
- Все равно закрываю.
- Но это же опасно?
- Все закрывают, – сказал Лир. – Они ведь сами закрываются.
- Где-то Лис шастает, – вслух подумала Мали, – мерзнет, наверное. А мы тут с тобою вдвоем...
- Мало тебе?
- Отстань, достаточно.
- Вдвоем, и никаких очередей! – произнес Лир. – А за него не волнуйся, он в хороших руках: в мягких и нежных. И кондиционер там мощностью в сотни три баб работает на отопление.
- Тоже там побывал? Ведь побывал, верно?
- Проездом, видит Бог, проездом.
- Кое-кто везде проездом, – сказала Мали.
- Сами так решили... – Он обиделся, как всегда. – Я ведь даже не знал. Вы с мамашею твоей концы нашли и расплатились. Другие мужики хоть расходы несут, а некоторые женятся – сам таких видел. Я ведь знаю, как оно делается: раскрывают это чем-то вроде вытянутых щипцов, всовывают что-то вроде заточенной ложки и скребут на слух, до прекращения характерного звука.
- Ты-то откуда знаешь?
- В книжке прочитал у знакомого гинеколога.
- Столько времени прошло, – говорит она, как всегда. – Да и какой бы был из тебя муж в семнадцать-то лет?
- Да не хуже, чем из рыжего в восемнадцать.

Лис и Лир

Они ходили напуганные: вторая сессия – готовность аховая, а тут еще у нее проблема. Вскоре Лир говорит: «Обошлось, это бывает», – он мне кое-что тогда рассказывал.

Потом бросились меня спасать. Я как чувствовал: надо когти рвать – очередь подходит, а девчонка моя тронулась: таблетки проглотила, на подоконник вылезла... Я ее держу, Мали успокаивает, Лир за неотложкой побежал. Через две недели вернулась – даже не здороваается, на руках синяки от уколов.

Мы за это время сессию сдали, практику проходим на природе.

Вижу – и у них не все в порядке. Она в унынии, он вроде обижен, а сам чуть не скачет от радости. Там и раньше-то друг от друга больше было секретов, чем от меня. Я же палочка-выручалочка, иногда в прямом смысле. Это Лир гордый – потому и зубы вставные. Я с восьмого класса ее люблю. А Лир – он, конечно, друг, но мышей не ловит. Это мыши его ловят. Из-за стихов, наверное. А мои стихи покруче, только я их куда не сую. Говорили ему: осторожней с юмором и сатирой! Он тогда нагрузку получил – председатель школьной редколлегии, – худенький долговязый восьмиклассник. Выпустил первый номер, а наутро в школу не пришел. Дня через два появляется – вместо зубов одни корешки торчат. Всем смотреть страшно – глаза отводят, только она подошла, взяла за руку. Так они стояли: он, бледный, глаза пустые, щеки, как у старика, запавшие, и Малютка рядом. Кто-то и говорит: «Король Лир».

Я, когда ее рядом с ним увидел, тоже подошел. А то, что Лир – от слова «лирик», сам же Лир потом и придумал.

Мали

Деньги у него всегда водились: и от родителей, и так знал, где достать. А Лир уехал на два месяца – подзаработать: мужчина.

Это как хотите – тоска, депрессия, меланхолия, хандра, – только Лис говорит: «Поехали в столицу, там выставки, спектакли, магазины. Тетка на курорте, квартира пустует зря. Мы же друзья, правда? Столько лет неразлейвода...». С ним всегда хорошо – никаких проблем до поры до времени. Девки его любят, отпускать не хотят, травятся даже. Но как удержишь Лиса? Правда, места он занимает много и не чистюля: нестиранное тряпье, использованные бритвы, невытая посуда – все за ним нужно подбирать.

Провели мы там неделю. Он меня прямо загнал: ни минуты свободной – все пересмотрели, везде побывали. Ночью возвращаемся – спим раздельно. Я выключаюсь сразу, а он не спит; я-то знаю – он меня с восьмого класса любит.

А вернулись – говорит: «Давай поженимся. В сентябре, когда все съедутся, закатим свадьбу». Мама – мне: «Так оно и должно было случиться. Он тебе нравится?».

Лир приехал – я ему: «Все. Да и раньше было ясно». А он: «Знай, что у меня никогда никого больше не будет».

Я уже у Лиса жила – там квартира огромная, да и чего тянуть, только за две недели до свадьбы ушла – чтобы замуж из дому, что ли... Мы как раз опять в столицу собрались, за приданым. А он на поезд опоздал.

Я, как только вернулась, с вокзала ему позвонила и почти все рассказала. Он приехал за мной – без цветов. Свадьбу уже отменили: думали, вовремя не появлюсь. «Ладно, – говорит, – еще отпразднуем, а пока поживем как жили. Ведь не к спеху?» Чувствую, что-то не так: «Нет уж, я домой пойду».

Мама говорит: «Этот клин нужно вышибить – срочно». И пошла хлопотать, связи у нее еще с институтских времен, и в октябре я уехала в Прагу, по обмену студентами. Даже язык не учила толком, так все похоже, – курсы без отрыва от основных занятий. А вернулась через три года. То есть приехала на каникулы, но ни с кем не виделась, и маму просила никому не говорить.

Лир и Лис

Не потому он Лис, что рыжий (ведь рыжих так и называют – Рыжий), а потому, что хитрый. Исчезновения эти и появления, вопли о помощи – все на показ. Я ухожу тихо и прихожу тихо, а пропаду совсем – никто не заметит.

Когда она приезжала домой на каникулы, мы встречались – и от Лиса прятались.

Мали мне рассказала про юного мафиози, но это смахивало на легенду, в которую поверил сам резидент. Слишком искренне, слишком подробно... Как все произошло и сколько их там было? Она умеет соглашаться сама с собой.

Лис потом покрутился на кафедре, лично откопал и протасил какой-то проект, чтобы в Прагу съездить в составе группы преподавателей и студентов. Это было незадолго до окончательного возвращения Мали. И вернулась она не ко мне, не к нему – к нам обоим.

Люди мы самостоятельные, с образованием, ежедневно ходим на службу, а в свободные часы реализуем, по возможности, творческие свои амбиции. Время

сторожей, истопников, дворников и вообще богемы прошло, можно одеваться и питаться нормально и творить при этом успешно. Да и прощать можно друг другу многое, тем более что столько пережито за пятнадцать лет совместной нашей жизни.

* * *

– Она извращенка! Непрерывно ест яблоки. Все мои пепельницы забиты яблочной кожурой.

– Это еще ничего, – успокоил Лира Лис. – Знал бы ты, что вытворяла моя поэтесса, когда я сказал, что формально женат и жена не дает развода.

– А то я не знаю? – риторически спросил Лир.

– Сами вы извращенцы, и лгуны к тому же, – сказала Мали.

– Это верно, – согласились Лис и Лир.

– Как вам нравится квартира? – спросил Лис.

– Очень удобно. Можно мыть посуду сидя и выключать свет ногой, – сообщила Мали. – Кстати, и я могу выйти замуж, и не только формально.

– А на ком ты будешь оттачивать свое остроумие?

– Есть хотите? – спросила Мали.

– Нет, – ответили Лир и Лис.

– Если не вы, то кто же? – спросила Мали.

Лис, как фокусник, вытащил ниоткуда бутылку водки и шоколадку. Он опасно посмотрел по сторонам, но про обещанные торт и коньяк никто не вспомнил.

– Где мой стограммовый стаканчик? – спросил Лир.

– В нем луковица прорастает – это ботанический опыт.

– Дожили! Водки для здоровья выпить не из чего.

После ужина слушали музыку в исполнении фортепьянного трио, а затем поиграли в двестишья:

– В государстве Атлантида...

– Люди вымерли от СПИДа.

– Почему еврей курнос?..

– Потому что он Христос.

– Потому что альбинос, – выдал Лир свою строчку, но согласился, что у Лиса лучше.

– Закусывайте антифриз... – предложил Лис.

– Ирисками «Кис-кис», – предположила Мали.

– Цветы для женщины... – коснулась она больной темы.

– Что сено для коровы, – прозвучал вариант.

– Не люблю верлибры, – сказала Мали.

2000

ЗАЧЕМ КОНЧАТЬСЯ ЛЕТУ?..

* * *

О, боже мой, как свеж вечерним светом
Сад залитый, как мелкий дождик тих,
Как дышится легко! Любым предметом
Любуешься, и, кажется, своих

Достиг давно лелеемых мечтаний.
«Остановись мгновенье», – шепчет куст.
Я для страстей, для новых испытаний
Наполнен слишком, или слишком пуст.

В ведро с водой стекают капли с крыши,
Садится солнце в кромке золотой.
И здесь меня тревожат только мыши,
Скребущиеся ночью за тахтой.

Мне ничего не надо, только это
Неведомое чувство полноты,
Когда лучи скудеющего света
Сливаются со струями воды.

* * *

Жаркие перегорели
Дни, как поленья в печи.
Меньше осталось недели,
Что же – свое получи.
Ах, отпускные качели,
Синие звезды в ночи!

Все возвратится к исходной
Точке. Опавшей листвой
Станет твой отдых свободный,
Творческий помысел твой.
Как тебе, сын первородный,
Суп чечевичный с ботвой?

Отчуждены от чего-то
Самого главного в нас.
Знаемо – это работа,
Чтобы транжирить запас
Жизненных сил. А суббота? –
Заповедь нам не указ.

* * *

То, что знают мертвые, – не для нас,
Не для юношей, стариков.
Погружаясь, слушает водолаз
Лепет маленьких пузырьков.

Там на дне – другие совсем дела:
Приглушенные свет и мгла,
Чтоб душа в забытьи, не дыша, брела
В мир, где нету добра и зла.

Подожди, Орфей, не спеши, побудь
Среди птиц полевых, цикад!
Для тебя Эвридика готовит путь,
Нескончаемый путь назад.

Только ты, ступая теперь след в след,
Проходя через толщу вод,
Не теряй из вида ее – о нет! –
И все время смотри вперед.

* * *

Как тяготит, что день, а, может, два
Тебя, увы, не будет здесь со мною,
Что ерундой и суетой земною
Разлучены мы – жалкие слова!

Ты едешь в город: сквозняки, жара,
Высокое давление, мигрени...
За окнами наш сад колышет тени,
А завтра я один проснусь с утра.

О, Тютчев прав: не перекинуть мост
Над бездною недели, суток, часа.
И поводов всегда найдется масса
Тревожиться, и сколько же борозд

Уже оставили на сердце холода
Разлук, потерь: а впереди? – Довольно!
И думать, и не думать слишком больно.
Ты скоро возвратишься, скоро? – Да?

* * *

Любовь застывает, как лава,
Причудливым скопищем скал.
Какая ирония, право,
Что в этой пустыне искал

Ты нежной взаимности влагу,
Покой и прохладу в тени!
Открой свою старую флягу,
Не думая долго, глотни.

Страшны, выразительно-дики
Породы куски, валуны –
Надежд искаженные лики
Да грубые формы вины.

Черна, желто-охриста, бура
Поверхность, и солнце, по ней
Скользя, вырезает фигуры
Из невероятных теней.

Так голо... Взгляни напоследок
С тоскою (и прочь поспеши)
На этот безжизненный слепок
Твоей затвердевшей души.

* * *

Утром – багровое око в тумане:
Солнце натерло единственный глаз.
Что открывающейся панораме
До простокваши, в которой погряз

Сад? – Топинамбура желтые блики,
Флоксов малиновые островки,
Мелкие, алые звезды гвоздики
Призрачны стали. Плывут парники,

Как субмарины, задраивши люки,
Поезда свист вдалеке утонул.
И вообще, все сливаются звуки
В некий единый медлительный гул.

Преображением тайным задетый,
Выйду из дома – стеной пелена.
Мир мой, обжитый, прирученный, где ты?
Это другая твоя сторона?

* * *

Топинамбура куст на краю
Поля – вырос подкидышем там.
Перед ним подивлюсь-постою
Золотистым, как звезды цветам.

Что за дикая сила земли,
Выживания зуд трудовой:
Стебли полог узорный сплели
И колышут его над травой.

Красота! А вообще-то так свет
Отбирают у тихих врагов,
И войне той скончания нет,
И удел побежденных таков:

Перегнив, жирным гумусом стать
Для победно ползущих корней,
И затихнув в земле, напитать
Тех, кто пышно разросся на ней.

* * *

Ветер что-то мягко на балконе
Теребит, но слышится слабей.
Ум в дремоте, словно в пышной кроне
Маленький, вихрастый воробей.

Листья, ветки, колыханья, блики –
И уже ему не упорхнуть.
Бабочка полураскрытой книги
Так и села спящему на грудь.

Сон дневной тенист и бестревожен,
Краток – то и дело рвется нить.
Мир, куда уходишь, слишком сложен,
Чтобы мог его восстановить.

Но он где-то тут, поскольку звуки
Без труда проходят через грань.
Вот, опять... Напрасные потуги –
Не могу проснуться. Перестань!

* * *

Так оказывается, что нечего больше сказать –
Пуст, или попросту вышел из зоны приема.
Даже бы если хотела, не может пчела описать,
Что помогает найти ей дорогу до дома.

Или, какой он, незримый ультрафиолет?
Ей-то видны для тебя недоступные краски.
Думаю, что и Создатель давно бы нам выдал секрет
Жизни, но Вечная Тайна не слишком боится огласки –

Просто ее не вместить человеку.

Расстанемся так.

Не соблазни ненароком не видящих чуда.
Я ухожу. Ухожу в наползающий мрак,
Или точней, в то, что кажется мраком отсюда.

* * *

Трудно юноше богатому
Не профукать свой талант,
А сомненьями объятому
Так желателен гарант.
И, конечно, он находится,
И зовется он успех.
Присна Дева, Богородица,
Как же сын-то твой за всех?

Странно, страшно получается:
Путь единственный – отказ.
И звезда с звездой встречается
В этой жизни только раз.

И неузнанно-бесправное
Среди нужд крикливых дня
С укоризной смотрит Главное,
Отступая от меня.

Не летается, не пишется –
Что ж, именье велико!
Лишь порою что-то слышится
Безнадежно далеко.

* * *

Диск тяжелый закатного солнца,
Напоследок мучительно ал,
Деревенских домишек оконца
Нестерпимым огнем зажигал.

Мы на дальнем конце луговины
Ждали, что догорит полоса;
Выгибали косматые спины,
Обступая деревню, леса.

Но всего удивительней были
Облака в их воздушной стезе,
Что размашисто, тихо застыли
На померкшей уже бирюзе.

Лишь мгновенье – все кончится разом,
Захлебнувшись прохладною тьмой,
Уступая рассыпанным стразам
Нескончаемый полог немой.

* * *

Пока на даче, едим окрошку,
Цветы сажаем и красим дом.
О, лето, лето, еще немножко!
Тебя дождался с таким трудом.

Как странно, право, еще дубрава
Не метит красным и золотым,
А нам – нам в город, опять растрava:
Сырая морось, осенний дым.

И ничего-то такого нету,
О чем не знал бы я в жизни той.
Зачем кончаться, кончаться лету,
Сменяясь пагубной маятой?

Здесь на закате от быстрых окон
Составов отсветы на стене.
Ах, лето, лето, в какой же кокон
Зимой окуклишься ты во мне?

* * *

Вместе с жизнью пройдет и боль...
Все продумал, как ни крути,
Давший каждому свой пароль,
Чтоб однажды сюда войти:

Сайт знакомств, игровой портал,
Развлекающий до конца.
А снежок за окошком тал,
И разметаны деревца,

Тонут в слизи дома, в грязи,
В пятнах плесени скудный свет.
Забери меня, увези
В край неведомый, где нас нет,

Больше нет, и не нужен хлам
Грез, погрязших в слепой вине.
Даже душу свою отдам,
Чтоб она не мешала мне.

* * *

Все это было иллюзией и мечтой,
Сделавшись пошлостью, лишь заглянул за край.
Так что, взыскующий истины, не торопись, стой,
Лаковый ящик Пандоры не отпирай!

Хуже всего, что обратно уже никак:
Не утаишь пониманье, не спрячешь стыд.
Разум пылливый, наш первый заклятый враг
Счастья минуту каждую сторожит.

Ну, а все эти грезы, пропитанные тоской,
Страстью и упованием смутной твоей души,
Что ж им теперь – лишь тление под гробовой доской,
Под необъятным пологом вечной вселенской лжи?

Знаешь, я так не думаю. Просто они в ином
Канули измерения (нам туда хода нет),
Став мимолетной жалостью, утренним тихим сном,
Камешками морскими, прозрачными на просвет.

ТИПУН В ЗИПУНЕ

РАССКАЗ

На переменах в лекторских (если долго по европам в разных институтах работать), чего только не услышишь!..

Сегодня, например, говорили, что в Тюбингене профессор теологии на доске объявлений умудрился повеситься, как будто из-за разногласий с коллегами о загробной жизни. В Майнце беременная лаборантка с третьего этажа выкинулась. В Берлине турок-информатик во время Дня открытых дверей ректору по голове пивной кружкой с криком «джихад» заехал, когда тот в одну из этих открытых дверей входил. А у нас, оказывается, вор повадился из раздевалки спортзала женское белье лямзить (но и мужским не брезговал, как показала тайно установленная камера). Садовником кампуса оказался: крыша поехала на почве девичьих задов, которые день и ночь мимо него фланировали, когда он клумбы резал. Трусики-колготки ташил к себе в шалаш, там всё это использовал как-то по-своему и в мешке из-под удобрений хранил. На суде много не дали: запрет на работу с молодежью и мелкое хулиганство с возмещением убытков, хотя убытков там – кот наплакал...

– За что вообще его сажать? В Японии, говорят, есть автоматы, где можно нестиранное женское белье, в пакетик запечатанное, купить!

– Да и кому оно сдалось?.. Той, что в нем была, там уже нет...

Посмеялись – разошлись. В конце семестра люди веселые. Да и погода располагает – июльская теплынь. Уже не о суффиксах с лексемами, а о пляжах с пиццами думается.

Выхожу после лекции в коридор и вижу: возле своей аудитории стоит г-жа Бибикова (фон Бибикофф, из самой первой эмиграции); студентки выходят; какие-то все возбужденные, встревоженные, покрасневшие.

Бибикову студенты любят, как дети – няню в детсаду. Она добрый, отзывчивый, мягкий и душевный человек. Её предмет называется «страноведение» (не путать со «странноведением»). Так как каждый доцент тут – бог и царь, занимается, чем хочет, то и Бибикова на лекциях в основном изучает со студентами свое генеалогическое древо, перемежая это историей дома Романовых, семейными байками и тихим «Боже, Царя храни». На кружке она читает с ними Библию, поет псалмы, играет в «цветочный флирт» и лото, учит вышиванию на пяльцах, приготовлению браги и селедки «под шубой»... Дело доходит до тусесков и резных ложек. Кружковичи на Рождество обязательно наряжаются, чтобы колядовать под аудиториями, на Пасху пекут куличи, красят яйца по рецептам Александра Освободителя и угощают секретарш и уборщиц.

Бибикова взволнованно вполголоса говорит:

– Дорогой коллега, может быть, вы можете нам помочь?

– А в чем дело?

– Да вот, понимаете ли, такие конфузы лопнули...

Зная, что идиомы (как впрочем, и некоторые другие разделы речи) не являются сильной стороной милой коллеги, я попытался понять:

– Что лопнуло?

Она зашептала:

– Понимаете, появлялся один типок. Ах нет, типчик... Вот, вот он идет! – сделала она большие глаза (студентки зашептались активной, сгрудились плотней).

Из аудитории последним с неторопливым достоинством вышел человек с бородой как у Льва Толстого, в вязаной лыжной шапочке, в каком-то странном одеянии – то ли халат, то ли ряса с пуговицами, с золотыми шитыми бортами. Под этим плотным, как попона, кафтаном – ряд кацавеек, курточек, маечек, друг на дружку. Из-под халата виднелись ноги в рейтузах, банных шлепанцах и шерстяных носках.

Держа в руке объемистую папку, оглядываясь из-под бровей, важно поглаживая бороду, он прошествовал к выходу.

– Вот, смотрели его? – зашептала Бибикина.

– Ну, видел. И что? – без интереса ответил я. – Нас здесь демократия научила и не на таких клоунов смотреть, этот еще не худший. Ко мне, например, вчера студентка в купальнике пришла. Да-да. Когда я заметил ей, что, насколько мне известно, тут поблизости моря нет, она сказала, что прямо из университета должна ехать на озеро, а переодеваться негде. И всё, аргумент железный. А другая столько браслетов нацепила, и они так при письме бренчат и брякают, что колокольный звон идет и креститься тянет... – Видя, что Бибикиной не до моих рассказов, я спросил: – А кто это такой был? Что за типок?

– Он нам всякий воздух испоганивал! – воскликнула, покраснев, она.

– В каком смысле? – удивился я. – Он что, антисемит? Фашист?

– Нет, вы не понимали. В прямых смыслах.

– Как так?.. Ветры пускал?.. Er furzte¹? – уточнил я по-немецки.

И без того красная Бибикина зарделась (как и все немцы, которым много лет приходилось с экранов и в эфире произносить фамилию «Фурцева», звучащую по-немецки весьма непристойно. Впрочем, и Фурсенко не лучше... Странное совпадение: как культура и наука – так какая-нибудь фука...).

Она собралась с силами и выпалила:

– Нет, он сам просто как есть вонюет, как свинья! Он, наверно, год себя не мыл! В июне он являлся первый раз на лекции, сказал, что он вольнослушающий из Булгарии, зовут его то ли Борин Боринов, то ли Борис Борисов, и он интересуется славянской историей. Сел, открыл свой дурацкий халат – и начало злоухание...

Дальше она рассказала, что студенты начали переглядываться, перешептываться, она сказала: «Откройте окно!» А он сказал, что нет, окна открывать нельзя, потому что он простужен и боится заболеть серьезно. Они попытались дальше продолжать – как раз разучивался пятый псалом книги Давида – но...

– Соглашайтесь, коллега, такая обстановка не расположена к пению... Какое пение, когда запах шел, как от падучей... – (от волнения вал ошибок нарастал).

– Падучая? Он эпилептик? У него был припадок? – не понял я.

– Ах, нет. Ну это... Что умирает, падает...

– А, падаль...

– О, да, да, падаль!.. Что мертвое, упало... Тягучий запах! Тягун! Одна студентка выходила, другая... У другой спазм на горле был... Остались мы с ним, два. Он закрыл тетрадь и ушел.

– И вы ему ничего не сказали? – удивился я. – Надо было сразу принимать меры. Почему вы ему раньше ничего не сказали? Не вывели из аудитории? А если бы студентки перемерли? – удивился я долготерпению страстотерпицы.

– А что я умею ему сказать?.. Боже, как конфузливо все это!.. – покраснела Бибикина. – А вывести... – она махнула рукой. – Это не Совдепия... Здесь просто так никого не выведешь... Или изведешь?.. Как правильно?..

¹ От: furzen (нем.) – испускать газы.

(Всем было известно, что историю России она доводила только до октября 17-го года, когда, по её словам, «люмпен-орды, стаи вандалов и стада крестьян силой схватили власть и разнесли в клочки Матушку-Русь, а все приличные люди покинули этот скорбный край»; потом в Большевицком Стане «приправлял усастый тиран, а мужики пили водку, не отходя от кассы»).

– Да, в Совдепии решили бы этот вопрос, общими силами. И вывели бы, и извели, – согласился я. – Очевидно, он явился вновь?

– Да, после недели. Опять всё повторялось, вся история с окном... Запах был более страшнее...

– Ну еще бы – ведь неделя прошла!

– Вот-вот, – Бибикина протерла очки. – А вы видели его типун?

– А что, показывал?.. – опешил я.

– Конечно! Он же в нем ходит!..

– Подождите, как ходит?.. Что вы имеете в виду?

– Ну, этот, как его... – она повела плечами.

– А, зипун!.. Имеете в виду его халат? Ряску? Шинель? Мантиль?

– Ну да, рясу, будь она совсем ладна... Она же черная от сала... Сальце-шмальце... Зеркальце, скажи... Ох, что-то всё перемешивается в своей голове... – потеряла она лоб и виски. – Ну вот... Одной девочке стало дурно, тошно... Я могу её понимать, я сама была как пристолбняченная от этого смердеца... Но что я могу делать? Я намекала ему, что если вы, дескать, соизволите болеть, то лучше садитесь дома. Он ответил, что нет, может ходить на лекцию... Тогда я предлагала студентам переходить в другой аудиториум. Мы взяли наши вещи, переходили в аудиториум рядом, а он – за нами, как ни в чем не бывший... Сел, заново распахнул свой тюфяк, снял кокошник, и опять всё такое же... Идите, идите! – махнула она студентам, стайкой желавшим знать, будет ли сегодня кружок. – Нет, не до кружка, и так голова кругом кружится... Ну и что, что вы Гоголя выучили?.. Следующий раз!.. У нас будет вечер, они будут мелодекламирывать ... – объяснила она мне. – Знаете, это... Эй, тройка, куда, стой!.. не спешите, колеса... Бедная птица не долетит до середины Кремля...

«Эге...» – подумал я и сказал:

– Соберитесь с мыслями, коллега!

Она оглянулась, как во сне:

– Да-да. Собираюсь. И он опять являлся, и ситуация нагрета до границ. Я спросила, правильно ли у него работают органы носа... А он ответил, что он заплатил денег и ходить на лекции без помех ему вполне возможно. Я предложила ему приватные уроки, лишь бы он не приходил в аудиториум... Подняла огонь на себя. А что делать? Пусть буду страдальца я одна, чем все. Так учили меня в семье. Вы, наверно, знаете, мой папа был княжеского рода, по матери из тех самых князей Зубатых, что имели поместья в Лифляндии... Нет, Борис поблагодарствовал и сказал, что коллектив ему понравится...

– А почему вы не сказали ему, что он коллективу не очень нравится со своими смрадными ногами?..

– Если б только ноги... Понимаете, коллега, у нас демократия... А ногам демократия не написана... – грустно усмехнулась Бибикина. – А так человек он не глуп, вопросы задает и по-русски хорошо знать может... Но я этого так не оставляла – студентам поручила играть в лото, а сама решительно пошла в Экзаменационный отдел, рассказала всю историю, от «А» до «О»...

– Надо бы до «Я», лучше бы поняли, – не сдержался я.

– Ах, ну да, это «альфа» и «омега», по-греческому... Фрау Штумм позвонила в ректорат, те ответили, что сочувствуют, но убрать смердеца из аудиториума может только суд...

– То есть – подать на него в суд и ждать разбора дела? А если за это время все студенты передохнут? – не понял я. – Тут суды медленные. И кто будет подавать? Вы? Или коллектив? Дескать, такой-то плохо пахнет? Ведь запах – вещь весьма относительная, по нему экспертов раз-два и обчелся... Дорогонько сядет пригладать!.. Суду факты нужны, а где они?.. Придет этот Смердяков на суд красивый-чистый-мытый-бритый – и все, иди докажи... Кстати, говорят, что Микеланджело тоже никогда не мылся...

Бибикова миролюбиво шикнула на студентку, которой обязательно надо было знать количество петель на кружевах:

– Ну, милочка, кто ж не знает подобной безделицы?.. Конечно, сорок восемь, с узелками... Нет, кружка сегодня нет... И он не Микеланджело... Микеланджело – гений, ему всё возможно. Притом и поживал Микеланджело в какой-то ныре, а не так, где люди... Но про суд вы правы. И фрау Штумм из Экзаменационного отдела, вы её знаете... – (Бибикова многозначительно мигнула), – тоже сказала, что без суда по возрасту, расе, полу, запаху или виду никого дискриминизировать запрещено. Да... На запах и цвет товарища нет.... Вам можно с ним по-мужскому поговорить? – неожиданно завершила она пассаж.

Я удивился:

– По-мужски? Что вы имеете в виду?.. Избить его?.. А кто только что о демократии пекся?..

Бибикова замахала руками:

– Нет, боже сохраняй! Почему так экстремально? Ну так, намекать ему, как мужчина мужчине, чтобы он бы хотя бы ноги бы выкупал бы...

– А может, он просто садист? – предположил я. – Мучает студентов, приводя их в такое состояние... анти-нирваны, что ли... и на этом ловит свой кайф?

– Что ловит?

– Ну, удовольствие, сетисфекшн., эйфория... Какой-нибудь фетишист? Вуайер?.. Садо-мазо?.. Гомо-би?..

– Кто знает. Очень может быть. Сейчас много таких. Я сама в детстве в Булонский лес много смотрела... – сказала она с непонятым вздохом.

– Ладно, попробую, – пообещал я. – Сейчас его уже нет, в следующий раз.

– Мы будем вам искренне повязаны.

– И накормите куличами?

– Обязательно! На кружке мы будем варить окрошку по рецептам поваров графини Белозерской-Черноморской. Окрошка – всему голова! Приходите!

Неделя пробежала незаметно. Надо было готовить зачетные тесты, где студенты крестиками-ноликарами могли бы выявить свои глубокие знания в области филологии и всех других наук.

Слависты и русисты – народ особый. Это весьма отчаянные и самоотверженные люди – ведь всегда неизвестно, чего с Востока ожидать?.. Поэтому в Германии шутят: «Учиться на славистике могут себе позволить или богачи, обеспеченные люди, или такие бедняки, которым и терять нечего»...

Да, славистика тут – мозаика, калейдоскоп, витраж: всяк доцент свое болото хвалит, по принципу: «славянских стран много, всего не ухватить, по кусочку бы отщипнуть». Но кусочков этих вместе никто не складывает, на это никогда часов не хватает. Поэтому знает студент-дипломник много о хорватских средневековых хоралах, чуть поменьше – о польской новелле 19-го века и постпрефиксах в старочешском, немного о казни Яна Гуса на костре, еще чуть-чуть – о валашских междоусобицах и князе-вампире, совсем малость – о роли глагола в черногорских балладах, крохи – о болезнях летописца Нестора и всякую мелочь про царя Гороха, Иванушку-дурачка и синонимии в закарпатских наречиях...

Девушки после учебы устраиваются, как правило, секретаршами, ассистентами, делопроводителями. А редкие особи мужского пола болтаются в неприкаянном виде, пока волны не выбросят их на какой-нибудь берег, чаще всего весьма далекий от славянства. Некоторые по двадцать семестров учатся, до посинения, и ничего. Народ веселый, хороший, душевный, неунывающий.

Хотя вот, правда, в прошлом году накладдка произошла: студент-историк, который тридцать шестой семестр доучивался, лектору в живот выстрелил, когда тот ему зачета не давал. И правильно сделал, честно говоря, ибо где твоя интуиция и человечность, лектор, если ты видишь, что человек восемнадцать лет мучается?.. Зачем усугублять?.. Это то же самое, что не давать зачета беременной или слепому. Есть же золотое правило: когда видишь на сносях с животом или инвалида с притопом, то расспроси о здоровье, поставь хорошую оценку и отправь домой, а то проблем не оберешься...

Слава богу, со студентом-дуэлянтом закончилось хорошо: пистолет оказался прадедушкин, дуэльный, 19-го века, лектор, как человек 20-го века, был в кожанке, и вялая пуля далеко не пошла, в аппендиксе застряла. Лектора спасли, заодно и слепой отросток удалили (что на суде было зачтено как позитив). Студента определили туда, где время не на семестры порублено, зачеты ангелы в белых халатах раздают, а у дверей черти в зеленых погонах похаживают.

Хотя и раньше, казалось бы, можно было понять, что к чему, без вызова психиатра, который на суде объяснил, что студент заучен до галлюцинаций, а данный профессор просто случайно угодил в его бред: «Всё было без умысла. Виновата система образования». На ядовитый вопрос прокурора, откуда тогда пистолет взялся, адвокат доходчиво объяснил, что пистолет его подзащитным был принесен для показа лектору – у них уже третий год семинар по теме «Дуэли в мировой литературе» идет. Вот и дрогнула правая рука, вслед за левым полушарием... А его крик перед выстрелом: «Я вызываю вас на дуэль, негодяй!» – это просто цитата из романа, которую студент никак не мог выучить наизусть...

Впрочем, понимать-то, может, и понимают, но тотальная демократия учиться разрешает вплоть до кончины или до такой вот черной кручины, что некоторые и делают (надо только вольнослушателем записываться и сборы платить). Разные казусы случаются, вплоть до вопроса, где такая-то, и ответа – умерла еще в прошлом семестре, на каникулах похоронили, в зимнюю сессию сорок дней будет...

В среду я стоял на лестничной площадке и караулил Борисова-смердеца. Он появился в своей плотно плетеной шерстяной шапочке, лицом – копия Льва Толстого, включая бороду, нос картошкой и брови такой же ворсистой. На этот раз он был одет в какой-то чапан, сапсан, азиям – в общем, что турки болгарам в наследство оставили. Эта хламида была оторочена сальной сусальной канвой. Из-под неё выглядывали майки, свитерки и тельняшка под горло. На ногах – банные шлепанцы и высокие, до колен, вязаные гетры.

– Добрый день! – сказал я ему, как старому знакомому. – Как дела, Борис?

– О, добрый день! Хорошо, спасибо.

– Покурим? – предложил я ему сигарету, ибо запах, правда, был крепок (сам я тоже поспешил закурить).

Он нерешительно поежился:

– Нет, к сожалению, не могу: горло болит.

– А что такое, в чем дело?

Он придвинулся, чтобы что-то доверительно сообщить, что заставило меня отшатнуться.

– Да вот болен все время, простужен, никак не могу в нормальное состояние прийти. – (Говорил он чисто, как носитель языка).

- И поэтому не купаешься?
- Да. А что делать? – он поджал бороду.
- Но сейчас жара, а ты в этих армяках, шушунах... – по-дружески шутливо начал я.
- Как вы сказали – «шушун»? – переспросил он и что-то записал ручкой на ладони, синей от каракулей.
- Ну да. Шушун. А может, и зипун, армяк. Но не в этом дело. А вот скажи ты мне – каким это образом ты так хорошо по-русски говоришь?
- Мама и бабушка русские. В детстве в России жил. Потом в разных местах...
- Понятно... Вопрос второй: почему не купаешься?
- Боюсь простудиться.
- А ты вытрись, прежде чем из душа выходить. И голову феном высуши.
- Пробовал. Не помогает. Фен опасен. Я и волос не стригу...
- Почему?
- Потому что это опасно для волос, если стричь...
- Ах да?... Почему? И кому опасно? Волосам или тебе лично?
- Волосам. Они живые. Им больно.
- А ногти? – посмотрел я на его бурые от грязи ногти, которыми он ковырялся в бороде. (Постепенно стало доходить, в чем дело...).
- Ну и ногти, – сказал он. – Это тоже мое... Им холодно.
- А ты когда из больницы выписался? – в лоб спросил я.
- Он нерешительно из-под кустистых бровей прикидывал, можно ли мне довериться. Вылитый Толстой. Мне стало жутковато.
- А он ответил:
- Полтора месяца назад.
- Здесь больница была? Или в Болгарии?
- Здесь, здесь, у германцев.
- А почему ты в больнице оказался? Что сделал? – («Если это чистый псих, то, возможно, у Бибиковой найдется право выставить его без суда».)
- Да вот... Ничего не сделал. Просто жил в квартире, и все вещи, которые покупал, не выкидывал, а собирал...
- А, понятно... И вся квартира превратилась в мусорную яму? – Я вспомнил передачи по этой теме (этих людей-плюшкиных зовут «мессии», их становится всё больше).
- Это они говорят, что мусор. А это всё нужные вещи... Я их собирался увезти в Болгарию.
- Сейчас уже поздно в Болгарию западный мусор возить, прошли те времена... Пластики от йогуртов тоже собирал?
- А что? Из них можно сделать хорошие пепельницы...
- Ты уверен? Пепельницы из пластика? Чтобы плавилась на столе? – с сомнением покачал я головой. – Боря, а ты из больницы со справкой вышел, или так... сам... из дверей... раз – и за угол?..
- Нет, нет, со справкой. Там написано, что терапию прошел и социально не опасен, – важно заявил он, разглаживая толстовскую бороду.
- «Ну все, – подумал я. – Бибиковой конец. Если справка есть, что социально не опасен, то никто тронуть не посмеет... Пока опять что-нибудь не сотворит и в разряд социально опасных не попадет».
- Боря, вы умный и образованный человек, вас все хвалят, – перешел я на «вы», – чтобы не разводить тары-бары-растабары...
- Как-как? Повторите еще раз! – переспросил он и опять записал что-то на тыльной стороне ладони.
- Это выражение такое, народное... Так вот, Борис, хочу сказать следующее: там сидят студенты, вы месяц не купались...

– Полтора, – деловито уточнил он. – Как из клиники вышел. Да. А что делать? Живот у него выпирал, как у беременной бабы. Волосы завились от грязи, космы вылезали из-под лыжной шапочки, лоб блестел.

– Полтора месяца не купаться! Да от этого одного заболеть насмерть можно! – встревоженно сказал я.

– Да? – насторожился он. – Почему?

– Как почему? Доступа кислорода к тканям нет!.. Начнутся пролежни, просидни, простойни... гангрена, отслойка сетчатки, клетчатки... воспаление тройчатки... Надо это вам?

– Нет, совсем не надо! – серьезно ответил он.

– Ну вот, видите... Так сделайте нам сюрприз: выкупайтесь, постригитесь, забудьте про то, что волосам больно, а ногтям – холодно, в них нервов нету. Постригите ногти. Вы же такой умный, симпатичный, видный парень!.. Сколько вам, кстати, лет?

– Восемьдесят восемь, – ответил он, переминаясь с ноги на ногу.

– А выглядите как столетний старик! – машинально договорил я и запнулся: – Сколько?.. Восемьдесят восемь?.. Я не ослышался?..

– Нет. Я и прошлую жизнь считаю... – неопределенно повел он широким рукавом, откуда, как из рога изобилия, понесло смрадом.

– Вон оно что... Ну, это отдельная тема... – удивился я, отодвигаясь и пытаюсь понять, что бы это значило. – В общем: снимите с себя все эти тельники, азямы, кафтаны...

– А «кафтан», между прочим, слово арабское, к русским через турков пришло, а русские говорят, что русское... – вдруг вставил он и поскреб крокодильим ногтем по папке. – У меня всё записано. И «кафтан», и «сарафан»...

– Да? Не знал, право, всегда думал наоборот, – польстил я ему.

Он залоснился в улыбку, а я продолжил тему:

– Бороду побрейте, приведите себя в норму, выкупайтесь, отлежитесь в ванне, в пене...

– Да, я так мечтаю о ванне! – подтвердил он, пригорюнившись.

– Так в чем же дело? Нет ванны?

– У меня только душ. И там завелись змеи. Никак не вызову сантехника, чтоб прочистил трубы, – сообщил он.

«Вот оно что! Змеи!.. Ну кто же под змеями купаться рискнет?!» – подумал я и, вспомнив благородство Бибиковой с её приватными уроками, предложил:

– Хотите, ко мне приходите, в моей ванне отлежитесь?.. Нет?.. А представьте, как будет интересно – вы придете чистым, бритым, мытым!.. Как на вас будут девушки заглядываться!..

– Девушки?.. – Он вдруг повернулся и, не прощаясь, пошел по коридору к аудитории, откуда с надеждой выглядывала Бибикова. (Увидев его, идущего, она в ужасе скрылась).

– Борис! – сделал я последнюю попытку, уже в спину. – Зачем вам вообще ходить на лекции, если вы язык лучше всех, там сидящих, знаете?

Он остановился и ответил, не обернувшись:

– Я историю люблю. Новую карту мира составляю.

– Зачем? Какую?

– Чтоб все царства на ней сразу вместе были, – бросил он на ходу вполборота.

После лекции Бибикова сообщила, что мой разговор возымел, очевидно, какое-то действие, потому что Борис открыл окно и сел подальше от девочек. Таким образом, лекцию кое-как можно было провести, и он даже активничал: когда Бибикова дошла до южно-болгарской ветви своих предков по линии Свиных-Утятных, он рассказал о Великой, от океана до океана, Болгарии, о мудром царе Бо-

рисе, при этом хитро улыбался и карандашом многозначительно указывал на себя. Потом раздал студенткам по конфетному фантику, а единственного юношу – заморенного очкарика – пригласил в цирк. Попрощался на каких-то языках и ушел. И как раз вовремя ушел, потому что «начинаемый ветерочек из оконца понес тошный запах мертвины».

– Может быть, к следующему разу помоемся, – предположил я.

– Если всё бывает хорошо, то с меня засчитается за этого Толстого... Толстого... – заключила Бибикова.

– Причитается, хотите сказать?

– Да, да. Причитается. На чай. Причаеется.

– Сделал что мог. Но когда человек конкретно говорит, что вышел из сумасшедшего дома...

– Ах вот как?.. – всплеснула она руками. – А чего же вы молчаете?

– Я не молчу. Он был в клинике за то, что он – месси. Вышел со справкой, что социально не опасен, – коротко пересказал я суть дела.

– Понимаю, понимаю. Месси. Это кто квартиры мусорит?.. Вы думайте только! – покачала она головой. – Ну все, пропадали! Это не лечится. Во-вторых, если справка – то никакой-нибудь суд поможет... А если он сюда всякую падалину тащить начинает?..

– Вполне возможно.

Бибикова нервно играла дужками очков, висящих на веревочке на шее (она была известна рассеянностью и поэтому вешала очки, ключи, ручку, веер и прочую мелочь на ленточках на шею). Потом сказала:

– Сейчас, спасибо богу, уже конец семестру, оставалось пара лекций. Будем потерпеть. И фрау Штумм тоже советовала ждать-подождать, не делать с ним борьбу. Может, замена Савла на Павлом? И он придет чист?

– Дай-то бог. Но с вас причитается в любом случае.

Если справка у человека есть, что не опасен, – то всё, пиши пропало: ведь меру опасности каждый сам себе на глазок выбирает. И почище дела случаются, на излишнюю демократию впрямую замкнутые.

Совсем недавно знакомый доцент в лекторской говорил (со слов тещи-врачихи), что тут психически больным разрешено почтой, телефонами и интернетом пользоваться (до тех пор, пока прокурор не запретит, хотя прокурор запретить может, когда гром уже грянет). И вот один пожилой вдовец-ресторанщик, попавший в дурдом с диагнозом «маниакально-депрессивный синдром», на пятый месяц скучного сидения удумал устроить «бразильский вечер» в отеле «Маритим» в Мюнхене.

Так как его пригородный ресторан был известен и многие отелье знали его лично (но никто еще не знал, что он попал в психушку), то сделать задуманное оказалось нетрудно. Он позвонил в «Маритим» шефу, которого знал лично, всё обговорил, обстоятельно, со знанием дела заказал стол на сто персон, самбы-румбы, тумбы с факелами, павлиньи опахала, декор из страусовых перьев, пирожное «поцелуй негра»... Все это подтвердил в письме на своем фирменном бланке (которых забрать у него без прокурора никак нельзя). Часто звонил в отель повару и обсуждал подробности типа того, чтоб цвет десерта был под стать скатертям, мороженое имело бы форму ягодиц, а закуску укладывать в виде бразильского флага, то бишь голубыми кружочками...

Потом разослал своим знакомым (также ничего не подозревавшим) приглашительные билеты. В открытках честь-честью указал план Мюнхена с отелем, просьбу сообщить, сколько персон приедет, встречать ли в аэропорту, какого цвета лимузины подавать, и просьба сдавать билеты лично ему, чтобы он тут же оплатил их наличными.

Почему «бразильский вечер» выполз из большой головы?.. Оказывается, Бразилия играла решающую роль в его психозе: год назад именно в Рио-де-Жанейро, от вида и обилия голого живого мяса, с ним случился первый приступ – он стал бросаться на женщин, и его в смиренной рубашке услали в Мюнхен, а из аэропорта отправили прямо в клинику. Дело было осложнено еще и тем, что когда-то ему случилось переспать с бразильской, которая на проверку (в паспорте) оказалась румынкой, перекиями и хной перекрашенной в шоколад и какао. Это тоже почему-то сильно травмировало его, запало в душу, тлело там до поры до времени, пока он, наконец, не отправился в злосчастную поездку в Рио, где и окончательно вольтанулся.

Бразильский вечер лопнул только в день банкета: гости не могли понять, где главное лицо, почему их не встречали лимузины и кому сдавать билеты. Управляющий был в смятении. Но гости не растерялись и съели весь банкет под самбы-румбы-ча-ча-ча, пока начальство выясняло, что к чему. За всё, в конце концов, расплатилась медицинская страховка (ибо психбольной за свои действия не ответчик).

Через неделю Борис пришел в том же виде, в каком он был при первом нашем разговоре, только халат был исписан словом «шушун» и «тары-бары». К тому же он был не один и вел с собой товарища, тощего немца, тоже, очевидно, из компании месси (в джинсовых лохмотьях, татуировках, пирсингах и ботах-копытах).

Когда Бибикина издали увидела их, она в панике подскочила ко мне и шумно взмолилась:

– Коллега, возьмите их где-нибудь... кафе... пиво пить... мороженое...

– Ага, в зоопарк, на утренник... А что с моими студентами делать?

– Вот, вот, – стала она совать мне в руку купюру в пятьдесят марок. – С меня причитается, с меня идет, заходить... чайные... почайные... только увезите их! А ваших студентов – сколько их, пять-шесть? – давайте мне... мы как раз кушанья святой Масленицы проходить... А вы этих два, умоляю!..

Она была в такой панике, что я взял деньги:

– Хорошо. Берите моих, только объясните причину, что я не в ресторан сбежал, а по факультетским делам... А я тут как-нибудь... Часок рядом с Микеланджело...

Они уже были близко. Я загородил Борису дорогу на расстоянии вытянутой руки:

– Дорогой Борис! Руководство факультета считает, что вам будет чрезвычайно полезно провести со мной одно личное приватное занятие... в кафе... на свежем воздухе... вы как талантливый студент... подающий надежды... факультет выделил деньги... – показал я издали купюру (у немца зажглись пирсинги в бровях). – Чтоб я протестировал вашего друга... и вас тоже... на предмет славянства и словесности... Если всё будет хорошо – вас отправят учиться в Америку или Санкт-Петербург, по выбору, – заключил я для солидности.

Борис важно выслушал текст и перевел своему приятелю – тот начал кивать и улыбаться:

– О, зер гут! Гроссе классе! Санкт-Петербург! Прима!²

– Какое пиво предпочитает ваш друг? – продолжал я под сурдинку.

– Ему все равно.

Немец крутил в разные стороны крысиной мордочкой в железных колечках (на мочках и в бровях – по шесть штук, в губах и ноздрях – по три). Запах от него был послабее, чем от Бори, но тоже не сахар.

² От: О, sehr gut! Grosse klasse! Sankt-Petersburg! Prima! (нем.) О, очень хорошо! Высокий класс! Санкт-Петербург! Отлично!

Краем глаза я заметил, что Бибилова на цыпочках перевела моих студентов через коридор, как утка – утят через дорогу, и затворила дверь. Я даже, кажется, услышал поворот ключа.

– Ну, пошли?

Но куда идти с такими питекантропами?.. Что делать?.. Отдать им деньги и отпустить на все четыре стороны?.. Но они могут потащиться обратно в аудиторию. Бибилова закрыла дверь на ключ.... Но они могут ломиться... Нет, я обещал их продержаться хотя бы час... Надо куда-нибудь на открытое место – в закрытом удуще обеспечено.

Я старался держаться от Бори подальше, но он постоянно оборачивался, о чем-то спрашивал. Выяснилось, что слово «шушун» он писал на кафтане затем, чтобы его как следует запомнить. И вообще у него дома все увешано табличками со словами: он учит одновременно персидский, испанский и вьетнамский языки. Когда я поинтересовался, зачем вьетнамский, он ответил, что вдруг будет война и понадобятся переводчики.

– Война во Вьетнаме уже была, – заметил я.

– Ну и что? Была – еще будет, – резонно-безмятежно ответил он.

Вопросы Боря задавал краткие, все больше исторические: где похоронен генерал Ермолов, проверена ли княжна Анастасия на ДНК, венчался ли Пугачев в церкви, сколько псов-рыцарей убито во время Ледового побоища...

Немец шел молча, подпрыгивая на резиновых копытах, шнупая носом, погруженный в свои мессиевские (мессианские, мессийные) размышления. Вот подобрал пустую коробку из-под сигарет, сунул в карман, где уже что-то оттопыривалось.

– Боря, а у него тоже справка есть, что социально не опасен? – осторожно поинтересовался я.

– Да-да, его тоже выпустили официально.

– Вы вместе лежали? Он по твоей статье?

– Это не статья. Это они дураки просто... Как они могут мне запрещать собирать вещи, которые я хочу?.. Где мое право на собственность? Почему? Хочу – собираю, хочу – не собираю, какое кому дело?

«Мало же помогла тебе терапия...». Я попробовал с другой стороны:

– Но эти предметы начинают гнить и портиться, не так ли? Плохой запах от них, так? А у соседей ведь тоже есть право на хороший запах!

Боря поднял руку с вислым обшлагом и назидательно произнес:

– Запах – это не социальная единица. Если я ругаю кого – да, если ножом или кулаком бью – да, а запах – нет. Где таблица запахов?

«А ты не глуп!.. И язык у тебя подвешен!.. Действительно, ни таблиц, ни градаций нет!»

– У каждого – свой нос, – продолжал Боря. – Один чует так, а другой – так. Разве не так? – он внезапно встал, загородив весь тротуар.

Он был похож на больного попа в лыжной шапочке. Студенты опасливо обходили его.

– Так. А у тебя от простуды нос, очевидно, заложен?

– Постоянно, – согласился он.

– Гайморита нету?

– Хронический. Предлагали операцию делать. Но долбить нос я не хочу. Ему это не надо. И мне тоже.

Немец в это время заглянул в урну, выудил оттуда что-то полезное и попытался засунуть себе в карман, но я попросил его пока спрятать находку в кустах, а на обратном пути забрать, чтобы не потерять невзначай. Это показалось ему разумным, и он тщательно замаскировал найденное в траве за урной.

В этот момент мимо проходила пожилая дама под плоским китайским зонтиком (от солнца) и в белых ажурных перчатках. Увидев нас, она остановилась, стала принохиваться и рассматривать Бориса.

Немец, не вставая с копыт, подозрительно косился на неё, очевидно, предполагая, что она может претендовать на его добычу. Но дама повела носом, как-то странно поздоровалась со мной и поспешно заковыляла прочь. Я растерянно ответил ей вслед.

Это была моя студентка, лет семидесяти пяти. Помню, она пришла в начале зимнего семестра на первую лекцию в чернобурке, под вуалью и в атласных перчатках до локтей. Хочет учить русский язык с нуля.

«Какие цели, – спрашиваю, – перед собой ставите?..» – а сам уверен: или мужа под Курском убили, едет могилу искать, или отец-военнопленный в Сибири незаконного брата сделал, надо познакомиться, или дядя гауляйтером Украины был и клад зарыл...

«У меня есть мечта – прочесть в оригинале «Крейцерову сонату», – был ответ.

«Почему именно «Крейцерову сонату?» – удивляюсь, а сам думаю: «Долго же придется жить для этого».

«А потому, что мне муж под "Крейцерову сонату" предложение сделал».

«Может, она консерваторию с университетом перепутала?» – думаю, а ей так вскользь замечаю:

«Под музыку, имеете в виду?»

«Нет, именно что под текст. Он был мой сосед, студент-филолог, и читал тогда Толстого (в переводе, конечно)... Фразы о любви из "Крейцеровой сонаты" на цветные бумажки выписывал и для меня на цветочных горшочках оставлял... Целый месяц... Это было так романтично!..»

Ладно. Толстой так Толстой, хотя из «Крейцеровой» скорее о ревности кровавые цитаты с мясом выдирать надо, это тебе не «Ася» и не первая, а последняя смертная любовь. Но вдаваться не стал и для начала поручил ей перевести на немецкий «Филиппка» – с подстрочником, разумеется...

Я вел их через весь кампус в самое далекое кафе. Думал, там будет пусто, но ошибся – людей было полно. Надо выбрать место подальше, за крайним столиком.

Борис и немец основательно расположились на плетеных стульях. Боря ослабил пояс с грязно-золотой бахромой, развязал пышный камергерский узел. Расстегнул рясу. От этого тяжелая волна прокатила через меня и пошла дальше, до ближайшего столика, откуда начали оглядываться.

Я чувствовал себя в дурацком положении: ближайшим к этим людям был я, и откуда им знать, от кого несет падалью?.. На лбу не написано. Люди косились именно на меня. Поэтому я сказал Борису:

– Прошу тебя, особо не шевелись! Когда ты шевелишься, запах идет на тех девочек, а у них гайморита нету... Мы, к сожалению, сидим с подветренной стороны. И они на меня косо смотрят. И у них есть право на чистый воздух в кафе. И мое право, как человека и личности, такое, чтобы на меня косо не смотрели.

На это Боря задумчиво ответил:

– Да... Косово... Кокосово...

Немец засмеялся, затыкал с большим азартом:

– Вас? Вас? Ви?³ Косово-кокосово? Ха-ха-ха!

– Мне врачи запретили купаться! – сообщил Боря, оглаживая бороду.

– Как врачи могут запретить купаться? Ведь чистота – залог здоровья! – возразил я.

³ От: Was? Was? Wie? (нем.) – Что? Что? Как?

– А вот так. Купаться вредно, говорят. От грязи еще никто не умирал. И я очень здоров. Просто сейчас очень болен.... Там, в клинике, все время были открыты окна, и я простудился, плохо себя чувствую.

– Может, лучше лечь в больницу? – предположил я, думая, как не повезет той больнице, куда он ляжет, и с ужасом ожидая приближения официантки, которая будет наверняка неприятно шокирована.

Вот она подошла. Повела носом. Я заказал три пива, бутерброды. Она удалилась, глядя на нас через плечо.

– А пиво вам давали в клинике? – Я старался не реагировать на взгляды с соседских столиков, но был не в своей тарелке. Тянуло уйти или провалиться сквозь землю.

Боря умильно смотрел перед собой, царапая черным ногтем край стола. Немец тоже присмирел и стал копаться в карманах.

– Пива – нет, не давали. Мы кока-колу все время пили. Вот опух от кока-колы, – указал он на свой разбухший, как у утопленника, живот.

– Кололока! Кокоссер! – обрадовался немец и воровским обезьяньим движением стащил пустую пачку сигарет с соседнего стола, откуда только что ушли люди (уходя, они выразительно на нас смотрели, давая понять, что уходят из-за нашего непотребства).

Я надел черные очки, чтоб спрятать глаза.

– Сколько вас было в палате?

– Четверо. Я, вот Йогги, товарищ мой, – указал Борис на немца. – Еще один, из Турции. Жену с третьего этажа выкинул... И еще один. Шахматист.

– Шахматист? Хорошо играл?

Боря лукаво усмехнулся:

– Неизвестно. Он в шахматы все время играл только сам с собой. А последнюю фигуру должен был обязательно проглотить... Делали ему промывание желудка, забирали шахматы, но он писал прокурору, что он имеет право на настольную игру, и ему эти шахматы возвращали. Пару раз заменили шашками, но он сразу две проглотил.

– Шашки мельче. Легче глотаются, – понял я.

– Не, там всегда две остаются, потому... – снисходительно объяснил Боря. – Если проглотил – значит, выиграл. Если нет – проиграл.

– Вот оно что. Странное правило. Так до заворота кишок доиграться недолго. Домино не пробовали давать?

– Нет, у нас не было... Он еще съел фишки от монополи: подошел, схватил и проглотил. Не успели отнять.

– Понятно. А чем вы там целыми днями занимались?

– Кто как, – уклончиво ответил он. – Йогги, например, всё время дверь обклеивал... Он – кафельщик, поэтому он хотел у нас в палате дверь изнутри кафелем покрыть... А кафель из сигаретных картонок делал... Кахель⁴, а? – спросил он у немца.

Немец закивал:

– О, я!.. Кахель ист гут!.. Кахель ист шён унд глатт⁵!.. – и стал активно гладить поверхность стола (отчего кислорода не прибавилось).

Двое парней и девушка молча встали и ушли не оглядываясь.

Сколько еще жариться на огне презрения?.. Но отпускать их было рано.

– Ребята, вы может быть, голодны? – покосился я на брюхо Бориса.

⁴ От: Kachel (нем.) – кафель

⁵ От: O, ja! Kachel ist gut! Kachel ist schön und glatt! (нем.) – О, да! Кафель хороший! Кафель красивый и гладкий!

– Нет, спасибо. Обед у нас бывал утром, а завтрак – вечером, – сообщил Боря, взял бутерброд и в два укуса сглотнул его. А немец, видя это, тут же запихнул второй бутерброд в нагрудный карман куртки. Масло потекло по ткани, язычок ветчины свесился наружу.

Потом Борис вспомнил:

– Вы хотели нас протестировать?

– Ах да... Вот первый вопрос: почему твой друг Йогги вдруг решил на славистику идти?.. Чему он хочет учиться?.. У него есть билет вольнослушателя?

– Да, есть. Он... вот... У него когда-то была одна славянка. Он с тех пор помнит три слова: «давай-давай», «кончай», «пошёл»!

Немец, услышав знакомые звуки, затряс пирсингами:

– Давай-давай! Кончай! Пошёл! Я, я! Зер гут!

– А как же он будет слушать лекции, если там всё на русском?.. – («Или, в крайнем случае, на полурусском?») – спросил я Боря. – Он же ничего не поймет!

– Ну и что, – безмятежно ответил тот. – Я ему буду переводить.

– Когда? Прямо во время лекции?

– Каждый человек имеет право на перевод! Даже в судах убийцам переводят, а он что, не человек? Тем более, что он заплатил за семестр.

– Ты ему дал эту идею пойти учиться?

– Нет, биржа труда... Ну, протестируйте его! Он всё знает!

Я задумался...

– Ладно. А ты переводи. Первый вопрос. Вот мы сидим, беседуем, диалог, так сказать, по-сократовски ведем... Кто был Сократ?

Из краткого опроса выяснилось, что Сократ был умный человек, Будда еще умней, Конфуций запрещал есть свинину, а Диоген всю жизнь сидел в ванной, светил фонарем и кричал «эврика». Всё это Йогги твердо помнил еще со школы.

– А Будда разве не говорил, что не надо собирать картонки? Что человек счастлив и без этого хлама? – спросил я.

Оба молчали, недоверчиво поглядывая на меня. Боря начал вытаскивать из папки блокнот. Пора была закругляться.

– Последний вопрос: кто лучше – Сталин или Гитлер?

– Гитлер ист schlecht. Шталин ист гут, зер гут⁶, – поспешил ответить Йогги и для убедительности показал руками козу: – У, Шталинград!..

– Ну, всё, – сказал я Борису. – Тест он прошел успешно.

– Он-то прошел, а вот вы пройдете ли? – вдруг заявил Боря. – Вас тоже аттестовать надо!

«Этого еще не хватало!»

– Логично. Спрашивай. Только недолго.

– Где начало и конец мира?.. Вот где, покажите мне, где мир начинается и где он кончается?.. Где конкретно?.. – взбудораженно посмотрел на меня Боря Толстой из-под бровей, и от его упертого взгляда стало как-то не по себе. – Если есть начало и конец мира, то и бог есть, если нет – то и бога нет... Или наоборот... Одно время ушло, другое не пришло... – Он задумался и с тревожным отчаянием спросил: – А где вообще время начинается?

Надо отвечать. Поскорей и поконкретней.

– Вот тут. Смотри. Вот тут время начинается, – ткнул я пальцем в пепельницу.

– Делает громадный круг через всю Вселенную, – показал я широкий круг (и Боря, и немец, как овчарки, проводили руку внимательными взглядами). – И тут же оно и заканчивается, – уместил я палец в той точке, откуда вышел.

⁶ От: Hitler ist schlecht! Stalin ist gut, sehr gut! (нем.) – Гитлер плохой! Сталин хороший, очень хороший!

– Понял, – задумчиво согласился Боря и перевел пассаж немцу, с чем тот был полностью согласен:

– Абсолют клар. Логиш. Хундертпроцент рихтиг⁷!

– А где конкретно сидит бог? – уставился на меня Борис.

– На Луне, где же еще? – предположил я. – Обратной стороны Луны никто не видел. Там прохладно, тень... тишина... никто не беспокоит... А почему это тебя интересует?

Борис серьезно ответил:

– Как – почему?.. А что еще может интересовать?.. Я же новую карту мира составляю... Где те царства, что были?.. Где те люди, что жили?..

Видя, что лицо его вдруг страдальчески сморщилось, как перед плачем, я поспешил завершить опрос:

– Борис! Этого никто не знает, даже ректор этого университета! Не страдай раньше страдания! Всеми свое время! Тест вы оба сдали на «отлично»! Поэтому администрация университета награждает вас сдачей с полтинника, которую мы сейчас получим от официантки. И разрешает вам, как особо отличившимся, на лекции не ходить, а потратить это время для работы в библиотеке, только садитесь там подальше от вентиляторов, с неподветренной стороны... Надо готовиться к Петербургу!

Боря немного свысока, как милость, перевел всё это немцу. Тот закивал головой, шныряя глазами по соседним пепельницам:

– Гут! Прима! Гроссе классе! Санкт-Петербург! Кокосово! Давай-давай!

Видя, что Боря начал вытаскивать из-за стола свой пудовый живот, я живо сунул ему деньги:

– Вы сами и заплатите! – (мне было стыдно подходить к стойке или звать официантку – мне казалось, что я весь проникнут смрадом; так оно, возможно, и было). Купюра исчезла в Борином рукаве – немец только успел пирсингами потрянуть. – Всего доброго, друзья!

Больше в университете их не видели. А я получил «за чай» именное макраме, величальную песнь и был угощен пирожками по рецепту Елены Глинской – как оказалось, по материнской линии, через Телегиных-Коровьевых-Копыто, она приходится Бибиковой «не сторонней, а прямой прапрапрабабушкой»...

Жуя пирожки, я думал о том, что Боря с Йогги свой тест сдали, а вот сдал ли я свой – большой вопрос. И демократия тут ни при чем, хотя при полной демократии тесты можно сдавать (до) самой смерти, пока она не хлопнет своими твердыми костяшками: всё, «неуд», «плохо», амба, люк, какюк и крышка... И ученье станет тьмой, а неученье – вспышкой...

Германия, 2007

⁷ От: Absolut klar! Logisch! Hundertprozent richtig! (нем.) – Абсолютно ясно! Логично! Стопроцентно правильно!

ГАДКИЙ-ПРЕГАДКИЙ МИР

Новелла

ВЧЕРА

она ушла от них, хлопнув дверью.

Она сказала, что если они не умеют вести себя при гостях, то это их дело, но она не желает выслушивать семейные сцены. Она так ему прямо и заявила:

– Евгений Александрович, выливайте свое раздражение на вашу жену в мое отсутствие. Когда вы научитесь это делать, тогда и пригласите меня опять.

И ушла.

Они не удерживали, но затихли.

Оля переставляла на столе приборы, сухо звякали о тарелки вилки и ножи: делала вид, что убирает остатки еды. А он ушел в другую комнату и закрылся.

В прихожей, перед зеркалом, она достала косметичку, вынула тюбик и провела помадой по губам – обедали все-таки, если можно назвать обедом Олину стряпню. Она услышала, как захныкала девочка.

– Оля, плачет! – крикнул Евгений Александрович. Но так как стук тарелок продолжался, крикнул громче и раздраженно: – Оля, подойди к ребенку!

И Оля, бросив наконец возню с посудой, пошла в детскую.

Поэтому никто не вышел, чтобы все-таки соблюсти приличия и проводить ее. Она тоже больше не проронила ни слова, а просто глухо щелкнула замком сумочки, а потом так же глухо щелкнула замком двери.

С нее хватит, в конце концов.

В прошлый раз это было ровно полгода назад.

Оля родила и пришла из роддома. Ее пригласили посмотреть в внучку. Обедали, семейно: она, Олег и они. Сидели визави: она напротив Евгения Александровича, Оля – напротив отца. Больше никого не было: Евгений Александрович не осмелился приглашать своих родственников, когда она приезжала. Коляску с девочкой поставили рядом. Девочка получилась явно похожей на Евгения Александровича: такое же круглое личико, круглый подбородок, круглый нос, круглый рот... У Оли, конечно, вкус своеобразный: на этот раз выбрала на полголовы ниже себя – ровно по уху. Удобно, говорит. Лысый, шарообразный, глазки – узкие щелочки, за шарообразными щеками прячутся, и брюхо, разумеется, – круглое пузо торчит вперед. О вкусах, конечно, не спорят, но... что тут можно сказать? «А ничего и не надо говорить, – отвечает, – теперь на рост не смотря!» Теперь – разумеется. Теперь *она* может быть какого угодно роста, хоть два метра, а *он* – где-то сзади, низенький, невзрачный, с кривыми ножками, но – с деньгами. *Она* тыкает пальцем, а *он* – платит. За удовольствие нужно платить.

Сначала открыли шампанское, и Олег сказал несколько поздравительных слов. Будущий он не умеет, но выдал из себя ради такого случая что-то о счастливом будущем ребенка и в заключение понес, конечно, как всегда, околесицу:

– Сейчас, как никогда, человеку можно реализовать все свои возможности. И будем надеяться, что так это будет и впредь!

Она ничего не сказала, просто подняла бокал и произнесла:

– За вашу девочку!

Потом ели закуску, и все шло молча. Оля приготовила салат, который она просто ковыряла вилкой, потому что там был лук. Кто научил Олю совать репчатый лук в салат? Остальное – селедку под шубой и заливного судака – она тоже только попробовала. У Евгения Александровича манера закуску переохладить: вечно запикивает блюда с едой либо на самую верхнюю полку холодильника, либо зимой на балкон выставляет до прихода гостей. А потом с мороза – прямо на стол! Чуть инеем все не покрывается. Она на зубы еще не жалуется, Бог миловал пока, но от такой еды и здоровые зубы начинают ныть. Поэтому она тоже в основном ковыряла вилкой. Единственное, что она могла есть, была красная рыба и икра в бриошах. Но тоже много нельзя – весь вечер пить будешь, а это вредно.

Оля, видя, что она сидит перед пустой тарелкой, предложила:

– Положить тебе еще чего-нибудь?

Но она категорически отказалась:

– Спасибо, я сыта. У тебя ведь, наверное, горячее потом будет?

Все началось именно потом.

Олег, как всегда, некстати, начал обсуждать экономический прогноз на будущий год.

Все это, конечно, хорошо, но не за столом же? Пусть обсуждает у себя на работе! Разговор, естественно, зашел о потребительской корзине, ценах, зарплате, пенсиих. Евгений Александрович тут же переключился на Олю и стал упрекать ее за то, что она бессмысленно тратит его деньги.

– Евгений Александрович, извините, я, может быть, вмешиваюсь в вашу частную жизнь, но объясните мне, пожалуйста, что значит *ваши деньги*? Это теперь, как я понимаю, деньги семейные, – сказала она, еще не приступив к еде. – Или вы считаете, что Оля ваша содержанка?

– Да, конечно, деньги семейные, – запальчиво ответил Евгений Александрович. – Но зарабатываю их я один!

Он повысил голос и поднял указательный палец вверх.

Она больше ничего не добавила и придвинула к себе тарелку, на которую Оля уже положила мясо и гарнир.

Евгений Александрович скрупулезно перечислял ей, загибая пальцы, что Оля купила за последнее время. Господи, как и упомянул все!

– Вот! У меня уже не хватает фантазии, что еще ей взбрдет в голову купить! – наконец воскликнул он и несколько раз помахал перед ней ладонями. – Дом – полная чаша! – Он развел руки и сделал круговое движение головой, как бы приглашая оглядеть *чашу*.

Она из-под опущенных в тарелку век незаметно повела взглядом по стене напротив: дорогие лампы с абажурами по углам, зеркала, картины в рамах, на мраморном столике несколько бронзовых безделушек – модный теперь антиквариат; инкрустированная старинная горка с серебром и фарфором, из двери в соседнюю комнату виден новый рояль, на котором никто не играет и вряд ли будет когда-нибудь играть...

Оля пыталась прервать эту тираду и говорила, что в наше время нужно просто больше зарабатывать, чтобы прилично жить.

– Приличные люди деньги вообще не считают, – надув губы, в этом и только в этом она была похожа на нее, – сказала Оля. – У Лаптевых никогда слово *деньги* даже не произносят!

Совсем не обращая внимания на них с Олегом, они долго обсуждали проблему Лаптевых, которые купили уже не одну квартиру, чтобы сдавать, отстроили заново родительскую трехэтажную дачу в Барвихе, превратив ее в английский коттедж, и отдыхают летом не на Канарах, не в Анталии или на Родосе, а едут путешествовать в Австралию, или в Южную Африку, или в Таиланд.

– А в прошлом году, между прочим, ездили на водопады, – сказала наконец Оля устало. – Вообще, мне все надоело. И детей они берут с собой, а не на бабушек оставляют. Одной большой компанией едут.

– С детьми ездить обременительно, сама знаешь, особенно с такой малышкой, как у нас теперь, – возразил Евгений Александрович.

Ей это было совсем неинтересно слушать, и она молча пережевывала непрожаренный антрекот. Но в этом месте их диалога она отвлеклась от мяса и заметила, что больше оставлять на бабушку и они тоже не будут.

– Я, Евгений Александрович, Виталика вырастила, – подняв брови и глядя при этом в тарелку на подгоревший с одной стороны кусок (как Оля все-таки умудряется так готовить, чтобы с одной стороны горело, а с другой оставалось сырым?), – сказала она, – он полностью был на мне двенадцать лет, пока Оля никак не могла устроить личную жизнь. Я свою задачу выполнила – дала ей возможность наконец это сделать, заботы с ребенком Оля не знала, а теперь хватит. Вы свою дочь растите сами вместе с Олей. И уж коль женились на женщине с ребенком, то и ребенка от бывшего ее мужа тоже не забывайте. А меня увольте. Двенадцать лет Виталик был со мной, а теперь пусть побудет с родителями: с мамой и с приемным отцом. Согласитесь, дети должны быть с родителями.

И на этом она поставила точку.

Какая разница, что ответил Евгений Александрович? Она его не слушала.

Виталик через неделю переехал к ним. Она его поцеловала на прощанье и сказала, что он самостоятельный, взрослый мальчик и ему будет там лучше, чем у бабушки. Он ходил теперь в другую школу, а с ней вежливо разговаривал по телефону и рассказывал, какие отметки получал. Конечно, он приезжал по праздникам. А как же? Она его всегда приглашала. Она так ему и сказала:

– Бабушкин дом – это и твой дом всегда, как и раньше, но жить ты должен теперь с родителями.

Поэтому виделись они исключительно по праздникам. Он так вырос за последнее время, вытянулся, повзрослел, голос стал ломаться. Переходный возраст – самое время родителям заняться воспитанием собственного ребенка...

Она подошла к лифту, нажала кнопку.

Лифт зашевелился вниз, заскрипел всеми частями, тяжело потянулся вверх. Его недовольное урчанье гулко прокатывалось по всем этажам, как это бывает в старых домах с капитальными стенами в полметра толщиной и необъятными лестничными проемами. Наконец, качнувшись и слегка осев, как будто вез невероятный груз, он остановился перед ней. Она вошла, закрыла решетчатую дверь и медленно поехала вниз.

Какое ей дело до их «семейного счастья»? Ее это абсолютно не интересует. Как Оле нравится, так пусть и устраивается. Оле грех жаловаться на судьбу, если живет в таком доме. Евгений Александрович, наверное, не бедный, раз поместил новую жену в подобную квартиру. Чем еще Оля недовольна, непонятно. Бывшую жену он, кстати, тоже не обидел: оставил ей и огромную квартиру на Ленинском, и огромную дачу в Малаховке, и машину. Какими путями он это достает, Бог, как говорится, ему судья. Она об этом не собирается думать. Это дело Оли. Но уж коли ты, милая моя, сделала свой выбор, то терпи. Но, похоже, они оба зашли слишком далеко, совсем стесняться перестали.

Сегодня Евгений Александрович зацепился за Олины кухонные таланты: сердито отодвинул тарелку, еще не притронувшись к еде. Гурманом, видите ли, стал, забыл картошку в мундирах и похлебку, которыми его мама кормила в родной деревне. А Оля, как всегда, невозмутимо ответила, что у всех знакомых давным-давно кухарок завели, и никто не эксплуатирует своих жен и не заставляет их обслуживать грудного ребенка и одновременно выгатавливать обеды для приема гостей.

И вот тут она не выдержала:

– Если вы к тому же еще и попрекаете меня тем, что пригласили, я могу не приезжать совсем.

Это она добавила, вставая из-за стола и демонстративно отодвигая в сторону стул. Вот тогда они и затихли.

Лифт плавно опустил ее вниз, в огромный полутемный подъезд с одной-единственной дверью – на улицу. Она каждый раз неприятно поживалась здесь: такое впечатление, что во всем доме ни одной живой души – тишина, пустота и мрак. Тут ведь что угодно произойти может. Почему до сих пор не завели консьержа?

И открыв кодовый замок, поспешила выйти.

Она не имела привычки звонить, а открывала дверь своим ключом, даже если знала, что Олег дома.

Он сразу вышел в коридор, когда хлопнула дверь.

– Ну, что, как там у них?

– Ничего. Как всегда. Ругаются.

Она повесила льняной жакетик в стенной шкаф, глянула мимоходом на себя в зеркало.

– Ну, ты бы все-таки объяснила. Там ведь, как я понимаю, состава преступления нет.

– Это их дело, – бросила она, направляясь в ванную: у нее была привычка первым делом после улицы смыть грязь с рук и ополоснуть лицо. Налипает ведь! Во все поры въедается, особенно когда без машины, на общественном транспорте.

Она заперлась в ванной, сбросила с себя блузку, включила воду.

– Тебе отец звонил, – сказал Олег за дверью. Сказал в щель, чтобы она услышала за шумом воды. – Слышишь?

Она взяла махровую рукавичку, капнула мыла, приблизила лицо к зеркалу, начала медленными движениями тщательно протирать. Нет, нужно все-таки принять душ: она чувствовала, как вся прямо пропиталась пылью, пока шла от троллейбуса. Сделали idiotские новые разметки для стоянок: только от Белорусского через мост переедешь, и все, троллейбус застревает на одном и том же месте – не может объехать последнюю машину, если владелец в самый край поставит. И водитель стоит и ждет, пока машину не уберут. Хоть полчаса, если хозяин в маркет пошел. А ты – или тоже жди, или вылезай и иди пешком две остановки. Никого это не интересует!

Она разделась, включила горячий душ, чтобы охладить тело. Уф-ф! Сразу стало легче. Вытерлась большим мягким полотенцем – она когда-то купила случайно именно за то, что оно было удивительно мягким и давало коже приятное ощущение, завернулась в махровый халат, открыла дверь.

– Тебе отец звонил, – повторил Олег, когда она вышла из ванной. И так как она ничего не ответила, сказал: – Слышишь?

– Такое впечатление, что ты все время, пока я мылась, ждал под дверью, чтобы сообщить мне эту приятную новость.

– Ты же ничего не ответила, вот я и повторяю.

– А что я должна отвечать? Сказать спасибо или вынести тебе благодарность в письменном виде?

Она прошла в кухню, залезла в холодильник, пошарила глазами по полкам.

– Сока уже нет? Я ведь недавно пять пакетов привезла!

– Есть, есть! – успокоил он, идя вслед за ней. – Я забыл вынуть. – Он достал из сумки пакет апельсинового сока, протянул ей: – Вот! Я полную сумку привез сегодня.

– Так он же теплый!

Она недовольно надрезала пакет, вынула из морозильника лед, отколола несколько кусочков, положила в стакан, стоя к нему спиной, стала наливать.

– Он жаловался, что давление подскочило, – Олег вернулся к теме об отце.

– Это его обычная песня.

Она поставила пустой стакан на мойку, обернулась, вытирая уголки губ двумя пальцами:

– Водки пить надо меньше!

– Все-таки ему восемьдесят три уже! – Олег тоже налил себе сока ипил маленькими глотками.

– Я иду посмотреть телевизор, – сказала она. – А ты, – крикнула она ему уже из комнаты, – можешь сделать мне маленький бутерброд с сервелатом! И положи, пожалуйста, ломтики огурца сверху!

Она стала переключать программы, стараясь найти что-то, чтобы можно было бездумно просидеть вечер. Опять очередные богатенькие слезами умываются... бабы красивые... после пластических операций все...

Образование она Оле дала как-никак, несмотря на Олины закидоны с ранним замужеством и рождением Виталика. Все это случилось сразу после школы – Оле только-только исполнилось восемнадцать лет. Но Оля, по-видимому, лучше знает, чего хочет в жизни: никого ведь не спросила, когда выскочила замуж за Гену. Просто привела его один раз и объявила им: «Это мой муж!». Олег тогда перепугался: что скажут?! Свадьбу тотчас устроили, чтобы все прилично выглядело, оформили их отношения. Фу, даже вспоминать не хочется этого подонка, шантажиста и мелкого вора! Оказалось, что еще и услугами мальчишек пользовался в свое время, хотя с удовольствием всегда рассказывал, как этим занимаются другие. Кому бы тогда в голову пришло заподозрить его самого? Спору нет, каждый волен выбирать свою сексуальную ориентацию. Но не у них в доме. Пусть им разрешены браки теперь, но это где-то там. У нас, слава Богу, до подобных браков дело не дошло еще. Раньше только шушукались о таких вещах, потому что их всех сажали. А теперь они расцвели махровым цветом: шерочка-с-машерочкой за ручку ходят по улицам, никого не стесняются, макияж, завивка, женские каблуки в моду вошли...

Ее тоже когда-то в ранней молодости сватали за такого же – не разобрались сразу, в чем дело было. Внешность обманула холеная: волосы волнистой, льняного цвета копной назад почти до плеч, черты лица тонкие, нос с легкой горбинкой, глаза томные... На виолончели в оркестре играл. Все любовались ими, говорили: «Какая из Иры и Валентина красивая пара получится!». И отец, и мать, и родственники ахали. Долюбовались! Она первая и догадалась: отсутствие каких-то нормальных мужских инстинктов почувствовала. Прощаются, он ручку поцелует – и все. Холодно двумя пальцами ее ладонь держит, как будто и прикоснуться к ней неприятно. Сначала думала: какой галантный! А потом это просто замораживать стало. Один раз после концерта музыканты расходились, она ждала его в коридоре. Через открытую дверь заметила, как он обменялся взглядом с молодым мальчиком из их оркестра и какое-то незаметное быстрое движение рукой сделал, знак какой-то особый пальцами. Она и не вспомнила бы потом, какое это движение, но ясно было, что одним им понятное. Ей даже в голову ударило. Она что-то ему тут же наговорила, что спешит, еще что-то – и быстро в другую сторону. Ух и возмутилась дома: за кого это вы меня замуж собрались выдавать?! Отцовская тогдашняя пассия приискала, между прочим, из своих знакомых выбрала...

Хорошо, что Олин незабвенный Геннадий Васильевич не успел к ним прописаться! Вот была бы история: пришлось бы квартиру, чего доброго, разменивать! Тут Бог, что называется, руку отвел – вовремя спохватились и выставили. Вообще,

когда кто-нибудь спрашивает про прошлую Олину жизнь, нужно вечно темнить. Да и о настоящей тоже темнить приходится постоянно: что закончила, где работает. Потому что до диплома Оля так и не дотянула, хотя она очень старалась, чтобы у Оли был диплом о высшем образовании. Попробуй устрой в университет! Она на ухах стояла, всунула-таки. А эта растётёха так его и не закончила. То одна компания, то другая, то в Норвегию на лыжах кататься, то в Петербург едут на концерт, вместо того чтобы сессию сдавать. Вечно переносила экзамены с одной сессии на другую. Еле-еле переползала, конечно. А перед самым дипломом окончательно бросила. Вот и указывает теперь в анкетах: незаконченное высшее. Она, конечно, говорит, что Оля занимается журналистикой, пишет под псевдонимом, работает в одной из центральных газет. Но все – без названий, в большие подробности не вдаётся: чтобы отстали, поменьше вопросов задавали. Правда, не в моде сейчас подобные вопросы задавать, но находятся некоторые...

Она опять стала нажимать кнопки переключателя программ, пытаясь найти что-нибудь более интересное: надоели все эти мыльные оперы и интеллектуальные дискуссии с заранее подготовленными ответами. Или вот: колесо счастья крутится, бабки из провинции гусей в подарок ведущему везут...

– Олег, что ты там застрял? – она закинула голову назад, прислушиваясь к звукам с кухни и стараясь угадать, что он там так долго делает. Вечно три года будет возиться, о чем бы ни попросили!

– Сейчас! Я огурцы искал!

Она пожала плечами, покачала головой, безнадежно вздохнула: никогда ничего не знает. Как будто не в своей квартире живет! Квартиросъемщик у нее! Что там искать? В холодильнике внизу, где все овощи лежат.

Наконец она обнаружила показ моделей одежды. Молодцы французы! От их программ не оторвешься. Что там, кстати, происходит? Это женская мода или мужская? Юбки, из-под них, правда, идут брюки... А это уже просто короткая, в складочку спереди юбка-шорты и туфли на высоких каблуках, вихляющая женская походка... Прическа высокая, взбитые волосы, сзади пучок... Пиджаки ниже колена... Это что – мужчины? Ах, да, вот видна голая мужская грудь из-под распахнутого пальто... А это что? Это же нечто похожее на бюстгальтер... Красный бюстгальтер, живот голый... Мужчина или женщина?

Она бегала быстрым взглядом по всем частям тела, чтобы распознать, кто идет по подиуму. А, нашла: за брюками угадывается мужская принадлежность... А как они грудь отращивают? Гормоны, видимо, принимают...

– Я тебе два на всякий случай сделал! – проговорил за ее спиной Олег. Он поставил тарелку с бутербродами на столик, придвинул к ней.

– Тебя за смертью посылать впору, точно, не ошибешься, – она, не глядя, на ощупь, взяла один бутерброд, стала жевать, машинально следя за мельканьем красивых платьев на экране – пошла уже женская мода.

– Что ты смотришь всякую ерунду? – Олег сел в кресло перед телевизором, недовольно поморщился. – Там ведь, наверное, что-нибудь интересное есть.

Она хрустнула огурцом:

– Ты мне загораживаешь экран.

– Переключить? – он взял со столика переключатель.

– Мне э т о нравится, – она сделала ударение на э т о.

Он не выдержал, поднялся:

– Такое не для меня.

– Тогда принеси сок и сделай мне еще один бутерброд.

– С чем?

– С чем хочешь. Там много всего, – отмахнулась она. – Ты мне мешаешь.

– А сок какой?

– Любой! – она в упор взглянула на него: – Не задавай всяких вопросов! Господи, утомит! Легче самой все сделать... Сестра вот двоюродная недавно позвонила. Ни с того ни с сего решила дать о себе знать!

В пересменке между заграницами в Москве объявилась вдруг! Она даже не узнала в первый момент, кто звонит. Господи, сколько лет-то прошло, как в последний раз разговаривали по телефону? Десять? Не меньше! После смерти тети. Сестра тогда звонила, жаловалась, что отец так быстро забыл мать, завел другую женщину, на могилу не ездит, памятник не поставил... Сочувствия искала. Она холодно оборвала: «Все мужики такие. Не нужно больших условий им ставить. Ты что хотела, чтобы он слезы проливал по тете Тане? Все абсолютно закономерно, этого следовало ожидать». Зачем воображать то, чего не бывает? У них вон на работе коллегу вместе с ребенком машина сбита – и обоих насмерть. Муж от горя просто умирал на похоронах, на ногах не держался. А на сорок дней пришел уже с другой! Вот и весь сказ про них. Когда год исполнился, он женат второй раз был. Правда, стихи сочинил в память о бывшей жене и пел их под гитару красивым баритоном... Можно подумать, она Олегу нужна? Да ничего подобного! Она прекрасно знает, что это, во-первых, сожитель, во-вторых, «сосед по койке», как говорит одна ее приятельница о своем собственном муже, очень удачное выражение, и самое главное – спонсор! Про их отношения сестре знать совсем не обязательно. Но она сама без всяких иллюзий отдает себе в этом отчет.

Может быть, сестра в тот раз обиделась. Больше не звонила. Но это, в конце концов, ее дело. На что обижаться? На правду? А тут, видно, любопытство разобрало, поговорить захотелось – завалила вопросами.

Она односложно отвечала:

– Олег? Работает. Где? В одной организации. Кем? Не по своей специальности. Почему? Их прежнюю организацию упразднили. Я? Тоже работаю. Где? В разных местах. Чем занимаюсь? Всем, чем придется.

И потом наступил черед вопросов про Олю:

- А Олечка как живет?
- Ничего.
- Она с вами?
- Нет.
- Работает?
- Сейчас нет.
- А как же она?..
- Муж зарабатывает.
- Она ведь развелась, ты говорила.
- Развелась давно.
- А теперь снова замуж вышла?
- Да, теперь снова замужем...
- И что же, Оля просто дома и все?..
- Да, с ребенком сидит.
- А-а... Так бы и сказала сразу... А муж у нее – кто?
- Я предпочитаю не выяснять.

Она совсем незаметно вздохнула про себя, ожидая, когда этот вопросник закончится.

Любопытные все очень. Она ведь не спрашивает сестру ни о чем. У той тоже есть дети. Но какое ей до них дело? Она их даже не видела толком никогда – в раннем детстве только. Где они сейчас, чем занимаются, как живут – какое ей дело до этого? Пусть живут как хотят!

Сестра сама про них рассказывать стала:

– Юра у нас заканчивает аспирантуру, через год защита предстоит. Мы надеемся, найдет какой-нибудь контракт. А Таня вся в компьютерах, на четвертом курсе уже. Тоже надеемся, что хорошо устроится, – это теперь везде востребовано.

Господи! Она уже почти забыла, как их зовут, ее племянников! Поэтому терпеливо выслушивала весь этот треск.

– Встретиться бы надо! – наконец сказала сестра. – Мы только вчера приехали, еще не распаковались. Но встретиться надо обязательно, а? Давно ведь не виделись! Постарели уже. Я вся в морщинах теперь. С утра только встаю – и сразу к зеркалу: кремы накладывать, чтобы можно было хоть взглянуть на себя. Волосы седые, крашу. Фигура, правда, еще ничего. Сзади и не разберешь – то ли пенсионерка, то ли пионерка. И бегаю, как раньше, ходить не умею...

– Я к тебе в ближайшее время приехать не смогу, – прервала она ее. – Праздники через два дня, у меня гости, я пироги затеяла и вообще вся в делах пока...

– Жаль, что не увидимся... Мы ведь, сама знаешь, приехали-уехали, жизнь, можно сказать, на колесах... Мы с тобой двоюродные, а дети наши троюродные. Но тоже ведь родственники! А никогда друг друга не видели! В одном городе живут и ничего друг о друге не знают! Вот тебе и родственники! Парадокс просто!

Она промолчала и ждала, когда можно будет повесить трубку. Но сестру еще и на поэзию потянуло:

– А помнишь наше детство? Как мы с тобой когда-то зимние каникулы вместе проводили? Невозможно было потом развести нас – всегда с ревом расставались...

Сестра засмеялась, а она слушала ее смех.

– А помнишь, как вместе спали на вашем диване? Он у вас широкий был, мягкий, уютный. Мы друг к дружке прижмемся, обнимемся, угреемся. Хорошо! И елка у вас на комод у окна стояла – больше поставить было некуда. В темноте светились шары зеленоватым светом, а мы гадали, какой это шар светится: желтый, или красный, или синий. Шепчемся, тихонько хихикаем, а твои родители за шкафом спали и на нас шикали, чтобы мы замолчали. Помнишь, дядя вдруг говорит из-за шкафа: «Это кто сейчас разговаривал? Светик-семицветик не спит? Придется позвать домового!». Я дяди ужасно боялась, а домового еще больше. Мы затихнем. А потом опять шептаться начинаем, думаем, что он заснул. А дядя сквозь сон опять строго: «Слышу, Мупик-упик голос подал!». Ты сразу – юрк под одеяло! Это дядя так тебя прозвал: Мупик-упик. Ты в детстве вместо «суп» говорила «упик». «Хочу упика». Очень суп любила. Ты это помнишь?

– Нет, я этого не помню, – сухо сказала она. Когда этот поток лирики закончится наконец? Ей совершенно неинтересно слушать, что там было в ее детстве.

– Я тоже не помню, но мне мама часто рассказывала, как ты стояла рядом с диваном, на диване – тарелка супа, ты ешь, ешь, ешь, а потом еще просишь: «Упика, хочу упика!». А вот какое отношение «Мупик» имеет к твоему имени Ирина, я уже не понимаю. Наверное, дядя для благозвучия придумал...

Вечернее солнце уже завернуло за угол дома и вплыло в их комнату, заполнив ее всю до отказа, легло ей на лицо. Она недовольно прищурилась. Западная сторона все-таки хороша только зимой. Встала, чтобы задернуть шторы и сразу же вернулась и села в кресло, боясь пропустить очередную модель.

Может быть, все так и было, но она никогда не вспоминала. Она терпеть не могла воспоминания, а особенно детские. У Светланы другие жилищные условия были. Ей хорошо вспоминать, как для разнообразия на каникулы ездила в другой конец Москвы к дяде с тетей, к единственной двоюродной сестре Ирочке. А у нее одно ощущение тесноты осталось: в углу кровать родительская, шкаф к стене одним боком, чтобы ее загораживал, диван, стол, комод, сервант, кресло раскладное, коробки какие-то с продуктами горой одна на другой – мать привозила со

своей базы то овощи, то фрукты, то банки консервные. Толкались друг с другом, углы зацепляли. Отец вечно поучал, как жить: только воскресенье начнется, засадит на диван – и выслушивай его нравоучения. Настроение на целый день испортит, потому она и дулась на всех до вечера. Светланин отец ее Дутиком называл. И шутил, что она долго дуться может, ничем не развеселишь. А как не дуться, если спозаранку бубнят, мелкие гвоздики в череп вбивают: ты и то не делаешь, и так не поступаешь, и не то сказала, и не так повернулась, и так ответила, а надо этак, и посмотрела не в ту сторону... А мать, когда отец засыпал, рылась в его карманах: то деньги вытаскивала – гонорары за концерты, которые он припрятывал, чтобы на любовниц тратить, то письма находила от каких-то женщин, с которыми он отдыхать на юг ездил. Скандалы потом, дверь изнутри запирала. Отец под окнами полночи проходит на морозе, к утру мать его впустит, на раскладушке постелет, благо ему спозаранку на работу не вставать: к себе в театр он приходил не раньше четырех. Когда мать уйдет, он с раскладушки на кровать переберется, а ей скажет: «Ирочка, ты раскладушку убери, пожалуйста». Единственный раз, когда виновато попросит, а не поучает...

Однажды мать в его кармане фотографию обнаружила: счастливо улыбающийся, загорелый, пышущий здоровьем отец, этакий жизнелюб, под руку с красивой, статной девушкой на фоне кипарисов. И надпись внизу, наискось: «От любящей Галины». Ну, конечно, как всегда потом. Мать кричала, фотографию изорвала у него на глазах, не разговаривала, перестала ему готовить, сказала: «Кормись сам!». Вот он и ушел от них, к Ангелине...

Олег поставил рядом стакан сока и тарелку с бутербродом.

– Я тебе с паштетом сделал.

– Спасибо.

– А ты все еще продолжаешь это смотреть?

– С паштетом – это вкусно! – сказала она, принимаясь за бутерброд.

– Все-таки позвонила бы! – вдруг опять напомнил он, выходя из комнаты.

– Ты, кажется, с этой темы не можешь съехать, – сказала она ему вдогонку.

Господи, каким же занудой нужно быть! Звонил! Ну и что? Надо – значит, позвонит еще раз... Сочетание цветов у них какое необычное для нас: например, темно-голубого и коричневого – кожаный коричневый жакет, а на юбке такого же цвета рисунок. Красиво... А вот юбка интересная: тонкий шифон и полосатые вставки из норки... Неплохо бы сделать...

СЕГОДНЯ

было воскресенье.

Обычно она вставала очень рано – долго спать она не умела. Зарядка двадцать минут, чтобы размять тело на весь день, потом тщательный туалет: душ, макияж, выбор костюма. Потом черный, не очень крепкий кофе и обязательно кисломолочное: маленькую баночку простокваши или стакан биокефира. И – на работу!

Но в воскресенье она валялась часов до одиннадцати: пила кофе в постели, смотрела журналы, «Космополитен» или «Лизу», газету тоже иногда брала в руки, хотя ничего нового все равно из нее не узнаешь, или просто бездумно лежала на животе, обняв подушку обеими руками. Бездумно лежать очень трудно, но она заставляла себя – полезно, говорят: закрыть глаза и представлять одну и ту же картину. Успокаивает нервную систему. Она всегда видела бескрайнее снежное поле, искрящееся на солнце, и далеко-далеко бегущую фигурку лыжника. Просто лежала и видела эту картину, чтобы ни одной мысли не шевелилось, чтобы выветрить хоть на какое-то время из головы все, что в нее набивается за неделю.

По воскресеньям кофе готовил Олег, наливал в термос и приносил в спальню поднос, когда она только-только открывала глаза, учуяв запах, который проникал

из кухни и медленно заполнял квартиру. Ужасно приятный все-таки это запах – запах утреннего кофе в воскресенье! Так было заведено давно, что по воскресеньям кофе готовит он. Олег делает это всегда торжественно: медленно входит с подносом и смотрит на ее реакцию. Господи! Как ребенок прямо! Лет-то сколько? Дедушка уже! Она что, восторги должна изливаться?

Сегодня она проснулась не от запаха кофе. Она это очень хорошо запомнила.

Это было сегодня, седьмого июля. Год назад.

Она проснулась с мыслью, от которой никак не могла отделаться всю ночь: она, мысль, сидела где-то в подкорке во время сна и тут же всплыла, как только она почувствовала, что больше не спит.

Она перевернулась на спину, продолжая лежать с закрытыми глазами.

Звонил! Вспомнил на минуточку, что у нее день рождения. Потому и всплыло в памяти все так отчетливо. Поздравить решил! А заодно и поучить чему-нибудь в очередной раз. Разве ему было до нее дело когда-нибудь? Поучал просто потому, что ему надо было всегда кого-нибудь поучать. Он до сих пор всех поучает. Звонит каждый раз и спрашивает:

– А где ты работаешь? А сколько ты получаешь? А тебе хватает на жизнь?

На самом деле ему на это наплевать. Просто если она станет ему что-нибудь рассказывать, он тут же найдет, к чему прицепиться, и будет говорить, что она что-то не так делает... Целых полгода не звонил, боялся. Потому что в январе ему указали на дверь, с треском выгнали.

Юбилей Олега праздновали: шестьдесят лет ему исполнилось. Родственники приехали и его, и ее: мать Олега, и ее мать, и коку Веру, сестру матери, пригласили. Той уже восемьдесят исполнилось, еле ходит, брат двоюродный ее на машине привез. Они до сих пор в деревне живут, как и раньше. Теперь это уже почти Москва считается, а дом их деревянный до сих пор не снесли – до сих пор воду из колонки качают. Брат дом чинит каждый год, подправляет то там, то тут: один год красит, другой – крышу ремонтирует, вот и держится до сих пор. Плохо живут, конечно. Что хорошего в деревне? Грязь как была, так и есть... Всех, впрочем, не пережалеешь...

Драгоценный папенька пожаловал, заполнил собой все пространство: сел, полдивана сразу занял – раздобрел на старости лет, пиджак расстегнул на все пуговицы, хозяином положения сразу себя почувствовал. Начинает всегда не иначе как: «А скажи мне, пожалуйста...». Все, можно подумать, должны перед ним отчитываться. Все грешные, один он святой! Сел, бросил победоносный взгляд – это он так всегда на всех смотрит – и стал у Олега выпрашивать, и что это за организация, где он сейчас работает, и зачем же он столько лет учился и диссертацию защищал, чтобы все коту под хвост. Именно – коту под хвост.

– Вот ты учился столько, а теперь, наверное, и забыл все, что знал, а?

Он всегда так спрашивает, как будто поддеть хочет, подковырнуть, под корень срезать.

– Забыл, да? Не помнишь уже ничего из того, что учил в университете? Да-а-а... Оказалось, что вся твоя наука ни к чему теперь, никому не нужно все, что ты там в свое время в диссертации писал. А государственные, между прочим, деньги шли на это... Ты вот когда-нибудь задумывался над этим, а? Да-а-а... Печально!..

Олег такие вещи вполуха слушает, отвечает, чтобы отвязаться от него. После его ухода дверь закрывает за ним и всегда говорит: «Ну что возьмешь с него: старый скарабей уже. Не нервничай!».

И тут, как только за стол сели, папенька на нее перекинулся.

– А ты тоже, дорогая, забыла, что в институте изучала? Между прочим, это я дал тебе возможность учиться и высшее образование иметь, да. А ты этого не ценишь, да-а-а...

Не забыл свое ремесло: лишний раз вздумал поучить ее уму-разуму! Стал перечислять, сколько всего, оказывается, хорошего он ей в жизни сделал и как она ему должна быть за это благодарна: и вырастил он ее, оказывается, и образование дал – содержал полностью, пока она в институте училась, и замуж выдал – не уточнил, правда, в первый раз или во второй, и денег вложил в нее столько, что она по гроб жизни с ним не расплатится! А она, такая-сякая, неблагодарная, еще и внука, то есть его правнука, против него настраивает, нехорошо говорит о нем все время: дедушка и такой, и сякой, и плохо воспитан, и жадный, и черствый.

Она его не прерывала. Дала высказаться. Надо же человеку излиться. Она просто сидела и, скрестив руки, молча слушала.

– Знаешь, сколько ты мне стоила? Не знаешь? Так посчитай! – сказал он. – Ты еще столько не заработала, сколько от меня получила. И все то, что я в тебя вложил, должна вернуть! Вот так!

Он театральным жестом положил салфетку, которую держал в руке, на стол, показывая, что закончил спич.

– Ты все изложил? – она произнесла это ледяным тоном.

– Не изложил, а сказал! А ты должна прислушиваться к словам отца.

И тут ее прорвало! Она выложила все, что о нем думает на самом деле, без всяких церемоний! Она ему не дала опомниться. Он просто окаменел и рот раскрыл – не ожидал такого. Она ему припомнила все! Она не дала ему ни одного слова вставить. И мать припомнила, и детство свое, и все, что потом было. И в конце концов, откинув назад волосы и устало прикрыв глаза, она сказала:

– Олег, подай ему, пожалуйста, пальто!

Он попытался что-то возразить, начал говорить, что ее кто-то научил, кто-то настраивает специально против него, хочет поссорить.

Тогда она не выдержала, встала и указала ему рукой на дверь:

– Вон из моего дома!..

«Восемьдесят три!» Он так и уйдет из жизни, ничего в ней не поняв. Так и умрет, не узнав, за что его спиной все иронически улыбались, глядя на то, как он перекочевывает от одной бабы к другой. Галина? Ангелина? Только-то? А Тамара? А Вера? А Нина? А Людмила Петровна? А та еще штучка Инна? Да несть им числа! А какая-то Лариса Вячеславовна, к которой он ушел в первый раз, ее, двухлетнего младенца, бросил? Старше его почти на двадцать лет? Даже дедушка с бабушкой испугались, хотя ее мать они никогда не любили, испугались, что он разведется и женится во второй раз – так она его держала. Уговаривали сколько, чтобы он вернулся, что у него ребенок растет, что жена молодая и красивая. Сразу тогда мать стала и красивой, и молодой, и хорошей хозяйкой. А до этого только и делали, что ругали ее. Чуть что, сразу нос материн вспомнят: простить не могли, что такой курносый. А тут сразу притихли и про все забыли. Она, естественно, никогда эту Ларису Вячеславовну не видела, но знала из семейных разговоров, что она работала кассиршей в универмаге и «таскала». Господи, где он их и находил, таких! Похоже, что ему было все равно. А если бы не кассирша, и разговоров, наверное, не было бы. Мать тоже сначала кассиршей работала, когда они познакомились. Это уже потом она курсы закончила. Дедушка с бабушкой успокоиться не могли: считали, что он лучшего достоин!

И он вернулся. Через два года почти. И мать приняла. Действительно, так и было: спали за шкафом с матерью в одной постели. А между делом гулял. И будет у матери настроение хорошее после этого?

С работы придет – его нет: то ли в театре, то ли у бабы; на нее накинется, если она чего-нибудь не сделает, что с утра ей наказали. Не дай Бог, после себя чашку грязную оставит на столе! Еще и накажет ее мать. Она опять надуется: ну да, забыла, ну и что?.. Господи! Вот тебе и елка со светящимися шарами!

Когда он дома, все вроде бы нормально: с утра он репетирует, мать на кухне возится, наготовит всего, деликатесы ему подавай обязательно, чтобы язык отварной с зеленым горошком, холодец, рыбу любил – осетринку, севрюгу. Рубашки всегда отутюженные, костюм с иголочки. Все вроде путем. Матери из Австрии, когда на фестивале ездил, напривозил всего, она хвасталась. А как нет до ночи, тут и начинается...

Ангелина-то это ладно, ерунда. Вертелся с ней несколько месяцев. Мать, конечно, испугалась – годы уже немолодые, замуж сразу не выскочишь, положение уже есть и все прочее...

– Ты уже не спишь, оказывается? – Олег вошел так тихо, что она и не почувствовала и даже вздрогнула.

– Господи! Ты меня почти напугал!

– Я боялся разбудить. С праздником тебя! – он поцеловал ее в щеку. – Ну, заказывай, что будешь на завтрак.

– Ой, да как всегда, – она перевернулась на живот, обхватила подушку. – Почеши спину лучше!

Она, как кошка, любила, когда ей чесали спину: снизу вверх – «барашками» – и потом бока. У нее сразу мурашки пробежали по всему телу.

– Ты же сегодня именинница, должна хотеть чего-то особенного, – сказал он, проводя пальцами между лопатками.

– Хочу только ничего не делать целый день, а надо к матери ехать.

– Так уж и надо!

– Ты что, милый мой! Да если я не буду ездить, там, знаешь, сколько ртов на ее двухкомнатную квартиру появится!.. И кроме того, она тоже считает себя именинницей! – тут же спохватившись, прибавила она.

Ехать к матери не хотелось: придется убирать, готовить что-то. После того как мать зимой сломала ногу и полтора месяца лежала, она бережет себя.

Машин с утра в воскресенье было мало – Ленинградский проспект казался вымершим. Она опустила стекло, включила музыку и с удовольствием откинулась назад, изящно положив руки на руль. Олег не любит машину, ездит по необходимости, а для нее машина – как дитя, с которым надо постоянно возиться: следить, ухаживать, ласкать, чтобы все тип-топ и сверкало.

Машина легко шла по ровному асфальту. Вон уже впереди Лесная – все детство, когда жили на Новослободской, прошло вот тут, за этими домами: взявшись за руки, гуляли с девчонками, кружили целыми вечерами по старым, узким, причудливо петлявшим улочкам, по которым громыхал тогда трамвай, про мальчишек рассказывали, пересмеивались. Теперь уже и не вспомнишь, где что было... Она бросила на мгновение взгляд направо: Белорусский проехал. Отсюда всегда раньше к коке Вере в деревню ездили... И со Светкой один раз тоже к коке поехали... Она решила один раз Светку с собой взять. С сумками потащились на два дня... Светка не хотела: боялась первый раз в деревню ехать – никогда в деревне не была...

Чего это вдруг пришло на память сейчас? Летом было... Жара стояла тридцатиградусная, они купаться и загорать поехали...

От станции долго шли пешком по сухой дороге, от которой за ногами противными клубочками поднималась пыль и тут же оседала на туфлях. Сначала мимо генеральских дач, обнесенных высокими зелеными заборами, с елями и соснами, прятавшимися внутри и прятавшими огромные деревянные дома, а потом через поле, в конце которого темной полоской обозначилась деревня. Она несла тяжелую сумку, полную продуктов: мать всегда передавала коке Вере гречку, копченую

колбасу, тушенку, топленое масло в литровой банке. Они там на все жадно набрасывались, а она только смотрела, как исчезала колбаса и как аппетитно пережевывали черный хлеб, намазанный топленым маслом. «А ты чего?» – спрашивали у нее, кивая на стол. Но ей совсем ничего этого не хотелось: у них дома все всегда было. Она знала, что ее приезда ждут, и Костя, двоюродный брат, сразу полезет в сумку и будет рыться и выкладывать на стол все, что она привезла.

– Дай я помогу! – просила время от времени Света.

– Не надо, я сама, – отмахивалась она.

Светка, худенькая, слабенькая, тоже несла сумку со своими вещами, и, устав с непривычки и от жаркой дороги, и от тяжести, сопела у нее за спиной, и ей было приятно сознавать, что она, как старшая, в ответе за нее.

– Давай, давай, подгребай, не отставай! – она замедлила шаг, чтобы сестра догнала ее.

Деревня была маленькая: десяток домов стоял с одной стороны, десяток – с другой, посередине – широкая, поросшая мелкой травой улица, а в конце – с высоким журавлем общий колодец, из которого ей нравилось носить воду коке.

Ни коки, ни Кости дома не оказалось, и она, отодвинув засов, которым, уходя, закрывали дверь, вошла в сени.

– Заходи! – позвала сестру. – Только обувь снимай, здесь нельзя в обуви.

Света, скинув туфли, босиком прошла за ней в комнату и с любопытством оглядывалась по сторонам, пока она привычно, по-хозяйски расставляла продукты.

– Ой, Ирочка! Миленька моя приехала! – послышался вскоре во дворе голос коки, и она затопала по ступеням. – Миленька моя приехала! – повторила скороговоркой кока, входя. – Миленька моя, хорошенька! – Она проглатывала окончания, и у нее получалось: «миленька, хорошенька».

Кока подошла к ней, обняла, поцеловала.

– Костя сейчас на обед придет, задержался он на работе, – и, обернувшись в сторону Светки, сказала: – Вот, значит, какая у тебя сестра с другой стороны, похожи вы с ней, видно, что одной породы.

Потом пришел Костя, и они обедали: ели теплые постные щи и гречневую кашу с редиской. Света долго сидела над тарелкой с остывшей кашей, катала вилкой шарик редиски, и она пихнула ее под столом ногой, чтобы заставить есть.

– Непривычна к нашей еде! – засмеявшись, сказала кока. – Первый раз, небось, в деревне? Мы не как у вас в Москве, мы по-простому!

Кока и Костя после обеда ушли, а они, взяв купальники и подстилки, отправились на пруд.

Чего это вспомнилось вдруг? Как песня, мотив которой, казалось, забылся навсегда, вдруг совсем неожиданно начинает звучать? Как это вообще происходит в сознании: ни с того ни с сего возникает картина? Ну да, вспоминать начинают, говорят, в старости... Но ведь и причины никакой не было, и вообще никогда в жизни больше не думала об этом, и вдруг...

Она уже ехала по Тверской, где раньше было много старых домов со множеством маленьких интересных магазинчиков, в которых вкусно пахло сладостями, фруктами, свежими булочками и пряниками, куда они любили ходить просто так, чтобы поглазеть, а Светка обязательно канючила: давай вот это купим!.. И она, как старшая, строго говорила тоном матери: «Света, перестань!».

Ну да, потом этот пруд был...

После прохладной воды они улеглись на подстилки в сторонке, подальше от дачников, которые расположились у самой воды, и смотрели в небо, голубое, чистое, без единого облачка. И только над самыми их головами стояла в воздухе и трепетала крылышками птичка.

- Смотри, что это за птичка? – ткнула пальцем вверх Светка.
- Жаворонок, – сказала она.
- Ты откуда знаешь?
- Знаю.

Светка замолчала, потому что старшая сестра была для нее авторитет.

И тут подъехала машина с этими подонками. Трое мужиков и три бабы. Выскочили из кузова, с громким хохотом побежали к воде и там, разделившись на парочки, бултыхались, подняв муть со дна, брызгались и лапали друг дружку под водой; мужики заходили сзади и обхватывали крупногрудых баб обеими руками, а бабы визжали от удовольствия. Потом вылезли и побежали за машину. Из-под кузова видны были только их ноги, которые то сходились, то расходились, и опять слышались взрывы хохота. Потом бабы вышли, хохоча, из-за машины, и было видно, как с другой стороны льются струйки мочи.

Они со Светкой сначала смотрели во все глаза, а когда полилась моча, стало совсем противно, и они отвернулись. Уходить не хотелось – хотелось долго еще лежать под палящим солнцем, положив на носы листики подорожника, чтобы носы не сгорели, и ни о чем не думать.

– Когда же они уберутся? – сказала Светка.

– Похоже, долго еще будет, – безнадежно ответила она. – Смотри, бутылки вытаскивают!

Мужики уже вышли из-за машины, принесли бутылки с пивом, поставили их на землю и поочередно срывали пробки, а бабы, тут же взяв по одной и запрокинув головы, пили, обливаясь шипучей белой пеной, которая стекала вниз, к купальникам. И снова все хохотали до упаду, брызгали друг в друга пеной, которая пузырилась из бутылок, а потом с хохотом побежали опять к воде.

Когда, наконец, машина, навопяв газом и скрываясь за огромным столбом пыли, укатила в сторону города, настроения лежать уже не было.

– Давай складываться! – сказала она сестре, поднимаясь.

Они скатали подстилки и вяло побрели обратно.

Вечером она собралась на танцы в соседний санаторий – она всегда, когда приезжала к коке, ходила туда с деревенскими. Там танцевали до одиннадцати вечера со взрослыми парнями, с кем-нибудь из санаторских, и ей нравилось слушать, что во время танца шептали ей в ухо горячие губы, и нравилось, как смотрели на ее открытую большим вырезом майки шею. А потом возвращались в совершенной темноте, и кто-нибудь из деревенских ребят несмело брал ее под руку, чтобы ей не страшно было, и она чувствовала, как рука дрожит. Все это она потом вспоминала с удовольствием: она знала, что всегда была самая красивая, и все парни – она тоже это знала – хотели с ней танцевать.

– Ты пойдешь? – спросила она Светку, видя, что та просто стоит и смотрит, как она взбивает перед зеркалом волосы, одергивает темно-синюю майку, которую отец недавно привез из Австрии и которая ей так идет, и придирчиво осматривает себя со всех сторон.

– Не-а.

– А что делать будешь? – спросила просто так, для приличия, на самом деле ей вовсе не хотелось, чтобы Светка шла на танцы: ну кто там будет танцевать с этой малявкой? А потом еще и домой с ней возвращаться и думать о ней, а не чувствовать, как прижимают твою руку в темноте. – Кости не будет сегодня, а кока Вера рано ложится.

– Тоже спать буду.

– Ну ладно, стели тогда здесь, – кивнула она на кровать с высокой периной, накрытую ситцевым цветастым покрывалом, – это для нас: мы на одной спать будем, уместимся.

Когда она вернулась и, на ощупь отыскав в душной темноте, от которой тело сразу стало ватным, кровать, нырнула под одеяло, Светка сонно спросила:

- Ты чего так долго?
- С парнями стояли потом, трепались на улице. А ты чего не спишь?
- Тебя жду.

Она обняла сестру:

- Давай спи!
- Я пережарилась, по-моему, – жалобно сказала Светка.

Она потрогала ее спину: кожа явно горела.

- Подожди, смажем.

Встала, пробралась так же, на ощупь, в сени, отыскала ведро с холодной водой, куда ставили банку с топленным маслом, подцепила указательным пальцем кусочек масла, вернулась в комнату.

- Поворачивайся спиной!

Светка покорно подставила спину.

- Больно, – пискнула, когда она прикоснулась рукой.
- Потерпи, пройдет!

Она тщательно намазала сестрину спину маслом.

- Ну вот, теперь спи!

Подтолкнула Светку поближе к стене, чтобы освободить место для себя с краю, обняла рукой поверх одеяла, повторила еще раз:

- Спи, Семицветик!

Зачем они лезут в голову, все эти воспоминания? Не вспоминает она никогда ничего – нечего всякие ненужные сантименты разводить. Выбросила она давно все это из головы. Светка... Нет Светки больше в ее жизни. Женщина какая-то по имени Светлана иногда зачем-то звонит... Зачем звонит – непонятно...

Она досадливо свернула с Тверской в сторону Ленинского проспекта: мимо Моховой, мимо Ленинки, по Большому Каменному к Октябрьской... И вообще все от нее чего-то хотят! Мать вечно ноет теперь! Считает себя именинницей! Ее родила в свое время, геройский поступок, видите ли, совершила! Ну да! Всем рассказывает, какая она оказалась великолепная мать. Не слышала она как будто эту историю про свое рождение! Всем всегда мамаша говорит одно и то же:

– Я думала: рожу и завтра же на танцы опять побегу! А когда Ирку принесли кормить, поняла: больше никуда не побегу.

С отцом и познакомились на танцах: отец с артистами приехал выступать в клубе, мать его сразу углядела для себя – его невозможно было не углядеть, он сразу выделялся и ростом, и внешностью, все девушки на него смотрели. Мать, конечно, тоже была ничего: и фигура точеная, и кожа на лице белая-белая, фарфоровая прямо. Но зевать все равно нельзя. Танцы начались – мать оказалась рядом на весь вечер. Вот и вся история. Так вот она и родилась, безо всякого героизма особого. Папаша мальчика, конечно, ждал; пока с матерью жил, только и разговоров было на эту тему – она все детство ущербность свою ощущала, а мать почему-то потом не могла больше родить. И потом появилась та, которая родила папаше мальчика. И он, разумеется, ушел. Все банально. И ее с собой забрал. Вернее, не он, а та, другая... Этого вспоминать она не будет... Тетя Таня, Светкина мать, один раз сказала: «Из тебя сделали бесплатную домработницу, чтобы Юру нянчить». Она не простила именно потому, что это была правда.

Она подъехала к дому, где жила мать, запарковала машину, поднялась на лифте на пятый этаж, открыла дверь своим ключом.

Мамаша вышла на звук в прихожую:

- Это ты?

– Это я, – всего лишь сказала она.

Мамаша остановилась в дверях, не пошла дальше, спросила только:

– Быстро доехала?

– Да. Пусто сейчас.

Много они никогда не разговаривали.

Она прошла в кухню, поставила сумку, которую привезла с собой, позвала мать:

– Разберись сама!

Мамаша, прихрамывая, пришла, стала возиться, выкладывала все, что было в сумке, на стол.

Она, глядя на ее спину с опущенными плечами, подумала: да, постарела все-таки мать здорово. Ничего, не надо давать ей расслабляться! На самом деле ее мать все еще молодцом держится, хотя и ноет постоянно. Вслух произнесла:

– Гулять сейчас пойдем, так что собирайся!

«Гулять» означало просто идти рядом и держать руку так, чтобы мамаше было удобно на нее опираться. Они почти не разговаривали, каждый думал о своем. Рука матери холодно лежала на ее согнутом локте, и она только время от времени чувствовала нажатие этой чужой части тела, когда на дороге попадалась неровность.

В общем-то, теплоты никогда между ними не было. Она всегда знала, что мать требовала, и эти требования нужно было выполнять: нужно было убрать в комнате к ее приходу, вымыть посуду, сделать уроки. И вообще никогда нельзя было сказать ничего против. В конце концов, это, видимо, надоело. И папаше, разумеется, надоело под окнами на морозе торчать. Подобные семейные проблемы решают, наверное, по-другому: или разводись, или терпи. У кого мужики не «гуляют»? Ее папаша сделал все по-тихому. Вернее, Алиса Игнатьевна: она сделала то, чего папаша больше всего желал в этой жизни – родила ему сына. И папаша ушел. И ее с собой забрал. К Алисе Игнатьевне. Просто один раз они уложили два больших чемодана с вещами и перебрались к ней навсегда. А мамаша осталась тогда со своей вымытой посудой. Да, Юру нянчила у Алисы она, она ему всегда как мама была – почти девятнадцать лет разницы: пеленала, подгузники стирала, спать укладывала, да. Алик – она ее так называла всегда – была вечно занята, вечно на репетициях. Зато именно благодаря Алик она всегда на любую премьеру попадала и в Большом на любых гастролях в ложе сидела. И вообще Алик много чего хорошего для нее сделала. Ну, актрисы, как Алиса обещала, из нее не получилось, но на вечерний ее все-таки устроили. Совсем не в тот институт, куда она хотела, но все равно. А у матери – что? Убрать да вымыть. Нечего пенять на них, сама виновата, больше никто. Умнее надо быть. А что родная дочь бросила, значит, не надо было перегибать палку – она не простила матери того, что всегда была в подчинении. Ничего, наладила тогда мамаша свою жизнь снова: и замуж вышла, и место администратора в гостинице получила. Жаловаться нечего. Второй муж хозяйственный попался: все в дом таскал – то, что ее матери всегда и нужно было. Она, конечно, пригласила мать на свою свадьбу. И в общем, даже какие-то контакты у них время от времени стали возникать потом.

А теперь вот она водит ее гулять.

Все это было сегодня, седьмого июля, только ровно год назад.

Ну, было и было.

Она к Оле не ездит, но знает, что Оля воспитывает девочку. Девочка здоровая, веселая, так что все путем у Оли.

О Евгении Александровиче она слышать не желает вообще. И как только Оля начинает что-то рассказывать про него по телефону, она тут же обрывает:

– Оля, я повешу трубку!

Мать более-менее. Расслабляться она ей не дает, в форме держит. Ездит к ней время от времени, на дачу перевезла недавно, на воздух, к врачам водит, когда та придумывает очередную болезнь – врачи любят больных с выдуманными болезнями: всегда потом можно сказать, что вылечил, поднять свой рейтинг. Квартиру матери переписали наконец на нее, так что тут все в порядке. Родственники – а у матери их навалом – тут же отстали, никто больше не претендует на роль сиделки при ее мамаше. Родственников лучше всего приглашать раз в год по большим праздникам, какие бы близкие они ни были – она ни с кем ничем делиться не намерена.

Папаше звонить она больше не собирается. После таких безобразных выходов в ее доме его нужно как следует проучить.

Олег при деле – деньги зарабатывает.

Юра? Где Юра, любимый сын своего папы? Существует где-то. Куда-то, кажется, с семьей уехал на год, в какой-то театр устроился. И с какой семьей, непонятно, если вторую жену два раза бросал, а в промежутке другие были, которых тоже называл женами и от которых тоже дети появлялись... Сколько, кстати, у него детей? А кто его знает. Ее это меньше всего волнует. Это все внуки папаши. Он так все и рассказывает: «Мои внуки – это прежде всего дети моего сына!».

Пусть все живут как хотят. Ей до них абсолютно никакого дела нет. У нее в жизни все путем. Все так, как надо.

Сейчас она шла по Новому Арбату и напряженно соображала, что еще нужно докупить для поездки.

ЗАВТРА

она уезжает отдыхать.

Главное – совсем оторваться, как будто нигде не существует больше твоего дома. Перелететь в другой мир и на время забыть о существовании старого. Именно перелететь – тогда сразу все само собой отбрасывается и забывается. И больше не думать об этой их даче, куда нужно возить то Виталика, то мать, о работе, куда нужно ходить, чтобы обеспечивать себе жизненное существование. Работа – удовольствие? Ах да, это она услышала как-то. Между прочим, не так давно – Светлана сказала тогда. Детские разговоры какие-то! Господи, сохраняют же люди иллюзии! У каждого свой взгляд, разумеется. Она не собирается устраивать дискуссию на эту тему и навязывать свое мнение. Для нее работа – это средство для добывания денег. Нравится – не нравится, какая разница? Это – инструмент, с помощью которого она может вести определенный образ жизни: иметь нормальное жилье, а не квартиру в бомжатнике на окраине, одеваться в соответствии с принятым стилем, тратить регулярно на развлечения, тоже на те, что сейчас в моде, и хоть раз в году прилично отдыхать. Нужно проще смотреть на жизнь, а не строить воздушные замки. Сейчас она думает только о том, чтобы побыть в красивом месте и полностью расслабиться. Конечно, она не может позволить себе такого, как дочь, – ездить на фешенебельные курорты. У нее запросы куда более скромные, например, всего лишь Крит, куда она ездила в прошлом году. А чем плохо, собственно? Ласковое море, вечером уютный ресторан с вкусной едой и легким вином. Посидеть где-нибудь за столиком в узкой старинной улочке, зажатой между домами, послушать их песни:

*Где то время,
Которое мы разделяли с другими...*

Кажется, что-то такое она слышала. А может, это не там было?.. В спешке все в голове путается... Где же это было?.. Ах да, это в том английском фильме. По-английски пели, потому она и поняла слова:

*Где те,
С которыми мы его разделяли...*

Недавно шел по телевизору. Бытовой такой, без затей. Конец хороший был: подпрыгивающий на неровной дороге, теряющийся за поворотами и опять вынырывающий грузовичок с каким-то скарбом и привязанная к этому скарбу собака, которая старалась удержать равновесие и недоуменно глядела по сторонам.

*И не были ли дни эти
Лучшими днями нашей жизни...*

Господи, привязались слова... Неважно, в конце концов... Люди везде любят заунывно-грустное – видимо, потому, что это создает уют...

Можно и не есть, а просто выпить холодного пива, которое принесут в высоком бокале в виде сапога. Чем, собственно, плохо? Олег рядом? Хорошо, что Олег, а не первый ее муж, от которого она когда-то, слава Богу, избавилась. С Олегом они тоже уже давно ни о чем не говорят, ничего не обсуждают – просто бросают реплики время от времени. А зачем вообще разговаривать? Ей не надо ни о чем говорить – просто сидеть и чувствовать, что вокруг нее хорошо...

Она все-таки зайдет в универмаг – еще один купальник, пожалуй, не помешает, да и майку какую-нибудь лишнюю можно присмотреть... Ну что за народ! Улица, что ли, тесная?!

Она не поняла, что произошло: просто на нее налетели, чуть не сбив с ног, обхватили, куда-то развернули, или повернули, или закружили, так что дома вздыбились, раскололись, полетели вверх тормашками, и на щеке она почувствовала поцелуй.

– Ирка!

Она узнала только голос.

Голос она узнала бы всегда...

Ей радостно заглядывали в глаза и смеялись:

– Смотрю и не верю: неужели это ты идешь мне навстречу? Ирка, неужели это ты?!

Она наконец пришла в себя от неожиданности:

– Господи! С того света, что ли?! Дай хоть разглядеть тебя сначала!

Она уже высвободилась из его рук и смотрела на высокого, крупного мужчину в хорошем костюме и в хорошей рубашке с галстуком, мужчину, который так неожиданно возник из небытия, улыбался ей широко и сразу загородил собой все, что кишело вокруг.

– Я бы тебя не узнала! – она наконец улыбнулась ему навстречу.

И тут он оторвал ее от земли и куда-то за собой потянул, повлек, потащил... нет, понес на руках, на ковре-самолете ... куда-то совсем не в ту сторону...

– Куда ты меня тащишь? – смеялась она, ничего не соображая, налетая на прохожих, отпихиваясь от их натиска рукой, еле поспевая за ним.

– Куда-нибудь! Мы же должны где-то посидеть?

Он оглядывался на нее, улыбался и, не выпуская ее руки, подчиняя ее полностью своей воле, тянул за собой.

– Заказываю я, а ты только будешь есть! – сказал он, как только они уселись за столик перед ресторанчиком в каком-то арбатском переулке и официантка положила перед ними меню.

– Но я совсем не хочу есть!

– Я выражаюсь фигурально: ты будешь сидеть, что-то пить, что-то жевать и разговаривать со мной. И мы не будем выяснять, есть ли у нас время или у нас его нет: мы будем просто вместе сидеть, да? Время может ждать... Иногда может, – добавил он и открыл меню.

Они все всё за нее решили.

Как-то само собой получилось, что он, то есть ее будущий муж, муж номер один, сделал так называемое предложение, и она согласилась. Это уже было predetermined – кем? всеми – и отказа не предполагалось.

Им всем почему-то хотелось спихнуть ее поскорее замуж. Нет, он был даже импозантный мужчина, представительный, с положением, опытный, намного старше ее, любивший поесть и поспать, следивший за собой и за своим желудком и разговаривавший со всеми с некоторой долей пренебрежения: всегда растягивал слова, как будто одолжение делал, с высоты своего величия смотрел. Но главное – они сразу уехали. На два года. В то-то время! Как ей завидовали! Ну, конечно, и правильно, она сделала тут же аборт. Как же он был ей противен! Она прямо готова была зажать нос, когда он к ней приближался, и просто лежала как бревно. Не хватало еще ребенка от него заиметь! И не простила ему именно этого – что он ее на самом деле купил. В дополнение к своей персоне: он – и рядом красивая молодая жена, которую не стыдно показать в обществе. Именно так, ведь прекрасно знал, что она выходит за него не любя. И когда они вернулись через два года, она тут же постаралась освободиться от него. Он еще права качал, развод не давал, шантажировал, родственников обзванивал, жаловался, рассказывал всякие небылицы про нее, чтобы все ахали, его жалели! Но она ему отплатила – она ему все выезды закрыла за это. Еще и пригрозила: попробуй только сделать что-нибудь мне или моим родственникам!.. Сколько же она не могла прийти в себя после этого! Никак не могла почувствовать, что наконец отдохнула от семейной жизни. А потом вот решила за Олега выйти... По работе пересеклись как-то...

– Нет уж! Сначала ты. И вообще женщина, как известно, всегда загадка.

Он засмеялся:

– Ладно. Но у меня, собственно, все обычно. Секретов нет: сначала МГИМО – ты ведь, наверное, помнишь, что я поступил тогда, потом женитьба, заграница, дети. Все! Теперь дети выросли, своя жизнь у всех... Нет! Обо мне не стоит, все банально, все – как у всех, ты лучше расскажи о себе! Как у тебя?

– А за границей ты долго жил? – оставляя его вопрос без ответа, продолжала она.

– Да практически все время. Приезжал, конечно. Два-три года – и опять. Сначала Япония, потом в Индии сидел в нашем консульстве пять лет. Недавно из Швеции вернулся... Дом под Москвой построил, в основном там живу. Работа – деньги, деньги – работа... Нет, ну как я тебя углядел в этой толпе! – добавил он радостно, перебивая сам себя. – Ведь столько народу идет навстречу, и сразу узнать тебя!

Официантка принесла шампанское, открыла, налила, одарила их им одним предназначенной улыбкой – обучили наконец, как это надо делать, – и отошла к соседнему столику.

Она подняла бокал:

– Шампанское люблю! – сказала она, осторожно, чтобы не оставить следов губной помады на стенках бокала, отпивая сразу же маленький глоток. – Неприлично, конечно, так поступать, но это моя слабость!.. Давай за встречу! Встретились мы все-таки, хотя маловероятно было...

Бокалы звякнули друг о друга и разошлись.

Она медленно пила, опустив глаза, а он выжидательно смотрел на нее. Наконец она поставила бокал и молча взглянула на него.

– Ну, как ты?.. – он повторил свой вопрос и сделал паузу, чтобы повесить его в воздухе.

– Что, собственно, обо мне?.. – она снова опустила глаза в недопитое шампанское. – Все, наверное, то же самое: муж, ребенок, работа... У меня дочь... Взрослая, тоже уже дети. У меня все рано получилось, и у нее тоже... Кажется, все путем!..

Она подняла глаза, усмехнулась:

– У всех всегда все бывает одинаковым, ты не находишь?

Ну да, все так и произошло. Мать вошла в комнату, где они сидели, и тут же бросилась срывать то безобразие, которое она развесила на спинках кресел, на диване. Ох и задала потом ей мать! «Как ты могла! Как тебе не стыдно! Какую я дочь воспитала! Что он о тебе – о нас! – подумает! Приличий не понимаешь!». Прекрасно понимала! Именно потому и развесила!

Светка у них гостила – на зимние каникулы приехала. Ее брюки перед зеркалом примеряла: ей только что в ателье сшили, темно-синие, из хорошей шерсти, никто еще и не ходил в таких по Москве. У Светки слюни текли. И так, и эдак перед зеркалом поворачивалась, со всех сторон себя разглядывала.

– Все, Светик, заканчивай примерку, скоро придет.

– Может, у них ничего и не было? – оторвалась от зеркала Светка.

– Как это не было?! – возмутилась она. – В три часа ночи домой вернулся, родители его разыскивали, мне звонили: где Дима?!

– Но ведь Любка твоя подруга!

– Гуржанская?! Моя подруга?! Ты что! Да она мне всю жизнь завидует!

– Все равно она не могла так поступить! – настаивала Светка.

– А где тогда он был? По улицам гулял, что ли? В мороз двадцатиградусный? Мы закончили справлять мой день рождения в одиннадцать, и он пошел провожать Гуржанскую. И где же он был до трех, по-твоему?

– Ну, мало ли где... Может, они вдвоем и гуляли, но ничего на самом деле и не было, – наивно настаивала Светка.

– С Гуржанской – чтобы ничего не было?!

Она до того возмутилась, что Светка, наконец, замолчала и стала медленно вылезать из штанин.

– Зачем тогда придет, не понимаю, – как бы про себя недовольно пробурчала она.

– Мириться! Что тут понимать! Говорит, он не виноват, Любка, говорит, домой идти не хотела, все гулять ее несло...

Она прошлась по комнате, явно что-то замышляя. Светка, освободив уже одну ногу, остановилась на полпути и следила за ней глазами.

– Переодевайся! – поторопила она опять сестру. – Я сейчас кое-что придумаю, пожалуй!

– А Любка что говорит? – поворачиваясь к ней спиной и путаясь в брючинах, спросила Светка.

– Гуржанская все отрицает, разумеется. Но я точно знаю, что они целовались всю ночь!

– Может, он и не виноват, если она к нему сама лезла, – вздохнула Светка, складывая наконец штаны. – Тогда ты его простить должна!

– Я?! Простить?! Никогда!

Она кинула взгляд в угол, где лежало на стуле только что выстиранное, но еще не выглаженное белье.

– Придумала! Бери и везде развешивай! – Она схватила большой клубок отцовских носков, которые мать собиралась штопать и который отложила отдельно, и протянула Светке: – На!

– Куда развешивать? – не поняла Светка.

– На стулья, на кресла, на спинку дивана, – везде развешивай!

– Так ведь... он же придет, Дима...

– Вот потому и развешивай! Я его сейчас отсюда в два счета выставлю! Сразу дорогу забудет!

И она стала вынимать из кучи и разносить по комнате трусы, майки, бюстгалтеры.

– Может, не надо? – попросила Светка, держа клубок с носками и не двигаясь.

– Я боюсь!

– Чего боишься? – не поняла она.

– Мама твоей боюсь: вдруг войдет...

– Не дури, давай быстрее, мы ее отвлечем, если что...

– Если ты с ним решила порвать, зачем тогда придет? Тогда бы сразу ему все и сказала, – нехотя подчиняясь ей, не унималась Светка.

– Сказать? Нет уж! Я должна выставить его отсюда раз и навсегда! Чтобы он почувствовал!

Разложили аккуратно, всё на виду: лифчики – чашечками, носки – дырками. Закончили минута в минуту.

– Сиди! И никуда не уходи! – приказала она Светке, услышав звонок в прихожей.

– Только бы мать раньше не вошла, а то все тут же уберет! – добавила она, выбегающая в коридор.

Но, к счастью, мать в тот момент возилась на кухне, и ей было не до того, что происходило в комнате.

Его посадили на стул, который они специально поставили в центре, лицом к интерьеру. Комнату осветили всеми лампами, сами выжидательно сели на диван, напротив гостя: смотреть, какой эффект произвело. Он делал вид, что даже внимания не обратил, смотрел только на нее, по Светке глазами скользнул один раз всего, но она-то прекрасно знала, что это только игра, что все он прекрасно заметил и на самом деле сидел на стуле как на угольях и не знал, куда себя деть. И в душе ликовала: посмотри, посмотри, как я тебя теперь принимаю! Целовался с Гуржанской в подворотне? – Получай!

Мамаша вошла в середине этого ослепительного приема, когда они втроем вели холодную светскую беседу, бросая друг другу ничего не значащие реплики, от неожиданности увиденного на мгновение застыла на пороге и тут же бросилась спасать свою репутацию: срывала белье и, комкая его наспех, извинялась. Но видно было, что ему от этого стало легче, он что-то сказал матери, мать ответила, обстановка немного разрядилась, мать даже чаю предложила, но он сказал, что спешит, поблагодарил, встал, попрощался, мать пошла закрывать дверь, а она не пошла, только холодно сказала: «До свидания!». И даже не подошла к нему, а просто встала с дивана, а дальше не двинулась.

С Гуржанской она больше не разговаривала до самого окончания школы – они закончили школу в тот же год. Потом папенька ушел от них, к Алисе, и она с ним ушла; жизнь переменилась; с тех самых пор они никогда больше не встречались... Все забылось, и, как всегда, у нее, никогда больше не вспоминалось – ушло в виртуальный мир, не найти было...

– Все-таки как ты меня узнал, не понимаю! Дай Бог памяти, сколько лет-то уже прошло? Больше тридцати ведь!

– Тридцать пять! – все так же улыбаясь ей, уточнил он.

– Мы тут праздновали как-то встречу в конце января в бывшей школе – решили собраться, что-то вроде юбилея устроили, – она уже, кажется, немного пришла в себя и могла говорить. – Я только ради интереса пошла, конечно: кого там встретить теперь? Но один раз сходить можно – любопытно все-таки бывает посмотреть, из кого что получилось в жизни. Представляешь, никто никого не узнавал! Подходили друг к другу и просили: назови свою фамилию. Ужас! Поседели, облысели, растолстели...

Он засмеялся:

– А вот ты все такая же!

– Ну да уж! Это уже, прямо скажем, nepозволительный комплимент! – она засмеялась и сощурила глаза, отчего они превратились почти в щелочки, которые расходились к вискам. Она давно стала щуриться, когда улыбалась, решив однажды, что это очень ей идет.

Все всегда говорили, что глаза у нее удивительные: они могли быть карими, чуть светлее, чем цвет ее волос, или серыми, или зеленоватыми. И иногда начинали чуть-чуть косить... И тогда она смотрела глазами *моей косой мадонны*... Так все говорили. Поэтому она это знала и надевала именно ту кофточку, которая бы их высвечивала.

Они познакомились на вечере в их школе – такой школьный бал был. То ли специально балы устраивали, чтобы знакомиться? Она заранее долго готовилась: сказали, что выпускной класс мог приглашать гостей. Все девочки ждали, что придут новые молодые люди и что можно будет с кем-нибудь познакомиться. На своих мальчиков давно никто внимания не обращал: все известно о них и потому скучно. А тут – новое, значит, неизвестное, значит, интересное. Каждая носилась с идеей, в чем прийти: только и разговоров было про то, что теперь модно, кто что носит, какие платья у актрис в фильмах и в наших, и в заграничных, и сколько платьев было на Элизабет Тейлор в последнем фильме. Но что шилось к вечеру, держалось в абсолютной тайне.

На ней были черные лодочки на небольшом каблучке и платье из репса с вырезом, который приоткрывал шею, и воротником-хомутиком – такие воротники только входили в моду. Платье сшила ей Светкина мама, тетя Таня. Оно удивительно ей шло еще и потому, что делало ее глаза темными до синевы, глубокими, и подчеркивало белизну кожи.

Тетя Таня долго любовалась ею в этом платье и повторяла: «Ирочка, а теперь вот так повернись... А теперь пройдишь вот туда... Встань на минутку здесь, дай поправлю!.. Выпрямись, голову немного назад откинь...». Тетя Таня ходила кругами вокруг нее, одергивала, приглаживала, перемещала складочки, смотрела издали, опять поправляла. Она послушно поворачивалась, делала то, что ей говорили, и представляла себе, как она будет выглядеть на вечере. «Ну, я тебе скажу, там с тобой никто не сравнится! – удовлетворенно заключила наконец тетя Таня, вынимая изо рта булавки. – Ты будешь царица бала!» Она аккуратно завернула платье, протянула ей и сказала: «Потом позвони, расскажи, как было... И осторожно вези, чтобы не измять!» – крикнула вдогонку, когда она спускалась уже по лестнице.

Но она бережно довезла драгоценность до дома; дома еще много раз примеряла, и мать охала и ахала и звонила тете, чтобы поблагодарить. «Какая ты молодец! Ведь ни в каком ателье так не сошьют! – слышалось из коридора, где стоял телефон. – Ирка там одна такая будет!»

Сейчас поиск в огромном компьютерном пространстве ее памяти обнаружил этот давно ушедший файл...

– Ну, за что мы выпьем *теперь*? – он подчеркнул слово *теперь* и смотрел на нее с восхищением.

Начиналась зима, очень поздняя в том году, и по асфальту легко неслась им навстречу и кружила поземка. После вечера она так и не переодела туфли – не хотелось влезать в неудобные, на низкой подошве ботинки – и теперь ногам было холодно, кожаная подошва скользила, и она шла, боясь упасть. Он взял ее под руку, и ей сразу стало очень уютно от его прикосновения.

Они подошли к ее дому, выходящему фасадом на руины храма, разрушенного еще до войны. Огороженные теперь деревянным забором останки напоминали свалку; забор обходили стороной, никто старался к нему не приближаться: совершилось когда-то здесь, говорили, нехорошее, противолюдское. Все это стояло огромной бесформенной глыбой и в темноте еще больше пугало.

Они остановились у ее подъезда. Дом уже спал: свет горел только в нескольких окнах, да над парадным лампочка тускло освещала номера квартир. В их окнах на первом этаже тоже было темно: то ли отец, как всегда, отсутствовал, то ли оба, и отец и мать, уже улеглись, не дождавшись ее.

Они не знали, как поговорить, и все медлили, и о чем-то говорили, вспоминали вечер, и смеялись шепотом, чтобы не слышно было. И каждый раз, когда смеялись, она шуточно прикладывала палец к губам и делала устрашающие глаза, и от этого смеялись еще больше... И потом – как это случилось? – ее рука была в его, и он поднес ее руку ладонью кверху и поцеловал... И потом прижал к щеке... Кожа была холодная сверху, а под ней – она сразу почувствовала – щека была очень горячая. И потом ее вторая рука оказалась у него на плече, потянулась вверх, и обе ее руки легли ему на плечи... И потом были его губы, и ее раскрылись навстречу им...

Он наполнил бокалы:

– У тебя нет желаний?

Она засмеялась, опять сощурилась:

– Желания нужно оставлять в молодости.

– Я не знал... Я почему-то думал, что их можно пронести через всю жизнь...

– И никогда не осуществить?

– Это ведь, в конце концов, не самое важное.

Он вдруг опустил обе ладони на ее изящные руки, и она почувствовала, какие они у него мягкие и теплые...

Она смотрела перед собой, куда-то на поверхность стола, и постаралась улыбнуться. В уголке рта с одной стороны у нее появилась складочка, которая слегка дрожала, и она никак не могла с этим справиться. Он ласково называл эту складочку *усямочка*... Он назвал ее так в тот первый вечер, когда они стояли у подъезда, а вокруг мелкими веретёнцами заплеталась метель... Дотронулся тогда в темноте пальцами до ее лица и сказал: «У тебя с одной стороны не ямочка, а усямочка, ты знаешь об этом?».

Она вжала оба средних пальца рук изо всех сил в стол, чтобы унять дрожь. Заем он лезет в ту часть ее *тела*, которая называется *душа*?

Официантка принесла поднос и стала расставлять еду.

Гренобль – Хельсинки, редакция 2007 года

ДВА РАССКАЗА

Прыщик

Соню в институт не взяли. То есть за деньги-то брали, а бесплатно – увы. Денег у семьи не было, и она пошла в пэтэуху на закройщицу. А ей уж хотелось замуж. Начала бродить восточинка в ее крови, и пошло раннее созревание.

Насчет переспать все девки нынче яблочки раннего сорта, а ей – замуж. Дед у Сони был айсор-сапожник, и оттого Соня черненькая, кудрявая, с изящным, но длинноватым носиком, даже и с горбинкой. Её за такой носик звали и считали жидовкой. Имя подтверждало подозрения, и Соня уже пеняла родителям за неудачный выбор.

Но и сама Соня выбрала пэтэуху неудачно. У них была только одна группа, куда шли парни. И ловить жениха было трудно. Да и парнишки там были не очень – из них кто неосознанно, а кто, наверное, с прямым расчетом робко чалился поближе к девкам, и швейное училище было как раз в тему.

А Соне надо было идти туда, где учат все больше на электриков да плотников, а мужской пролетариат это дело любит. Соня, конечно, в плотники не собиралась, но был там и бухучет, а это уже теплее.

До того заведения нужно было ехать с пересадкой, и Соня, дура, убоялась длинной дороги. Но поправить еще не поздно, и Соня, повзрослевшая стремительно, подумала летом переиграть увертюру своей судьбы: жизнь ей, она уже поняла, предстоит ковать своими слабыми руками.

Она вообще тихо, но быстро созревала.

Посмотрите, почувствуйте, как ранней весной деревья готовятся к лету и теплу. Солнце еще только слегка поворачивает на весну, капель с крыш разучивает гаммы, и морозит еще по-зимнему, но березы уже что-то ощущают. Елям все равно, и они стоят как монахи, а вот другие деревья, кому предстоит гнать из почек листья, уже что-то понимают, и тайное тепло поднимается снизу вверх.

У деревьев – от корней, а у юного человечка – от лобка, где делается горячо.

Подушка тоже горячая, белая бессонница полна мучительным волнением, и даже маневровый электровозик со станции погуживает так пронзительно, словно и он почувал весну. И чумазые от нефти бока железных цистерн остро пахнут, как самки во время течки.

Одним словом, плохо дело.

Соне приснился стыдный сон. Она делала все-все-все, что увидела вечером на сайте. Надо поставить пароль, хотя отруби даже включать компьютер не умеют, но все-таки.

Пошла вынести ведро до помойки. «Ведро-бедро», пропищал в ней голосок.

Было еще утро, но козлы на детской площадке уже собрались все, играли в карты. Главный – потому что красивый – козелок крутился на карусели точно с такой скоростью, чтобы успеть к своей очереди бросить карту на обитый жестью стол.

Если бы не алюминиевое железо, взрослые придурки давно бы раздолбали своими доминошками этот стол, облитый пивом, с прилипшими намертво чешуйками и косточками от воблы.

Голуби ворковали, толстый сизый взгромоздился на голубицу и, клювом деликатно придерживая за шиворот, всей своей тушкой издавал звуки страсти, деликатно при этом прикрыв хвостом рабочую область совокупления. Парни, шлепая картами, громко одобряли это дело, рассматривая идущую мимо Соньку.

– В тему! – заорал парень со своей карусели и вlepил туза козырного. Победа и выигрыш.

Во двор вбегает радостная девка из параллельной группы, Сонька ее знает и дружит.

– «Положительная!», – закричала девка Светка, улыбаясь парням. Ее погнали сдать анализ на ВИЧ, и вот она, дура тупая, радовалась положительному – хорошему, значит, – тесту.

Красивый парнишка слез с своей карусели и пиво допивать не стал, а побрел домой на разом ослабевших ногах.

Неделю, что ли, назад они со Светкой перепихнулись по-скоренькому в гараже и уговорились дальше дружить, да все времени не хватало. И вот теперь ему тоже надо на анализ, и что он покажет, еще неизвестно.

А играли парни не на пиво – на Соньку, последнюю неувещленную деваху, и красавчик опять выиграл. Но теперь раздумал. Пролетело, Сонька так и не узнала никогда, что, мимо нее. У красавчика, который не нравился своими кудрями и нахальным взором, тест тоже был положительный.

Весь Сонин район Лихой Бугор стоял наособицу, занимая излуку бывшей реки, которую поедал жадный город, а остатки допивали вёклы, ивы – да не пойми чего падали на русло, и по стволам можно было ползать с берега на берег. На той стороне – Сукино Болото, застроенное промзоной. Когда настали времена новые, в которые Сонька и появилась на свет, еще до появления Макдоналдса земля эта стала из заброшенной, проклятой – землей золотой. Туда проложили новенькую дорогу, и с красивым баритонным рыком шли важные грузовики, длинные, как поезд, с громадными не по-русски надписями, читать которые замирало сердце, так Соне хотелось попасть в дальние края.

Взрослые говорили, что там была частная чья-то «таможная», а чья – знать не полагалось. Да Соне и неинтересно.

Под стук домино и мать-перемать много чего можно услышать, если не тыриться слишком близко, а крутиться на ножке и притворяться совсем маленькой и глупой.

А на горизонте и из-за него высылся тяжелым чудищем комбинат. В темноте большой, лохматый, весь в космах дыма и пара, на закате насквозь, через большие окна цехов, багровел золотыми лучами заката, и в этой лавине огня ядовито белели прожекторы, которые не гасили по периметру никогда, потому что завод был секретный. Кружками и пластинками тех секретов играли дети во дворах, но свет не гасили никогда.

Соня боялась страшного темной зимой силуэта, а летом бояться перестала, а к следующей зиме выросла и стало не до детских страхов. Только решила про себя, что туда не пойдет, не уговаривайте, и зачем ей пенсия на пять лет раньше, глупости какие.

Ремеслуху перевели совсем на самообслуживанье. Сами пэтэушники и в столовке управлялись, и убирали, и в гардеробе дежурили. И вот принимает пальто славный такой парень из электрической группы, которого Сонька раньше вовсе не замечала. Принимает, короче, парнишка Сонькино куцее пальтецо, на которое мама нашла этот отстойный воротник из старого песка. И вовсе не торопится

повесить его на крючок, а окунается всей прыщавой мордой в воротник и вдыхает фитонциды таинственного девического существа.

Запахи духов, помады и нежного женского пота волнуют дурачка до беспамятства.

Наша Соня это все видит.

После всех занятий она тянет резину, чтобы уйти последней. Выходят они с будущим электриком вдвоем.

Сегодня праздник всех трудящихся. По этому случаю у нас в спортзале бал. Ну, он так только называется, а придут парни поддатые, принесут выпивки в грелках под ремнем, колес. Парни будут хлопать девиц по жопкам, а те отвечать пенделями, но не сильно, а любя.

Избранник был глуп, как щенок, но породы незлой, и Соня его записала в свои женихи. По этому случаю Соня готовилась с вдохновением. Из-за такой бури и натиска чувств все шло наперекосяк. Ну, это мы с вами, читатель, знаем. Обжигая язык чайным кипятком, запинаясь об углы и стулья, укалываясь об иглу, собираемся туда, где нас ожидает что-то особенное, наш приз после долгих дней серого. Все, что было ладно и впору, ломается, молния рвет одежду и ломается сама – и так далее.

К тому же Соня увидела в желтую треснутую трюму, что на проклятом носу вскочил прыщик.

Надо его выдавить. Прыщик защищал свое беззаконное существование и сделался красным прыщом. Соня хватает первое попавшееся – пыльного, когда-то любимого друга мишку – и запускает им в мамашу, которая сдуру присоветовала прыщик выдавить.

Соня еще не знает, что в этот миг кончилось ее детство.

И сразу же началась истерика. Соня размазала весь макияж по морде, а мама в это время пришивала к гипюру брошку с камешком, потому что она была, по ее мнению, золотая и дорогая, и чтоб не потерялась.

А прыщик из розового стал багровый, затушевываться никак не желал, нос сделался еще длинней, от расстройства и от румян китайских на ее щечках, обычно лилейно-гладких, пошли пятна. Короче, на танцы Соня решила не ехать, и с такой мыслью упадает на диван реветь.

Но тут запел телефон, и парень, назначенный Соней в женихи, сказал, что ждет у входа. За его голосом была слышна музыка. «У входа», – сказал пацан – и подписал себе свадебный, еще до армии, приговор. Ведь это значило, что влюбился, что не на танцы грёбанные пришел, а на свидание, и никого больше не хочет.

Соня взяла свою чахлую заначку и полетела на такси.

Старинные советские песни снова стали в моде. Длинноволосые пухлые парни в телевизоре изображали трактористов и солдат-матросов на побывке и гнали байду про верность и всякие крупные чувства. Голенастые звезды в серебряных ботфортах и с кувшином в руках, означающим большие колхозные удои, закатывали глаза – им такое к себе отношение нравилось. Нравилось оно и нашей молодежи, особенно девицам, и они даже соглашались оставаться дома у ящика с мамками-бабками. А уж у тех даже морщины расправлялись, и эта ванильная плесень размазывалась от воспоминаний. И мы, читатель, не будем ломиться в душу и рассказывать, что правда жизни ловко и незаметно подменяется лукавой, но такой сладкой правдой искусства – подобно тому, как у дедушки Толстого шулер вытягивает из-под шелкового кушака крапленую колоду, где у него все дамы, вальты с королями растасованы как надо. Не трехсменка всю жизнь, не капли сердечные да завыванье скорой, а сердечные признанья под гармошку, зорьки ясные – вот что правда, где все дамы с валетами сходятся.

Автор же выставил свой фейс из-за нетей и принялся учить да рассуждать не вовремя затем только, что он желает своей юной героине добра.

На училищное музыкальное орудие, купленное на их же наработанные стажировкой деньги, сегодня всю дорогу ставились диски с такими песнями. Танцевать под них нужно было вальсы да фокстроты, но таких отстойных древностей никто не умел. Как обезьяны, парни пригибались, лапали девок за обводы, и это был кайф.

Буфета, считай, не было. Пепси да слойки – это не буфет.

Драка, к счастью, была, украсила тяготину танцев под присмотром взрослых, которые приперлись, чтобы кто чего не учудил.

Особо присматривали, чтобы не наглотались колес. Дуроватая старшая рать, плесень, не знает ведь, что к колесам нужен всего-то... ну, маленьким знать не надо, а стареньким поздно, и можно делать данс-данс хоть до утра.

Всю обратную дорогу они не садились, хотя мест было полно в поздний час. Парень вцепился в поручень и нависал над ней и казался ростом выше, чем был. Соня еще не выдыхала из себя возбуждение вечера и была красивая, глаза горели. Парень чуть пьяненький и нависал, наваливался на нее. И Соне захотелось вдруг, чтобы он совсем на нее лег.

А прыщик почувствовал себя третьим лишним и исчез.

Много воды утекло, много чего было. Собственно, ничего особенного как раз не было: паренек быстренько сделался мужем, загремел в армию, но вернулся благополучно. Наша Соня стала мама и снова из декрета пошла на фабрику. И я рад заметить, что в коллективе она на хорошем счету.

Вот сидят они за столом, покрытым по такому случаю новой клеенкой, выпивают и разговаривают.

– А я ведь, Котик, в тот вечер раздумала на танцы прийти: прыщик у меня на носу выскочил, а я его давить – так он только больше сделался. У девок ведь всякие пустяки на уме – красоты хочется. Вот в маму чем-то запулила, плакала как дура. Ты вовремя позвонил.

У Котика руки стали длинные от тяжелых железяк, которым он как нянька за деньги хреновые, и он уже после пятой хочет спать, но держит марку перед Сонькиной родней, да и пельмени не съедены и бухло еще есть.

– А я не заметил никакого прыщика, – деликатничает муж. Врет. Заметил он, конечно. Но почему-то сердце на эту заметку стукнуло нежно.

А еще он заметил, как на «у входа» красивый Сонин голосок зазвенел по телефону лукаво, и он понял, что проколотся и попался.

2008

Большая дубовая бочка

Завод хорош. Чудище огромно, стозевно и лайяй.

Цехи его растут вверх громадой высоких этажей, а по ребрам корпусов тянутся серебряные и черные щупальца труб, из которых растут трубы поменьше и тоже тянутся, тянутся вверх и по эстакадам улетают вбок.

Батареи градирен всегда увенчаны плюмажами пара.

На овершьях труб красные негасимые огни – отпугивать птиц и самолеты. Ну, положим, порядочные птицы, гуси-лебеди всякие, сами отруливают вбок еще при

подлете к поселку – запах и разноцветный, как патлы панка, дым натягивает ветром далеко окрест, а вольным тварям неохота все это нюхать.

За цехами Белое море, где отстаиваются и испаряются отходы, – а пахнут они плохо, но все же куда лучше, чем отходы человеческие либо скотьи.

Время от времени сокровенное нутро завода прочищается огнем – и кольца пламени вылетают из огромной гортани. Пламя хохочет и ворчит, обдавая окрестность, бараки, лес и тучи багрово-серным светом. Тяжелый дух расточается окрест, и весь наш город кашляет. Даже грибки-ягодники в окрестных болотах перхают и бегут на пригорок, где ветерок отдувает желтый туман.

Комаров долго не слышно после таких дней – они той желтой двуокисью побиты. Но потом жизнь берет свое, и комариная тьма снова пьет кровь трудящегося человека, который пошел за грибами или рыбачит в выходной.

Прямо из-под окрестных земель и издалека везут солёную руду и едкое млеко, дабы кормить комбинатову утробу. И сдобривается это все добро некоторыми тонкими эссенциями, а также и спиртом, что течет по отдельным стеклянным трубам, издевательски булькая и играя чистыми струями. На устье трубы, понятное дело, пломбы и строгий цербер-заливщик этой драгоценности, который за особо хороший оклад и строгий догляд неприступен, аки цепной пес, пытались и так и этак – не получается.

А стырили сразу большую бочку. Потому, что они, бочки, дубовые, и от девок лабораторских весь поселок знал, что спиртыга никакой не особый и ядовитый, а питьевой, не надо ля-ля.

Триста литров – это вам не шутки. Народу у нас много, и все хотят, даже и непьющие – для ремонтных забот и копки огорода. Короче, пошла торговля. Заводское начальство назначило премию тому, кто найдет. Не спирт искало начальство, цена ему копейки, а схему, дырку, через какую сумела народная смекалка увезти с завода такую большую вещь. Так и не узнало, что с завода ничего не взяли, а – не довезли. По накладной все было в полном гламуре. Я детали дела знаю, но расскажу при встрече и, понятно, не за так, если кто интересуется подробностями.

Красиво сделали.

Охрана с завода рыла, рыла – пусто. Менты тянут-потянут – вытянуть не могут, закрыли дело. А бочку пустили в розлив по бутылкам водочным, пробки запечатали, все культур-мультир.

Жизнь в поселке на какое-то время стала баская. Народ выполз на бутылку да теплую погоду под тополя и сирень. Листочки еще не засыпаны солёной пылью и не дырявые. Не гусеницы их дырявят, а серные дожди. Нейлоновые рубашки тут вышли из моды раньше, чем в других местах: дождичек, пролетая сквозь наши дымы, делается едучий и прожигает малюсенькие дырки. А хлопку ничего. Правильно говорят в газетах: живое, природное – лучше. Мы вот тоже живем тут – и хоть бы хны.

Наискось шоссе – колеи. Заводы тут серьезные, без железной дороги никак, и гуляючи до магазина или еще куда, можно долго ждать, пока протянут вагоны. Просто же прошвырнуться народ любит мимо хлебозавода, особенно вечером: дух идет от свежей выпечки густой и приятный, прямо-таки обволакивает и позывает на лирику. Если вы женихаетесь, то с веточкой-махалочкой от комаров пройтись со своей пассией любю.

Соловей милицейской ловитвы слышен издалека. Парнишка на мотоцикле пролетел мимо, патлы развеваются, сапоги резиновые с ботфортами уперты в педали. До сараек ему недалеко осталось, а в этом шанхае он скроется. Мы рады за парня и за себя – нам натуральное кино с погоней.

Гудели майские жуки и разговоры. Матюжок под глоток гуще, но незлой, а для украшения слога.

Под хорошее настроение и такой случай выдал мне мужик из соседнего дома каменного, большого, в пять этажей, тайну про сгинувшего слесаря. Не сгинул он, а погинул. На позапрошлой профилактике послали мужика посмотреть на главном чане мотор, который лопасти крутит, чтобы масса равномерно застывала.

И зайди тот слесарюга к моему визави призанять стакан жидкости для протирки контактов – так это у них аккуратно называлось. Там еще мужик был, всего, значит, трое, так что сам понимаешь. Поднялись они наверх и сели у чана, огромного, как озеро. Налили, выпили. И мужик загляделся, как лопасти волну делают, будто две большие рыбины ходят под поверхностью. Замечтался мужик или головка закружилась, а только бултых туда. Товарищи его не в первый момент заприметили, а как посмотрели – только одни боты и торчат, и корефан ими даже и не качает. Сразу, видать, помер. Что делать? Пытались, конечно, вынуть друга из массы, да только вымазались в белой гадости. И отпустили тело на волю волн, где его химия быстро съела. Она и нас ест – не подавится. Условились молчать. Год молчок, два. Вот на третий тебе рассказываю – а зачем, сам не знаю. Спиртик хороший, только на разговор развязывает. Но надо же душу облегчить, хоть мы и не виноваты.

Некоторые женщины, которые понимающие, выносят закуску и ждут приглашения. Почему-то женщины в дурачка играют, даже в шашки, даже в бильярд некоторые, а вот в домино – никогда. Наверное, потому, что в этой игре главное – замах и удар. Если «рыбу» или «дупель» просто положить из руки, а не грянуть об стол – то это не игра. Тут как раз случилась «рыба», и партия закончилась.

Приглашение женщине последовало, и стаканчик был поднесен.

Кругами возле нас на великах барражируют пацаны, тоже ждут приглашения. Но им нельзя, нечего поважать. Впрочем, один налажен за добавкой, потому как бутылка хоть и ноль-семь, а не резиновая, и быстро кончается.

Надо заметить, что грелка, в которой выпивку под ремнем носят на работу, хоть и резиновая как раз, а все равно быстро кончается в обеденный перерыв. Но на работе много и не надо.

Пили из той бочки, считай, все.

Ни один не протек.

То есть – не нашлось на весь поселок ни одной падлы-мышки, какая бы махнула доносик.

То есть – народ у нас оказался хороший, когда доходит до главного. А то ведь чихнуть не успеешь, как донесут – начальнику, теще, бабе.

И мы стали себя за это уважать.

С нами можно в разведку. Нам можно доверить секрет – даже и побольше этой большой бочки, впрочем, ее никто не видел в глаза, а хозяина так и не вычислили, потому как вся торговля шла через двух ханыг.

И – грело, что мы тоже можем взять себе в достояние что-то большое, не все ж на нас ездить.

Об чем тут речь, было в годы, когда водки не на каждом углу залейся, а по талонам пару пузырей в одни руки в двух магазинах – вы их знаете: железнодорожном и номер первом. Про это дело рассказывать – надо целый роман, и начинать с утра, а то к вечеру не кончишь. Молодые вы еще.

А большая бочка так и осталась под полом в гараже.

И в проспиртованной полости ее – лежит народное сердце.

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

ЭДВАРД ЛИР (1812 – 1888)

ЛИМЕРИКИ¹

На холме обретался старик,
Он на месте стоять не привык;
Вверх и вниз всё резвей
В платье бабки своей
Прихорошенный бегал старик.

Дева юная из Португалии
Всё рвалась в океанские дали и
С крон деревьев то и дело
В сине море глядела,
Но осталась верна Португалии.

¹ Лимерик – это форма юмористического, комического стиха абсурдного содержания (nonsense verse), где комичность достигается бессмысленностью содержания или нелепостью поведения описываемых характеров. Но хотя в основу лимерика положен абсурд, бессмыслица, эта бессмыслица, как отмечают исследователи, либо должна быть логически организована, либо, не имея очевидной логичности изложения, должна тем не менее содержать некий, пусть абсурдный, смысл («sensible nonsense or nonsensical sense»). Это, конечно же, nonsense, но все-таки verse. И как утверждают некоторые авторы, «бессмысленная поэзия» в некотором роде ближе к определению поэзии, чем другие виды литературы, так как апеллирует не столько к интеллекту, разуму, сколько к слуховому и чувственному восприятию; в бессмысленных словах, определенно организованных, содержится столько музыкальности, что иногда такая поэзия более поэтична, чем какая-либо другая.

Большинство специалистов полагает, что название «лимерик» произошло от рефрена песен, исполнявшихся ирландскими солдатами-ополченцами, служившими при французском короле Людовике XIV. На своих вечеринках солдаты, импровизируя, исполняли песенки (часто не совсем пристойного характера), каждый куплет в которых завершался рефреном, громогласно повторяемым хором – Will you come up to Limerick? (или, по другой версии, Won't you come up to Limerick? – «Вернешься ли ты в Лимерик?»). Но нередко название этой литературной формы прямо связывают с названием одноименного города в Ирландии, где еще в XVII веке она была очень популярна.

До XIX в., т. е. до того времени, когда эта форма получила признание и обрела те четкие черты, которые присущи ей и считаются характерными для нее и по сей день, лимерики, появляясь иногда в печатном виде, были чем-то вроде того, что в XX в. стало называться «андеграундом» – т. е. тем, что не относится к традиционному, общепринятому в области искусства и в силу этого таковым считается не может.

Широкую популярность лимерик как стихотворная форма приобрел после 1846 г. Тогда вышел в свет первый томик стихов Эдварда Лира «A Book of Nonsense», стихов, написанных для детей и, как потом оказалось, многих и многих взрослых, в форме лимерика. (Прим. ред.)

Был один старичок в бороде,
Он сказал: «Так и знал, быть беде!
Две совы и несущка,
Корольки и кукушка
Угнездились в моей бороде!»

Молодая флейтистка из Бьюта
В руки флейту взяла на минуту
И сыграла на ней
Пару джиг для свиней
Престарелого дяди из Бьюта.

Эксцентричный старик из Апулии
Был весьма специфичным папулею
Двадцати сыновей;
И кормил их, ей-ей,
Только сдобой старик из Апулии.

Жил да был некий старец из Праги,
Злоключилась чума у бедняги;
Так бы жизнь и угасла,
Да коровьего масла
Дали вовремя старцу из Праги.

Некий старец из города Трои
Тёплый бренди и соус из сои
Лил в столовую ложку
И вкушал понемножку
При луне на окраине Трои.

Жил на скалах старик вдалеке,
Он супругу закрыл в сундуке;
А на все её пени
Отвечал: «Без сомнений,
Ты всю жизнь просидишь в сундуке».

Был старик, рассуждавший толково:
«Как спастись от ужасной коровы?
Примощусь на заборе,
Улыбаясь, и вскоре
Умягчу этим сердце коровы».

С языка старикашки из Сарка
Сорвалась площадная ремарка;
Тут ему попеняли:
«Ну не зверь, не свинья ли
Вы, разнузданный старец из Сарка!»

Отличился старик, житель Ская,
В танце муху кружа и таская;
И жужжали оне
Томный вальс при луне
К удовольствию жителей Ская.

Кудреватый старик из Перу
Всё не знал, чем заняться в миру;
Неуклюж как медведь,
Выдрал кудри на треть
Лысоватый старик из Перу.

Грубый старец из города Буда
Вёл себя всё грубее, покуда
Некто, взяв молоток,
Не пристукнул чуток
Горлодёра из города Буда.

Разухабистый старец из Анерли
По широкому Странду, не странно ли,
Бегал ветра шальней,
Подхватив двух свиней,
Но под вечер вернулся он в Анерли.

Был один старичок из Ливорно,
Самый крошечный в мире, бесспорно;
Но какой-то щенок
Раз его подстерёг
И сожрал старичка из Ливорно.

Перевёл с английского Борис Архипцев

ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

ЙОАХИМ РИНГЕЛЬНАЦ (1883 – 1934)

Ожидание невесты чего

Шарманка мучает мотив
Житья и умиранья.
Осколки лежат за домом, в тени, в
Углу под мусорной дрянью.

Терзается козявка в окне,
Кругами ползет через силу.

Звонок. Бедняк предлагает мне
Шнурки. Или, может, мыло.

Ничто не меняется день ото дня,
Своим вещам я не нужен.
Ничто не держит в доме меня,
Ничто не зовет наружу.

Обращение Незнакомца к Накрашенной перед памятником Уильяму Уилберфорсу

Добрый вечер, милая красотка!
Сейчас десять ноль пять.
Не были бы вы так любезны со мной переспать?
Кто я? То есть, как моя фамилия?
Не скажу вам правды я о ней,
Но тебе три фунта подарю.
Правды никогда не говорю,
Не целую в губы. Ты, дитя,
Выманишь три фунта сверх, хотя
Я тебя умней.

Дитя, повидал все страны я.
Побывав во всяких Занзибарах,
И Калькуттах, и Тиролях, и на нарах,
Замечаешь, что не замечал,
Какие люди все же странные.
Честь для тебя или для поэта –
Не то, что Петра Первого честь.
Кстати, я был (подари мне эту
Подвязку!) декоратором летом
В Гамбурге. Десять ноль шесть.

Слышишь гудок? Вот затих...
Уильсон Лайн, привет!
Что? Я слегка под мухой?
О нет, нет! Нет! Я безбожно пьяный
Крайне опасный буйный псих.

С другой стороны – шесть фунтов фюр дих.
Как недоверчиво ты рядом со мной идешь!
Погоди, ты не знаешь меня-паяца.
Вот увидишь, ты будешь смеяться.
А может статься,
И расплачешься, хоть не поймешь.
Я и сам... Ты поверишь мне после: одетому, дома.
Девушки вроде тебя мне всегда были рады.

Я вделан в жизнь без склада и лада,
Все мне здесь незнакомо.
Там живет моя мама. – Наоборот!
Здесь шуметь непременно надо!

Я допотопный комод.
Чернилами и вином облитый,
Ударами ног закрытый.
Я умру, и, хихикая, кто-то поймет,
Что за тайник много лет
Я скрывал. Ах, дитя,
Какой в Кунитцбурге омлет!
Эта шутка без перца.
Я не очень-то весел.

Сердца нет за комодной дверцей.
Я – жалкий шут. Но там, где известь и тальк,
Вдалеке, мое настоящее сердце.
Где-то у Мушелькальк.

РОБЕРТ ГЕРНХАРДТ (1939 – 2006)

Рождение

Здесь женщина дитя рожала.
Дитя рожденное лежало.
И эту видели картину
две неразумные скотины.

А именно: бычок и ослик.
Они дитя жалели, возле
холодной жалкой сена горстки
лежащее совсем без шёрстки.

Промолвил бык: «Возьми мои рога,
чтоб защищаться мог ты от врага».
Осел добавил: «Для защиты тыла
сойдет мой хвост». И это верно было.

И был младенец рад такой награде –
На лобик – рожки, гибкий хвостик сзади.
Пролаял пес полночный свой привет.
Так появился Люцифер на свет.

Перевела с немецкого Александра Берлина

МОИ КОЧЕГАРКИ

1. СЕКТАНТЫ

Где теперь эти двое, эта пара? Кто поблагодарил их? А ведь они кое-что сделали. Не для нас делали. Стихов не читали, живописью не интересовались. Делали для себя, по велению совести, но без этого слова на устах. Перед Богом ходили...

В декабре 1979 года началась афганская война, и я понял: больше не могу. Цинизм советской власти перешел последнюю черту. Нужно выйти – не *на площадь*, нет, моей гибели никто бы не заметил, а хоть *в другое пространство*. Иначе не удержать последних крох того, ради чего стоит жить.

От приятеля, безвестного стихотворца из многотысячной армии самиздата, получил я, в качестве пароля, имя: Иван Павлович Шкирка, начальник участка треста Теплоэнерго-3. Берет, было сказано, людей с дипломами (и с неблагозвучными фамилиями) на должности операторов газовых котельных. Либерал, стало быть, если не прямой диссидент.

Оказался Иван Павлович прост, не из интеллигенции. Места для меня у него не нашлось, но он отправил меня на другой участок, на 1-й Октябрьский Адмиралтейского предприятия того же треста, к Тамаре Васильевне Голубевой, и та – взяла, но не кочегаром: уговорила наняться сменным мастером. Я уступил. Разом сменить статус мешала свирепая, вошедшая в кровь система советских предрассудков. В стране труда – труд рабочего и вообще-то презирался, а уж кочегарка была просто социальным дном.

Нашел я Тамару Васильевну по адресу: улица Декабристов, дом 14. Во дворе росли два громадных каштана, в глубине, в двухэтажном флигеле, помещалась котельная, над котельной – начальство участка, некто Коломийцев и с ним всякие канцелярии.

Тамара Васильевна тоже была проста до нельзя, и тоже – особенная. Эта особенность не сразу проступала. Занималась начальница только работой: котлами, трубами, дымоходами, задвижками, запорными клапанами. Хлопотала, ни минуты не сидела сложа руки, звонила, распоряжалась, бегала по котельным, сердилась – потому что всегда было на что сердиться; подчиненные трудовым энтузиазмом не кипели. Под ее началом находилось человек семьдесят, в основном женщины: молодые, из приезжих и неустroенных; пожилые, из потерянных; мужчины же – счетом на единицы, чуть не сплошь – старые алкоголики. Работа, между прочим, грязная была: краска, смазка, цемент, асбест... не говоря о людях. При всём том – отличала Тамару Васильевну особенность, которую, по прошествии десятилетий, не могу определить иначе как словом *чистота*. Чистота и цельность. Английское *integrity* подходит для ее характеристики. Вижу эту женщину ясно: высокая, хрупкая и строгая, да что там! властная, с прихваченными платком волосами. Меня, помнится, ни о чем она не спросила, хоть и поняла с первого взгляда, что я *из других*. Избегала праздных разговоров. Умела улыбаться. Было ей в начале 1980-го (как я знаю *теперь*) неполных 39 лет. Мне – на пять лет меньше.

В кочегарки я ушел из учреждения с апокалипсическим именем СевНИИГиМ. Наука там жала к стене, как нищенка. Я состоял в вычислительном центре, писал программы на вымершем компьютерном языке, сам набивал их на перфокарты. Спустя месяц после моей метаморфозы позвонила мне оттуда программистка Галя, и вскоре появилась у меня со своим мужем. Он работал дворником, но хотел в кочегары. Также был из образованных и протестующих, из тех, кто больше *не мог с ними*. Звали его Саша Кобак. Я привел его к Тамаре Васильевне; он стал вторым сменным мастером. Третьим – через Кобака – был принят на такую же должность Слава Долинин. Оба принадлежали *второй культуре*: полуподпольной среде, в которой каждый в той

или иной степени противостоял пошлomu и бездарному режиму. От Кобака нить тянулась к литераторам, от Долинина – к борьбе и заговору, к Народно-трудовому союзу, политической партии, в которой он состоял.

В последующие месяцы на 1-й Октябрьский участок хлынули отверженные всех мастей: стихотворцы, живописцы, выкресты, шалопаи, подвижники.

Вторая культура дала меньше, чем казалось при начале свобод в 1990-е годы – и чем кажется ее ветеранам сегодня. Бродский на поверку оказался одним из лучших поэтов эпохи Бродского. От других шумных в ту пору имен не осталось ничего. Но вместе с тем общественное значение этой среды было велико, а для ее участников – громадно. Это был выход из советского тупика, из круговой поруки лжи, безумия и подлости.

С Кобаком и Долининым я поверхностно подружился, но между нами сразу обнаружился эстетический барьер, на деле шедший дальше эстетики: затрагивавший имена. Дилемма *с ними или против них* читалась в искусстве так: либо советский академизм, либо – авангард во всех его павлиньих перьях. Я отвергал и то, и другое. Говорил тогда, повторю и теперь: сознательный поиск *новизны* – всё равно, в искусстве или политике, – сперва пошлость, а потом – подлость, жестокость. В политике авангардизм ведет к нацизму и большевизму (теперь – и к терроризму), в искусстве – к черному квадрату, к консервной банке с экскрементами художника в качестве произведения искусства. Новизна как самоцель преступна. Есть Бог или нет его, режиссура мирового спектакля должна оставаться *в его руках*. Традиция умнее нас. XX век свел эпоху Возрождения к абсурду, увенчал ее режиссурой обезумевшего человека. Это был век режиссуры. Неслучайно и профессия режиссера, карикатурная, неизвестная при Эсхиле и Шекспире, разрослась исполинским мухомором, вселенским театром на поганке.

Спор наш можно обозначить именами. Не только Бродский, но и Виктор Кривулин ходил у моих оппонентов в гениальных поэтах, я же, зная Кривулина с отрочества, не соглашался признать за ним и таланта (разве что – талант вождя). Спор, собственно, шел с Кобаком; Долинин «знал, как надо» и был слишком поглощен политикой. Как это всегда бывает при твердом несогласии и тесном контакте, в итоге этот спор привел меня и Кобака к ссоре.

Олег Охапкин, Владимир Ханан, Елена Пудовкина, Борис Иванов, Сергей Коровин – вот некоторые из литераторов, захваченных тогдашним котельным движением. Завершилось оно в 1989-м году журналом ТОПКА (Творческое объединение пресловутых котельных авторов), последним машинописным изданием. Его выпускала поэтесса Ольга Бешенковская (1947-2006).

Иногда в котельных сходились большие компании. Появлялись и те, кто не кочегарил. Среди полуподпольных авторов были заметны люди, в 1960-е прошедшие через поэтические семинары при ленинградском дворце пионеров. В подцензурную литературу никто из них не вышел. Помимо советского гнета мешало то, что *автобус не резиновый*... У Елены Пудовкиной, «на Адмиралтейской, 12» я в 1981 году, спустя десятилетия после дворцовских лет, увидел Сергея Стратановского, единственного представителя авангарда, в чей талант верил. К этому времени я уже *спланировал* из сменных мастеров в кочегары.

По насыщению интеллектуалами тогдашний Ленинград стоял на первом месте в мире. Интеллектуалами – и неудачниками. В Москве были кружки; в Ленинграде вторая литература поневоле составила единый круг – в результате кромешного гнета, смешавшего всё и вся, вогнавшего в один слой тех, кто при других обстоятельствах руки бы друг другу не подавал... Естественные науки тоже были представлены своими отверженными.

Машинописный журнал *Часы* (Борис Иванов, Борис Останин) тоже готовился где-то здесь, у газовых котлов. Литературная жизнь кипела на 1-м Октябрьском. Оборвалась она 22 июня 1982 года – арестом Славы Долинина.

... Не знаю, пострадала ли от всего этого оживления Тамара Васильевна Голубева. Может, и нет. Альтернативой *диссиде* были для котельного начальства другие проблемные люди, другие формы эскапизма. Начальство знало это; ему приходилось мириться с тем, что бодрые советские люди в кочегарки не шли. На соседних участках, у Ивана Павловича Шкирки и других, должно было происходить что-то подобное.

Я не сразу понял, что эти двое – пара: венчанная пара, не ходившая в советский ЗАГС; что они – тоже эскаписты, но другого толка; *другие сектанты*. Это простое соображение осенило меня при странных обстоятельствах.

Рядом с людьми пишущими, деятельными и честолюбивыми громадным хвостом шел по участку *fringe*: те, кто просто отвергал советскую действительность; мечтатели всех мастей.

Среди них выделялись новообращенные православные, чуть не каждый второй – из евреев. Смутно помню мрачноватую молодую женщину, сидевшую в кочегарке на улице Плеханова. Прослышав, что она крестилась, Тамара Васильевна спросила ее:

– Тебе-то зачем?!

И я догадался. Жаль, ни о чем Голубеву не спросил. Слишком подавлен был своими тогдашними бедами.

Всё религиозное народное творчество в России, до Бердяева и Франка, до ученых богословов, всегда шло не в сторону разработки Нового завета (как на Западе), а в сторону от него, в сторону Ветхого завета. В первой половине XIX века в губерниях насчитывалось до двух миллионов субботников разных оттенков. Под влиянием одного из них, казака Тимофея Бондарева, перешедшего в иудаизм, начал свою проповедь и свою пахоту Лев Толстой. Хоперский казачий полк, с Кубани, какое-то время почти целиком состоял из ветхозаветных сектантов-раскольников, которым только полкового раввина не доставало. Жидовствовала на Дону громадная станица Александровская, потом ставшая городом. Места эти, к слову сказать, очень хазарские. Традиция перешагнула этнос. Иные и слова *казак* (и *казах*) выводят из Хазарии. Конечно, по-тюркски *каз/коч* – кочевать, а казаки вышли из бродников, славянских и финно-угорских кочевников. Но возможна и другая этимология. На иврите *хазак* означает *сильный, независимый*.

Что сказала Тамара Васильевна крестившейся еврейке? То, что говорит апостол в Послании к римлянам (11, 26): «...весь Израиль спасется». Только и всего. Незачем еврею креститься.

Где они сейчас, эти двое? Собственно говоря, у меня и адрес их есть, я заглянул в справочник, – да навестить не решаюсь. Я о другом спрашиваю. Где они в новой России, унижающей христианство невиданным доселе образом: массовым хамским ханжеством?

2. В СТОРОНУ ХОДАСЕВИЧА

1-й Октябрьский участок Адмиралтейского предприятия треста Теплоэнерго-3 простирался от «Московской, три» до «Адмиралтейской, шесть», по площади приближался к Монако, по населению превосходил Андорру. Сосредоточенной в этом княжестве литературы хватило бы на иную африканскую державу. Была тут своя печать, свои салоны, свои гении. Граница с миром внешним, советским, очень чувствовалась. Атмосферу пронизывала достоевская мистика. Присутствовала и чертовщина – в абсурде ситуаций и положений, в непомерных честолюбиях, даже – в именах: среди кочегаривших молодых женщин помню Люду Чертолясову и Катю Бесоганову. Половина полуподпольных стихотворцев тянула в сторону обэриутов.

В моих беседах с Сашей Кобаком всплыл Ходасевич. Его я противопоставлял и советской литературе, и гонимому ею авангарду. Вот, говорил я, узенький мост, перекинутый над пошлостью, одинаковой справа и слева; Ходасевич выше и чище не только советских *литературных передвижников*, но и *большой четверки*. Цветаева криклива, Пастернак физиологичен, Мандельштам манерен, Ахматова отдает квасом. Хлебникова я отказывался признать поэтом; про Блока (в «анкетке о Блоке»; вопросник – к столетию поэта – распространила среди котельных авторов редакция машинописного журнала *Диалог*) писал, что он устарел, поскольку контекст его эпохи ушел в песок. От стихов я требовал естественности и точности. Ненавидел расслабленность. Всеми силами души презирал усеченную рифму (типа «демократ-вчера»), называл ее уступкой черни. От ассонансов (вроде «чирикала-чернильница» у Сосноры) в бешенство впадал. Рифма должна быть опрятна... Заметьте: на дворе – безрассветная ночь, дышать нечем, быт страшен, до полочки трех рублей не хватает, работаю сифифом, жена и ребенок хронически больны, соседка-шизофреничка какает на пол в коммунальном коридоре... а вопросом жизни и смерти становится рифма. Но это и понятно. Пуризм – морфий обездоленных. Другие спасались, забиваясь в другие щели.

В моде были квартирные лекции и семинары; тоже – форма эскапизма и протеста. Кобак предложил мне рассказать о Ходасевиче у него дома, в кругу знакомых. Но что же я знал о Ходасевиче? *Тяжелую лиру* – наизусть: и всё. Ходасевич был для меня идеей, эталоном вкуса; реинкарнацией Боратынского в XX веке. Пришлось готовиться. Несколько раз я сходил в Публичку. Осенью 1980-го семинар состоялся – в деревянном доме на улице Курчатова. За семинаром последовало предложение написать о Ходасевиче для журнала *Часы*. Никакой прозы я отродясь не писал, но принял за дело с воодушевлением. Чтобы иметь больше досуга, из сменных мастеров перешел в кочегары. Писал в основном в котельной «на Адмиралтейской, шесть»; писал

остро отточенным карандашом, микроскопическими буквами, не выпускал из рук стиральную резинку. Исходил из простого соображения: жизнь и стихи лирического поэта – неразрывное целое; отделять одно от другого – формалистический трюк. Почти сразу нашел скрипичный ключ, ставший названием статьи: *Айдесская прохлада*.

Из двух подходов – спекулятивного и компилятивного – я выбрал второй, менее выигрышный, трудоемкий. Решил не декларировать и не утверждать, сколько есть сил, а строить статью по кирпичику, вглядываясь в эпоху и лица, – уважать читателя, сделать очевидное для меня очевидным для него, себя же спрятать... и был потрясен тем, как много косвенно говоришь о себе, *честно и самоотверженно* говоря о другом. Это сразу стало для меня принципом в прозе: избегать самовитого местоимения всюду, где без него можно обойтись. Всё равно ведь о себе пишу, что бы ни писали... Работал я над статьей три месяца, каждую свободную минуту; закончил 4 апреля 1981 года, потом еще долго исправлял. По объему получилась небольшая монография.

Статья удалась и произвела движение в умах. Ее читают до сих пор, на нее ссылаются; тщательно написанный текст живет долго. Конечно, *тогда* – Ходасевич был автором запретным и забытым. Это послужило трамплином моей статье и моей известности. Незнакомый человек, московский профессор Ю. И. Левин, писал через три года после опубликования *Айдесской прохлады*: «Владислав Ходасевич – белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими проницательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли...» (*Wiener Slavistischer Almanac*, Bd. 17, 1986). Еще выразительнее оказался другой отзыв. На библейском конгрессе в Иерусалиме в 1993 году я познакомился с лингвисткой и пушкинисткой Н. Б., поразившей меня образованностью и живостью ума. Услышав мое имя, она сперва не хотела верить: «Это же псевдоним!», а когда поверила, сказала: «Я вас люблю!».

В процессе работы над статьей я многие часы просидел в Публичке. Кандидатский диплом открыл мне доступ в какой-то не совсем обычный читальный зал, хоть и не в спецхран, конечно. Просмотрел и прочел я горы книг и журналов. Многого не хватало – и нужные книги я подчас получал не в знаменитом книгохранилище, а прямо в котельной. Приносили знакомые и незнакомые, прослышавшие о моем занятии; бывало, передавали со сменщиком. Дивное время!

Статья еще не была закончена, когда у меня в руках оказался парижский адрес Зинаиды Алексеевны Шаховской (1906–2001), бывшего редактора *Русской мысли*. Я написал ей – в полной уверенности, что либо мое письмо не дойдет, либо она не ответит, либо не дойдет ответ. Ответ пришел через две недели. Это было *письмо из России*. Завязалась переписка, длившаяся десятилетия. Потом, в эмиграции, я дважды ездил к Шаховской. Доживала она в таком страшном одиночестве, что в 1997 году предложила мне, чужому, в сущности, человеку, атеисту, быть душеприказчиком ее литературного наследия... С Ходасевичем же Зинаида Алексеевна мне в письмах не слишком помогла; главное, что она знала, вошло в ее парижские воспоминания, которые мне удалось добыть еще до нашего заочного знакомства.

Не успела моя статья появиться в *Часах*, как последовало еще одно предложение: подготовить двухтомник Ходасевича для парижского издательства La Presse Libre. Исходило оно от поэтессы Тамары Буковской, из кругов новых православных, – и с Шаховской никак для меня связано не было. До сих пор не знаю, что за механизмы тут действовали. Я ответил: буду готовить двухтомник для самиздата, сам отпечатаю его в пяти-шести экземплярах – и раздам друзьям; а от дальнейшего меня увольте. Поручиться за себя не могу; не знаю, как поведу себя под пыткой; буду смалодушничать. Парижскому изданию, конечно, буду рад, но переправляйте без меня, помимо меня.

Первый том был готов в 1981 году, второй – 10 ноября 1982 года, в самый день смерти Брежнева. Удалось добыть и отпечатать портреты поэта. До меня Ходасевича не комментировали; комментарии, вместе с *Айдесской прохладой*, составляли изюминку книги, хотя, конечно, и более полного собрания до той поры не было. Я намеренно строил комментарии не «в научном ключе». В литературоведение как науку – не верил. Якобсон, Тынянов, Эйхенбаум, Лидия Гинзбург – не опровержение моим словам. Литература исследуется только средствами литературы. Литературовед может быть архивистом – и он обязан быть *авантюристом*: мыслителем, писателем. Но где же эти качества у рядового *академического* литературоведа, чиновника на зарплате?

Весной 1983 года, в другой кочегарке, «на Уткиной даче» при слиянии Охты и Оккервиля, получил я от своего сменщика первый том парижского Ходасевича – и успел показать его лежавшей при смерти матери.

В июне 1984 года, оказавшись (после четырех лет *отказа*) в эмиграции, я тотчас написал Нине Берберовой (1901-1993) в Принстон; подруга Ходасевича преподавала там русскую литературу. Мой двухтомник она знала и, в целом, одобряла; но едва наметившаяся между нами эпистолярная дружба вскоре оборвалась. Берберова, среди прочего, писала, что «в западных университетах литературу изучают, как химию». Я был задет за живое и ответил бестактностью: что литература не формой жива, а нравственным наполнением, отсутствующим в химии; что литературоведы, с их пошлым наукообразием, не видят главного, выплескивают ребенка с мыльной пеной. Было и другое: Берберова предложила мне передать собранные мною материалы американцу Малмстеду, готовившему многотомное собрание Ходасевича. «С чего бы это?» – спрашивал я ее в письме. «Я рисковал, работал в жутких условиях, а эти сидят на зарплатах – и когда в СССР появляются, перед ними все архивы открыты...» Берберова ответила вопросом: «Отчего все приезжающие из России так надменны?» На этом дело и кончилось. В 1986 году она не пригласила меня на конференцию по случаю столетия Ходасевича. Думала, верно, досадить мне, но промахнулась; я жил не этим. Занятие Ходасевичем позволило мне разом выговорить мою эстетику (а значит, и *этику*) на стихах любимого поэта; только и всего.

В ленинградском полуподполье Ходасевич еще резче отдалил меня от *mainstream'a*, закрепил мое эстетическое одиночество. В машинописных журналах *Часы* и *Обводный канал* появились на статью возражения. Я не стал их читать.

3. ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ

Мы были серьезные люди: серьезно относились к своему полуподпольному сочинительству. С каменной серьезностью. Верили, что принадлежим истории. Шло это, хм, из советской литературы. Большевик дивным образом законсервировал в нашем сознании XIX век. Все мы жили в заповеднике. Знали (вместе с большевиками и со всем советским народом), что литература – грозная сила; думали, что мы – сила... Всеобщая грамотность перевернула мир, стерла границу между писателем и читателем, разжаловала священнодействие в ремесло, авгура – в сапожника, – а Россия, спасибо соцреализму, ничего этого не замечала до 1990-х.

Одно очень серьезное предприятие было затеяно в январе 1981 года: поэтическая антология непечатных ленинградцев. Идея пришла из *Часов*, от Бориса Иванова и (или) Бориса Останина. Назначили команду: Светлану В. (она же Нестерова и Востокова), Эдуарда Шнейдермана, Вячеслава Долинина и меня. Как тут оказался Долинин? Как представитель мирян. Остальные трое писали стихи. Как оказался я? Для баланса и для четности. Серьезность предполагает представительство, а консерватизм, воинствующий консерватизм, представить было больше решительно нечем; я один с гордостью называл себя *реакционером*, с пояснением: «реагирует – живое». Правда, Светлана В. тоже тяготела к правому крылу в эстетике, но до моего ретроградства и пурризма не опускалась. В целом *часовщики* неплохо уравнили бригаду. Шнейдерман относился к традиции почти с таким же отвращением, как я – к новаторству; Долинин, своей эстетике не выстрадавший, живший политической борьбой, верил, что «ветер дует слева». Получалось двое на двое. С каждой стороны – по одному бешеному и одному умеренному.

Собрались в мастерской скульптора Любви Добашиной, жены Шнейдермана. С двумя из трех членов хунты я там и познакомился. Светлана В. оказалась старше нас с Долининым, моложе Шнейдермана, умна и хороша собою. С некоторой оторопью я узнал, что она четыре раза *была* замужем; вот, подумал я, жертва своей красоты. Шнейдерман отличался изумительной мягкостью и неправдоподобной корректностью. Долинин был сух, я задирист.

Мастерская помещалась в полуподвальном помещении во дворе 19-го дома по Шпалерной (Воинова), как раз напротив Шереметевского особняка, тогдашнего Дома писателя, которому мы кукиш собирались показать. Была она уставлена скульптурами из шамотной глины. Глядя на них, я вспоминал слова моего пращура Александра Семеновича Шишкова (1754-1841): «Доброта вещества много способствует искусству художника», но держал их при себе, в чужое дело не лез. Там, среди монументов, мы заседали в течение года, собирались не реже чем раз в две недели, работали старательно – и, против всяких ожиданий, довели дело до конца. Получился солидный том под названием *Острова. Антология ленинградской неофициальной поэзии. Составители: А. Антипов [Долинин], Ю. Колкер, С. Нестерова, Э. Шнейдерман. Л., 1982. Почему «неофициальной»?* Слово это предложил Шнейдерман. Точнее было бы сказать: неподцензурной.

Не помню, кто нашел имя для антологии, удачное или, во всяком случае, выразительное. Взято оно из Вагинова: «На островах блаженных есть город Петербург...»

Получилось четыреста с лишним страниц. Просмотрено было 6200 стихотворений, 172-х авторов за годы с 1949 по 1980-й. Много это или мало? Мало. Пишущих – были тысячи, многие тысячи. Тысячи пропали бесследно. Так уж русский язык устроен, что от соблазна не уберечься. Пишут все. В быту, ни о какой поэзии не помышляя, мы нередко говорим чистыми ямбами и хорейми, по одной, по две строки крядя; а то и трехсложниками. Писать стихи по-русски – простейшее из умственных упражнений. Отсюда и соблазн. Где гарантия, что уцелевшие лучше пропавших?

С другой стороны, 172 автора – много, слишком много. Сколько *поэтов* бывает в поколении? Читательское сознание не способно вместить более двадцати; иначе – слово *поэт* девальвируется. Считаем по десять лет на *литературное* поколение: выходит – по шестьдесят только в замшелом Ленинграде? Вздор. Куда столько?! Откуда эти стройные ряды? Но перед глазами был союз писателей, где *поэты* шли первомайской колонной. Для этого ведь, по умолчанию, антология и затевалась; чтобы показать: нас много, мы – целая литература.

Отобраны в антологию были только 79 авторов. Уже легче. Перечитываю список. Некоторые и сейчас на слуху – но слух нужно иметь чуткий. В сущности, самые громкие имена, исключая Бродского, – не более чем тихие шаги за сценой. В гремучую обойму не вошел ни один. Разве что Евгений Рейн, но на то он и москвич.

Тут всем нам урок. Во-первых, не стоит быть слишком серьезным, особенно по отношению к себе. Во-вторых и в главных, стихи – маргинальное занятие; они пишутся немногими для немногих. Времена властителей дум канули безвозвратно. Богатство народов, их взрослость направлены против этого детского занятия, тесно (хоть и не прямо) связанного с верой. Бога становится в мире всё меньше, бог убывает – и вместе с ним убывает поэзия. С этой печальной истиной нужно смириться совершенно так же, как с мыслью о своей смерти. Взрослым – не до стихов.

В любом коллективе есть лидер. У нас им *естественно* стал Эдуард Шнейдерман. Он был старшим; собирались в *его* мастерской; он проявил больше терпения и серьезности, чем другие; менее других под конец остыл к этому предприятию; вызвался написать предисловие к сборнику, и никто этого права у него не оспорил. Помню, что мне хотелось поправить и переписать его серьезный текст. В нем всё правильно, всё честно:

«...Главный критерий отбора был качественный. Составители стремились чутко вслушаться в голос поэта, уловить его своеобразие...»

...При отборе авторов мы руководствовались следующими принципами...

...Для поэтов, выбывших из Ленинграда в разных направлениях...»

Но я сдержался. В антологию вошло столько авторов, казавшихся мне *голыми щипами*, что я под конец уже не считал это предприятие своим.

Отбирали мы не имена, а стихотворения. На каждом каждый ставил плюс или минус. Исходили из того, что иные авторы скорее слынут поэтами, чем являются. Здесь, разумеется, действовало задетое самолюбие: из нас-то, из составителей, к тому времени никто не добился даже «широкой известности в узких кругах», как Елена Шварц или Кривулин. Этот подход согласовался с тем, ради чего *часовщики* затевали антологию: им, думаю, хотелось сказать городу и миру, что ленинградское полуподполье дало не одного Бродского.

Дошло дело и до наших собственных стихов. Я к этому времени уже умел не придавать большого значения суду товарищей по несчастью. Без такого иммунитета в литературе не выжить. Готовился снести пытку молча, снес – *почти* молча, не удержался только, когда Шнейдерман предложил не включать одно мое стихотворение, со строкой «Не прозябает злак», на том основании, что злак не может прозябать.

– Как? Вы, филолог по образованию, не знаете, что *первое* значение этого слова – прорасть?!

Я даже не за себя вступился: обидно было сознавать, что Шнейдерман не прочел Боратынского. Шнейдерман неожиданно ретировался, не возразив:

– Если так, то я ставлю плюс. – И стихотворение попало в антологию, а больше я его никуда не включал.

Когда дошло до отбора стихов Светланы В. (Востоковой), я увидел в ее глазах неподдельную горечь. Человек всегда живет надеждой на внезапное признание, да что! на восхищение: поэт на меньшее не согласен, особенно засидевшийся; а тут отбор показал разве что уважение. Да-

же у меня, человека эстетически близкого, ее стихи живого отклика не вызвали; как, впрочем, и мой у нее. Близость же наша простиралась до полного непризнания Хлебникова; мы с нею сошлись на том, что никогда не включили бы его в *Острова*.

«Конец антологии» мы отмечали 21 ноября 1982 года в мастерской у Любы Добашинной, в подвале дома 19 по улице Воинова, Долинин отсутствовал: ждал суда в тюрьме предварительного заключения на той же улице...

Судьба разводила составителей. Я эмигрировал в июне 1984 года. В 1990-е годы наездами – уже не в Ленинграде, а в Петербурге, – видел Долинина и Шнейдермана, а Светлану В. занесло на край света. В справке для одного сетевого альманаха она пишет о себе: «Была членом неофициального клуба писателей («Клуб 81») вместе с В. Кривулиным, Еленой Шварц, О. Охупкиным и др. Публиковалась в неофициальном журнале "Часы". Опубликовала цикл стихов в сборнике этого же клуба – "Круг", изданном ленинградским отделением Союза писателей в 1985. Эмигрировала в США в 1990 году. Сейчас живу в Гонолулу, стала художником...»

Под моим списком предисловия (с рукописной правкой Шнейдермана) стоит дата: 06.1982. Впечатления, на которое, вероятно, рассчитывали часовщики, антология не произвела. Кажется, никогда и напечатана не была, только вывешена в Интернете.

4. К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ

– ... Получил я за книгу порядочные деньги, – говорил мой собеседник, – и ушел с работы. Целый год жил не работая. И что вы думаете, Юра, я много написал за этот год?

Разговор происходил в 1980 году, в кочегарке на улице Плеханова. Собеседника звали Борис Иванович Иванов. Должно быть, я спросил его, отчего он, печатающийся автор с перспективной вступления в Союз писателей, не остался на вольных хлебах, а работает оператором газовой котельной. Мне в ту пору чудилось, что освободиться от сизифовой советской службы – уже величайшее счастье. А там – как же не писать, когда ты свободен? Ответил мне Иванов правильно, спасибо ему.

Лишь к Иванову, сколько помню, принято было в нашем котельном писательском полуподполье обращаться по имени-отчеству. Всем котельным авторам, находившимся в моем поле зрения, было в ту пору меньше сорока; Иванову – 52. Обращения, принятого теперь, утвердившегося в 1990-е годы, – на «вы», с полным именем, но без отчества, – не существовало. Я не о кочегарках только говорю: его не было в культуре вообще. Или по имени-отчеству – или с уменьшительным именем (обычно двусложным: Боря, Юра), хотя бы и на «вы». По сей день, слыша по отношению к себе: Юрий, я инстинктивно готовлюсь отвечать не по-русски.

Вокруг Иванова год спустя возник так называемый Клуб-81, престранное объединение фрондирующих писателей, в которое я был зван, но вступать категорически отказался.

Иванов был прав: нужно работать. Для своего же блага, для душевного равновесия (без которого нет мечты, а значит – и мечты творческой) нужно жертвовать, платить дань. Кому? Странно вымолвить: обществу; языческому божеству большого коллектива. Чем платить? Ответ опять выходит словно бы марксистский: трудом; делом, не вполне отвечающим твоим сокровеннейшим помыслам. Говорю это не словами Иванова, их я не запомнил, а моими теперешними.

Так и вышло в моей жизни. Кочегарки способствовали сочинительству. Для меня они начались в январе 1980-го, а в 1981 году Саша Кобак, державший руку на пульсе самиздата и *второй культуры*, сказал мне: «За последний год ты сделал больше, чем кто-либо в нашем кругу». Но зачем сравнивать с другими? Я с собою сравню: за тот год я сделал больше, чем за предыдущие десять. Счастливая пора! Написанное в ту пору дорого мне по сей день – и всё еще находит читателя.

Однако ж мне – кто бы мог вообразить такое! – предстоял еще один урок, еще одно подтверждение этой нехитрой истины, преподанной Ивановым. Не в 34 года, а в 58 лет, в другой стране, из неудачливого журналиста-внештатника я перешел в фабричные рабочие и почти три года стоял у шлифовального станка по девять часов в день. Казалось бы, уж тут-то – конец сочинительству. Конвейер; ни секунды без дела; карточку нужно отбивать. А вышло иначе; силы словно удесятились – и такого душевного подъема в моей жизни вообще не случалось, даже если сравнивать с кочегарками. Я успевал невероятно много. Тринадцать лет, отданные перед этим

русской службе Би-Би-Си (о которой доброго слова не скажу), принесли мне несопоставимо меньше (и текстов, и наслаждения, что едва ли не одно и то же) и рядом с фабричными тремя кажутся вообще потерянными. Никогда я не был свободнее. Гречанка с крылышками посещала меня у станка ежедневно. Горизонты раздвинулись. Минута хорошо темперированной жизни оказалась долгой, счастливой.

У кофегарки в этом смысле был недостаток. Конечно, во-первых и в главных, она была студией. Не я один приходил на смену с пишущей машинкой, книгами и тетрадками в рюкзаке. Сама по себе работа была не бей лежачего. Полагалось только за приборами следить. Пришел, принял смену – и ты на сутки в полном, в почти полном уединении. Сочиняй, читай, мечтай, а то и отдохни, вздремни (понятно, это запрещалось; но лежанки были всюду). Вот в этом и состоял подвох. Кофегарка располагала к расслабленности, к лени. Случалось, после бессонной ночи дома, я, придя на смену, сразу ложился, а рюкзак стоял неразвязанным. Оттого-то и времени, живого, настоящего времени, оказывалось в жизни меньше, чем должно было и могло быть, – но всё-таки несопоставимо больше, чем в затхлых советских институтах, где приходилось тратить лучшее на чепуху.

Преобладающей фигурой в котельных был писатель; бумага и авторучка – вот всё, что ему требовалось; для художника – кофегарка была скорее клубом, чем студией. Из художников на 1-м Октябрьском участке смутно помню Митю Шагина – с картинами, приводившими на память Куинджи. От Шагина пошли потом *митьки*, но смысл этого культурного протуберанца от меня ускользает; я услышал о нем уже в эмиграции – и много изумился резвости котельных юношей. Я был старше. Для меня давно уже «прошел веселый жизни праздник».

Были и другие: дилетанты-бонвиваны с рассеянными интересами, не желавшие вписываться в жесткие и пошлые рамки советской жизни. Был Костя Бобышев, брат поэта-эмигранта Дмитрия Бобышева. Костя рисовал (один из его натюрмортов до сих пор со мною), писал стихи (сохранилась рукопись посвященного мне стихотворения), но вообще тяготел к мистике, например, производил какие-то загадочные операции над числом *пи*. Был Толя Заверняев, изучавший санскрит и, как почти все, что-то писавший. Много позже, в 1990-е, мне передали на русской службе Би-Би-Си его письмо – с просьбой переслать другое, вложенное письмо... принцу Уэльскому. *Sancta simplicitas!* Он думал, что к представителю британского королевского дома можно вот так, с улицы, обратиться и получить ответ... Были иногородние: Нина Строителева, выпускница юридического факультета из Новосибирска; Оля Фалина из Казани, начинающая художница, потом ставшая археологом. Естественным фоном этой культурной Голконде служила безликая толпа нормальных кофегаров: пьянчужка Макарыч «с Адмиралтейской, три», бабка Пелагея «с улицы Декабристов»; какая-то молодуха Галя Грузинская «с белыми от распутства глазами».

Особняком стоял один кофегар: Александр Александрович Калиняк, астроном. Был это маленький старик, выгнанный из Пулковской обсерватории за то, что совершил очередное открытие (которое, за отсутствием человека, можно было присвоить). Его вклад в астрономию признан во всем мире: он догадался сфотографировать ядро нашей галактики в инфракрасном диапазоне. Фактически, он открыл это ядро. У других галактик ядра просматривались, а у нашей, родной и млечной, – нет. Калиняк увидел его первым из людей.

Сколько ему было в 1981-м? Думаю, 65. Мне, 35-летнему, он казался глубоким стариком.

На два кирпича ставился чайник или кастрюля, снизу клался запальник (кусок трубы с крапом, на шланге от главного газопровода). Прежде, чем поставить чай, Александр Александрович бросал в пламя запальника щепотку поваренной соли, приговаривая: «Видите спектр натрия? Люблю такую физику...» Я не видел спектра натрия. Физике меня учили плохо, даром, что в моем дипломе значилось: инженер-физик. Я был занят стихами и безнадежным, страстным богоискательством. Тут Калиняк мне не помог. Он верил, но Бога получил естественным путем – галактическим, с молоком матери. Моя невнятная религиозность была смятением и отчаяньем, шла не от родителей, а от моего собственного неблагополучия, от моего ничего семейного очага в советской коммуналке; у меня на руках были больные жена и дочь. Кто не испытал этого чувства, не знает жизни: семья выше храма; особенно – пока дети маленькие. В настоящей семье Бог – рядом, даже если ты полный атеист.

Я рассказал Калиняку, каким унижениям и издевательствам подвергали мою жену в больнице 25-го Октября, куда она попала парализованная, с выпавшим позвоночным диском. Его история

оказалась страшнее: его жену попросту убили; врач скорой помощи сделал ей неправильный укол, от которого она умерла на месте. «Так и пропала моя душенька...», – сказал Александр Александрович. Я увидел перед собою одинокого человека без будущего, на краю могилы, у которого отняты любимое дело и лучший друг. Потрясенный, я пробормотал какую-то бестактность: мол, не всё еще для вас потеряно. Он понял меня неправильно:

– Для меня другие женщины – грязное белье.

Сколько раз я потом повторял эту фразу, про себя и вслух!

Другой урок тоже навсегда запал мне в душу. Узнав, что я добиваюсь разрешения на выезд, Калиняк спросил полуутвердительно:

– Вы ведь, конечно, в Израиль поедете?

Я обиделся – и пережил один из первых в своей жизни приступов ностальгии. (Они у меня случались только до отъезда. В эмиграции я уверился, что ностальгия – болезнь сытых; у пролетария нет родины.) Мне почудилось, что меня запикивают в чулан; что родная культура отторгает меня по расовому признаку. Об Израиле я и не думал.

Прошли годы, прежде чем я понял: в моей обиде было больше расизма, чем в словах моего собеседника.

БИТОВ И ПЕНЕЛОПА

«Пенелопа» – ранний рассказ Андрея Битова (1962 год, сорок пять лет прошло), любимый и читателями, и критиками, как правило перечитываемый и разбираемый, а теперь, как я поняла из программы наших посиделок, еще и дождавшийся сценического воплощения.

Действительно, рассказ замечательный. Но я собираюсь говорить не столько о его неоспоримых достоинствах, сколько о жизненных смыслах, в нем проклюнувшихся и пустившихся в рост. В названии моих заметок имя Пенелопы стоит без кавычек, и впоследствии, надеюсь, станет ясно, почему. Впрочем, закавычить не помешало бы первое слово названия: «Битов», то есть автор, каким он предстает в тексте. По словам, впоследствии оброненным тем же сочинителем через подставное лицо, самое трудное – выдумать не то, о чем писать, а того, кто пишет. Или, как сказано в предуведомлении к трилогии «Оглашенные», «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Так вот, мысленно переместим кавычки со слова «Пенелопа» к слову «Битов», и тогда все станет на свои филологически- и политкорректные места...

Я давно не перечитывала этот рассказ и, помню, в своих прежних битовских студиях определила его ближайшую тему как изображение «подлости хорошего человека». Я и сейчас от определения этого, от заключенного в нем оксюморона, – не отказываюсь. Ведь именно в «Пенелопе» произошло то, что Сергей Бочаров называет «основным творческим событием молодого Битова», а именно (продолжаю цитату), «авторразделением на автора и героя». Этого «события» еще нет в «Бездельнике», написанном от первого лица в духе исповедальной молодежной прозы того времени – хотя одним махом перекрывающем все ее скромные возможности. Это «событие» в «Улетающем Монахове» с полной ясностью являет себя, начиная лишь с третьего рассказа, где Монахов уже настолько «дозрел» в своей отдельности, что автор не смущаясь подглядывает за ним и за его спиной комментирует свои наблюдения. И еще раньше, в «Пушкинском доме», это же «событие» становится конструктивным принципом романа (см. «Ахиллес и черепаха» и истолкование этого автокомментария к роману опять же Сергеем Бочаровым).

Но впервые именно в «Пенелопе» автор вступает с центральным субъектом, Лобышевым, в свои собственные отношения и внутри Лобышева не прячется: «Так вот, я приступаю к началу рассказа», – говорит он, специально обнаруживая себя – отнюдь, впрочем, не на первой странице, а в острый момент завязки. Ну и дальше: «...я могу поручиться, что **он** услышал именно это...». «Я» и «он». И если автор (снова Бочарова) «делится с героем авторским избытком», то есть великодушно вручает ему право на саморефлексию и мучительную самооценку (и уж по этому одному герой, делающий подлость, относится к разряду «хороших людей»), то делится с ним этим избытком не до конца. «Единое ощущение», которое испытывает Лобышев, глядя на свою, скажем так, жертву, не доходит до его сознания и расшифровывается именно автором: «...но это было слишком грандиозно для лобышевского сознания – взрывалось и опрокидывало». Так же извне, от автора, квалифицируются свойства лобышевских мыслей и степень их осознанности – мыслей, то вскользь мелькающих, как змеи, то «больших и шуршащих, как совы».

И, должно быть, оттого, что, помимо экранчика в голове «авторского», «личного» героя, на который проецируется внутренний сюжет, в рассказе есть еще экран, неприметно натянутый автором, тут получается утроенное, а то и учетверенное, кино (большие постановочные возможности!).

Ну, во-первых, – тот фильм, который хотел бы увидеть Лобышев, собирающийся убить на киносеансе два часа свободного времени, чтобы не пришлось размышлять о себе, – фильм, отвечающий его продвинутому вкусу (киноведы сказали бы, что это «новая волна»): «...наше время, машины, длинные такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте и черные деревья пустых парков...»

Во-вторых, это американский боевик на фабулу «Одиссеи», которую, гомеровскую, Лобышев никогда не читал, а голливудское варевое заранее считает пошлым и заранее же ловит себя на том, что эта пошлость зацепит его и доставит удовольствие; впрочем, оказывается, что пошлость там или не пошлость, но Голливуд всегда знает, какие архетипы оживить в воображении зрителя, и несмотря на скепсис, наш герой получает естественное удовольствие от идентификации себя с героем киношным.

Наконец, третий фильм – кинематографичность самого рассказа с его, Бочаровым же сказано, «нравственно-световыми эффектами». Укрытия в темных зонах: кассы кинотеатра, подворотня, кинозал, парадная, где герой принадлежит себе и себя не стыдится. И выход на всеобщее обозрение, на свет Божий: солнечный Невский, где пока еще одинокий герой легок и радостен, но успевает «вскользь» подумать, что одет по-походному, по-загородному и потому не девушки глядят на него, а больше он на них; фойе и буфет кинотеатра, где все видят его с «задрипанной» спутницей; снова Невский, где невыносимо предстать с нею вместе; и, наконец, она на свету, в кадре, удаляющаяся из глубины парадной, словно душа, влекомая по посмертному туннелю.

До какого-то момента это «бичевание светом», солнечным ветром, которому подвергается Лобышев, – словно пародия на воздушные мытарства, так как мучит его на свету не совесть, а, как я однажды сформулировала, «недоброкачественный стыд»; «при свете ложного стыда» – можно было бы сказать. «Как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то, а не себя перед собой», – думает он. – «И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Лобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Лобышев». Но вот, в финале, попадание на свет меняет свое качество: «Вышел на Невский. Солнце. <...> Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все у него на лбу написано». «Никто не видит» в укроме его собственного сознания – и, оказывается, «все видят», видят то, что «на лбу написано». Это уже свет нравственно-метафизический, не пародия на мытарства, а мытарство истинное. (Для меня – ответ «этическому» атеисту, уверенному, что никто тебя не видит и что для совести достаточно, мол, что сам себя видишь.) Тут словно сон Григория Отрепьева в «Борисе Годунове»: «...народ на площади кипел / И на меня указывал со смехом, / И стыдно мне и страшно становилось». Не знаю, можно ли передать разность этих двух световых явлений не на бумаге, а сценграфически, но в рассказе она дает подобие катарсиса.

Есть, однако, еще один «фильм», в зародыше, не состоявшийся, и его несостоятельность свидетельствует о многом. Наш герой, еще в полумраке подворотни, не разглядев случайную спутницу, не упускает случая пофлиртовать и по укоренившейся привычке примеряет себя и ее к некоторому чужому взгляду – примеряет как недурную пару: «И вот он, такой высокий и широкоплечий, чуть повернув и наклонив к ней голову, такой маленькой и ладной...» Чем не кинокадр (в скобках отметим немилосердную авторскую иронию). Тут ведь погибший росток неистребимой фабулы киношного «мыла», давней-предавней: «В кинематографе вечером / Знатный барон целовался под пальмой / С барышней низкого звания, / Ее до себя возвышая». Представим себе, что он ее притащил бы к себе, отмыл, накормил, полюбил... Но этого «фильма» нет и в помине, понятное дело.

Итак, «подлость хорошего человека». Настолько хорошего, что античные сила и хитроумие, их героический культ (правда, пропущенный сквозь упрощающую голливудскую призму), кажутся ему, воспитанному в неосознанно христианских нормах, – «хамскими». Настолько хорошего, что, умозаключив о бедности встреченной девушки («ведь вот для нее рубль, может, целый день житья»), он тут же почувствовал «хамство такой мысли, несовременное причем хамство» (это уж плод, и не худший, советского воспитания: мысль об имущественном неравенстве не допускается в полной своей наготе – как унижительная для бедняка). Настолько хорошего, что он ни за что не может показать девушке, как он ее стыдится (хотя невольно показывает). И настолько старающегося казаться в ее глазах хорошим (а это уже другой коленкор), что не может с ней расстаться без попытки хорошей мины, без заключительного вранья, которое, собственно, подлость и есть, то есть подлое деяние, деятельная подлость, а не слегка подловатая мыслишка.

Кончается же рассказ всем памятным самоприговором хорошего человека, не знающего, «как же он будет с этим жить»: «...Ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, но каждый день...»

Ну да, каждый день. Мой приятель (теперь он священник) рассказывал, что как-то в юности решил подсчитать, сколько раз врет на дню: оказалось, много, пальцев на руках не хватило. Тот же эксперимент может поставить на себе любой из нас. И вот, рассказ Битова начинается с по-

тенциального вранья зависимого, по макушку втиснутого в социальную ячейку существа: повстречался бы начальник – пришлось бы делать бодрую мину, заводить подобострастный, в сущности, разговор о «плане» и т. д. «Дожил вот, и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулках». Рассказ продолжается мелким, невинным враньем – звонком домой матери: «Да вот, приходится тут в конторе ждать... вряд ли сегодня удастся... да, придется ехать сразу» – просто хочется погулять, а правду-то маме не скажешь. И повторю, все завершается грандиозным враньем, что ударяет по другому человеческому существу и по тебе самому.

Тут-то, еще по самому первому, помню, впечатлению, я пережила некоторую заминку на ставшей уже знаменитой фразе: «...это же я делаю каждый день!» *Такое* – каждый день? Это уж слишком! Человек, выходит, не понимает, что он переступил некую черту простительной нечистоты и его «больше – меньше» здесь уже не работает. А что же такого он сделал?

Перечитав рассказ нынче (я и выбрала его для разговора, потому что мне все казалось, что он мною был как-то не дочитан), я неожиданно обнаружила, что это *еще* и рассказ об отношениях между мужчиной и женщиной. Обнаружила, что в этом рассказе есть не только герой, но и героиня, и хотя видна она исключительно в его оценивающем взгляде, но автор, при всем своем невмешательстве, сумел устроить как-то так, что она предстает самостоятельным и по-своему значительным существом. Отчего их отношения развиваются – и завершаются – взаимно: это дует, а не соло Лобышева.

Девушка (женщина) остается в рассказе безымянной, так как имя – это интимная метка, Лобышева не заинтересовавшая (он и сам не представился, быстро сообразив, что не тот случай). Но понять про нее можно многое. Самое первое и внешнее – ее социальное место. Тогда про таких говорили: «лимитчица», сейчас сказали бы: «бомжеватая». И безработная. Ей явно негде остановиться, негде поесть, у нее с собой нет даже сумки; должно быть, из загорода она захватила, чтобы при случае «привести себя в порядок», бигуди, упрятанные в вязаную шапочку чуть ли не за пазухой. Билет в кино купила, видно, потому, чтобы ветренным осенним днем переждать в тепле хотя бы два часа. Но при этом первый ее ни к кому не обращенный возглас: «Ах, скоты, скоты!» – не о своем бедственном положении, а, как вскоре выясняется, о беде, случившейся с другим: «Совсем бедная женщина, старушка, в очереди, а у нее деньги украли». К слову заметим, что разговор про обобранную старушку резанет слух нашего героя («что-то извивалось внутри от неудобства»), тема-то «обывательская».

Но вот завязывается знакомство – по инициативе мужчины, рефлекторно реагирующего на молодой женский голос, не слишком в себе уверенного и радующегося, что удалось найти подходящую вводную реплику. Женщина откликается. Откликается совершенно простоудушно и бескорыстно, хотя и несколько вульгарно, в соответствии со средой, к которой принадлежит. Она в восторге от видного парня и, поскольку на нем непарадный прикид – куртка и сапоги, не понимает еще, что он не ее поля ягода. Хочется сказать, да так и скажу, что с ее стороны это любовь с первого взгляда: «И заглянула на него и преданно, и восхищенно, можно сказать, любовно, или призывно... черт знает как она на него взглянула». В дальнейшем она, когда-то хлебнувшая, по заключению партнера, «жуткого» опыта, начнет догадываться, что не по Сеньке шапка, и с отчаяния задаст чудовищный для ушей тонкого Лобышева «интеллигентный» вопрос: «А как ты относишься к абстрактной живописи?» – но оторваться от знакомого уже не сможет. И лишь когда он сам похвастается (во всяком случае, он ощущает это как хвастовство, ему виднее) служебным положением («начальник отряда в экспедиции»), она вспомнит о своей незавидной доле, ухватится за представившийся случай и начнет, как говорили в старину, «предлагаться».

Но едва оба вышли из кино и «солнечный свет ударил в глаза», она в этом свете увидит всю правду, всю истину своего положения («мир выталкивал ее из себя – такое у нее было лицо») и поведет себя, я бы сказала, не без чуткого достоинства. Под руку его не берет и переходит «на вы», сама обозначая неизбежную границу (а он продолжает тыкать – как низшей по положению). В своей «грустной деревянности и чуждости» она разумеет очень и очень многое, и особенно весома ее предпрошальная реплика: «А ведь я приеду» (на несуществующую базу на неведомом пятидесяти третьем километре, куда ехать, она уже знает, не к кому и незачем). Это «ведь приеду» – тихая угроза, исходящая от беззащитного существа: дескать, ведь правда могла бы приехать, на что же ты рассчитываешь? И уходит, не оборачиваясь. Бессильная кара. В эти мгновения Лобышев в таком ужасе от своего поступка, что, сосредоточенный на себе, не замечает, что побежден и наказан не только собственной совестью.

Тут оглянемся на то, как с этой женщиной ведет себя он, вплоть до неутешительного финала. Уже помним: начинает флирт первым, настроенный на легкость и удачу в эту солнечную осеннюю любимую свою погоду («его нигде не грызло и не тянуло» — редкое состояние!). Продолжает флирт, не разглядев, с кем (перешагнув «линию раздела», отделяющую темную подворотню от солнечного Невского), продолжает по всем нажитым правилам этого нехитрого обряда — «светски», «с легкой иронией», означающей «некую посвященность обеих сторон». Потом, на свету, перед дверьми кинотеатра уже примечает, глазами предполагаемых других, «неприличие» спутницы, но одновременно откликается на ее преданный и восхищенный взгляд. Так что «одна половина [Лобышева], которую как бы никто не видел, уже спала с этой девушкой <...> а другая уже упиралась и отставала, на эту другую смотрели во все глаза люди, много людей». При том что «половина», которая откликнулась на женский зов, не утихомиривается на протяжении всей совместной истории. Чувствующий себя словно в кошмарном сне «на людях без штанов», между тем «где-то он и уходить не хочет» — не хочет избавиться от виновницы кошмара. А инициированный женщиной переход «на ты» для Лобышева — «как на американских горках: перехватило дух». И вот уже он морочит ей голову, обещая устроить на работу «со всей серьезностью и убедительностью, которых бы не мог объяснить, если бы осознал». Объяснение простое — не в силах отказаться от начатой им игры мужчины и женщины, мужчины с женщиной. А на ее нескромный намек отвечает, как ему кажется, в тон — сальностью — и смеется «гаденько», входя в роль похотливого начальника (продельвая все это, что называется, «на автомате»). Во время сеанса женщина ведет себя так, как свойственно в затемненном зале любым парочкам, «и Лобышеву было в общем приятно, как она обращается с ним в темноте». Разве что экранная Пенелопа отвлекает его от этих интересных ощущений. Та самая, мужская задетая любовной игрой, «половина» усыхает в Лобышеве лишь по окончательном выходе в освещенную солнцем и взглядами публичную зону. «Не Пенелопа», — резонирует в нем нечто вялой и бездеятельной жалостью. Игра окончена.

Не Пенелопа. Рассказ же называется «Пенелопа». Название, под верхним слоем направленной на героя иронии, сигнализирует, мне кажется, о чем-то очень значительном в мире Битова. Оно, это название, как и сам рассказ, стоит у истока битовской темы «любви — не любви». У Битова нет эротического лейтмотива, отдельного от общей и главной его мирозерцательной диспозиции: мир «подлинников» и «образцов» versus мир социально-условных ролей и зависимость от них «героя нашего времени», нашей цивилизации. О том же, как замечательно пишет Битов свои «восемь строк о свойствах страсти», как «строками» этими поясняет свою ценностную диалектику, — почти не говорят. Юрий Карабчиевский в статье, блистательно открывшей изучение «Пушкинского дома» и включенной в «имперский» четырехтомник Битова в качестве путеводителя по роману, тем не менее жалуется на «замедленность» и «вялость» любовного раздела, хотя и признает, что там есть «такие достоверные, такие насыщенные чувством и действием странички». И только недавняя статья Ирины Сурат о «Преподавателе симметрии» прорывает непроизвольную блокаду. Я с этой статьей далеко не во всем согласна, но она воодушевила меня на экстраполяцию «Пенелопы» в не слишком ожидаемые области.

Пенелопа — архетипический образ женской преданности при неотъемлемой женской привлекательности. Зачуханная женская особь, с которой повстречался изначальный битовский герой, не лишена ни того, ни другого (в ее естестве нет ничего отталкивающего, заметим, опираясь на рефлексы ее партнера, — отталкивающая лишь публичная нелепость ее оформления). Вот в таком-то невозможном виде, почти как в Аристотелевых перипетиях незнания, является основополагающему герою некий женственный образ, который он потом будет разгадывать и варьировать в своем сознании.

Поэтому такое значение имеет фильм, который Лобышев смотрит и по ходу экранного действия, как и положено интеллектуалу, обдумывает. (Представим на минуту, что фильм в сюжете рассказа был бы безымянным и не ошупан мыслью центрального лица; вроде бы история во всех основных моментах сохранилась, а рассказ бы погас.) И Одиссей, и Пенелопа, и не названная царевна Навсикая, которой экранный Одиссей говорит: «Я ухожу и унесу эти ваши слезы», — отчего, по Лобышеву, «совсем уж нечеловеком станвится» (а сам-то?) — все это, на далеком авторском экране, апелляция к вечным образцам, подсвечивающим происшествие, случившееся в нашей «обыденно-эпической действительности». Раз уж навели меня мысли Сурат на «Преподавателя симметрии», продемонстрирую аналогию, пробившуюся сквозь десятилетия в любовный сюжет: «...Я будто стоял на носу некой античной галеры, как Одиссей, и плыл в ночи, овеваемый

ветром, навстречу звездам, сиренам и волнам, плыл и пел – вдруг, словно бы риф, галера раскололась, я провалился в трюм, трюм оказался кабачком...» («Вид неба Трои»).

Так вот, в «Пушкинском доме» эта – так и не состоявшаяся, но оставившая свой рубец в чувствительнице битовского человека – Пенелопа раздваивается на Фаину и Альбину. Фаина, как это ни дико прозвучит, девушке из раннего рассказа «социально близкая»: со своей очевидной вульгарностью, толстомясой мамашей из Ростова, дешевым колечком «желтого металла», поношенным бывшим мужем, суховатыми своими руками (деталь, говорящая о «возрасте опыта» больше, чем любые прямые указания). Она не ровня Лева «из тех самых Одоевцевых», как «лимитчица» – Лобышеву. Наконец, эта женщина-вамп (как и Ася в монаховской истории, принадлежащая к тому же слою «простолюдинок») – уж точно не Пенелопа, ибо неверность – ее основное и, может быть, самое соблазнительное качество. Но в какой-то момент, вне всех приводящих и уточняющих характеристик, она впечаталась – поверим Лева, что красотой своей, – на его сетчатке как тот самый образ анимы, сужденного женственного начала (абберация? прозрение?), и он, глядя из окна Пушкинского дома на нее, идущую с неведомым соперником, говорит себе, безревностно и бескорыстно: «Она жена моя».

Преданная же Альбина, своя по корням и духу, – не любима и потому некрасива, хоть одевается со вкусом и на самом деле хороша собой, как Лева наконец увидел в момент расставания. Лева стыдится ее ровно так же, как Лобышев – своей невозможной спутницы, безжалостно прячась с нею, озявшей в промозглую погоду, по темным переулкам: «... ему действительно почти делалось дурно от кажущегося внимания толпы к нему с Альбиной». И у нее все время развязываются обувные шнурки так же неуместно и так же раздражающе спутника, как у «Пенелопы» (не-Пенелопы) никак не садится на место ее женское тряпье. И еще одна черточка общая: способность откликаться на чужую судьбу. Таково, помним, первое явление, первые слова героини рассказа – такова же Альбина, которая «никогда не была и не бывала одна», а всегда – оплетенная человеческими связями.

Но вот они слевой расстанутся навсегда, и эти драматические секунды, когда «Лева шел по желтой дорожке садика и уходил, и долго он так шел с этой желтизной перед глазами», чем-то, в обратном изображении, напоминают долгий проход лобышевской девушки по «туннелю» парадной. В мгновения эти уясняется: «В первый и последний раз перед ним реально возник тот врожденный образ вечной любви, с олицетворением которого он так настойчиво приставал по первому адресу... Это была Она – и он тут же простился с нею навсегда, больше не мечтая о том, чего не бывает в жизни».

Два прозрения: Фаина, «жена моя», первая и, значит, первообразная любовь, – и Альбина, «врожденный образ вечной любви». Раздвоившаяся на две ипостаси Пенелопа, так и оставшаяся неопознанной – скажу почти кощунственно – «в рабьем зраке». Раздвоение этого образа – симптом раздвоения самого битовского героя, варианты какого раздвоения, от «романа-пунктира» до «Ожидания обезьян», я перечислять не стану; тут другая, особая тема. Замечу только, что в упомянутой новелле из «Преподавателя симметрии» – «Вид неба Трои», – где Дика, Эвридика, не выведена своим Орфеем из ада смерти, поскольку он увлечен мечтой о «бумажной Елене», о том, «чего не бывает в жизни», в новелле этой еще раз, на новый, уже откровенно переплетенный с мифами, лад проигрывается раздвоение женского образа – отсутствующего минус-образа Пенелопы. (Но тут я снова отсылаю к статье Ирины Сурат в № 4 «Октября» за 2007 год, где новелла пристально разобрана.)

Видите, как далеко, отчасти для самой неожиданно, завело меня последнее по времени перечитывание рассказа: вечная женская преданность является своему герою, «такому высокому и широкоплечему» – «такая маленькая и ладная», и удаляется, не узанная и не оцененная в сиюминутном непрезентабельном облике.

Мне могут возразить, да и сама я себе с готовностью возражу, что «не о том» рассказ. А о том, как человек, поработившийся социуму, живущий в «неточном сне», получив некий урок, с ужасом понимает о себе, что «не властен в каждом шаге, движении и слове», что «целая жизнь у него такая», жизнь на ложных началах. Да, конечно: вот тема, с которой Битов пришел в литературу, как с визитной карточкой. И можно счесть, что замухрышка-Пенелопа – только повод, только наглядное пособие для преподания герою этого урока. Но большой художник – даже невольно, даже, что еще ценней, не до конца это осознавая – затрагивает ключевые основы существования, проращивая их сквозь социальную психологию пресловутого «нашего времени». И я

уверена, что этот выход в надвременную перспективу в одном из самых диагностически точных по отношению к своей эпохе рассказов Битова – не моя иллюзия, а заочный сюжет, вписанный в сюжет очевидный симпатическими чернилами.

ТЫНЯНОВ И КЮХЛЯ: ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО

РОЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

«Кюхля» – первый роман, первая художественная проза Юрия Тынянова (ее предварял лишь опубликованный под псевдонимом короткий рассказ «Попугай Брукса»). Книга заказная – и неожиданная, написанная быстро, в один присест – и подготовленная всей жизнью тридцатилетнего ученого-филолога, теоретика-формалиста, одного из вождей знаменитого ОПОЯЗа (Общества по изучению поэтического языка).

Юрий Николаевич Тынянов родился в 1894 году в городе Режице Витебской губернии (ныне – Резекне, республика Латвия). Гимназию он окончил во Пскове, поступал в Петербургский, а оканчивал уже Петроградский университет (1918), занимался в знаменитом пушкинском семинаре С. А. Венгерова и для одного из первых студенческих докладов выбрал тему «Пушкин и Кюхельбекер». «Прочел доклад о Кюхельбекере. Венгеров оживился. Захлопал. Так началась моя работа» («Автобиография», 1939).

Эта работа развертывалась в разных направлениях. Держа в фокусе творчество Пушкина («Архаисты и Пушкин» – главная его историко-литературная работа двадцатых годов), Тынянов вместе с товарищами по ОПОЯЗу создает формальную теорию литературы, занимается проблемами стиха, пишет о Гоголе и Достоевском, Некрасове, Тютчеве, Гейне, Блоке. В середине двадцатых годов он уже – признанный ученый, профессор ГИИИ (Государственного института истории искусств), любимец студентов. Однако его известность до поры до времени не выходит за пределы академического круга. «Молодой Тынянов был человек говорливый, общительный и жизнерадостный, – вспоминал Н. Чуковский. – В то – начальное – время водился он и дружил не с поэтами и прозаиками, а с теоретиками и историками литературы – с Виктором Шкловским и Борисом Эйхенбаумом и с более молодыми – Григорием Гуковским и Николаем Степановым. Тогда еще никому – в том числе и ему – не приходило в голову, что он будет не ученым, а писателем, автором романов и повестей» («Ю. Н. Тынянов»).

В середине двадцатых годов внешне случайно, но, по сути, вполне закономерно, происходит резкий слом, переход в иную область литературы, оказавшийся возвращением к юношеской любви («Я, столкнувшись с Кюхлей, полюбил его...», – признается Тынянов в письме В. Шкловскому, март – апрель 1928). Инициатором-провокатором этого перехода оказался отец только что процитированного мемуариста, Корней Чуковский, очень ценивший Тынянова как импровизатора, бытового рассказчика, но прохладно относившийся к его теориям и научным работам.

В конце 1924 года Тынянов читал лекцию об «архаисте» Кюхельбекере в литературном кружке, на которой присутствовал и автор «Мойдодыра». «Лекция была посвящена исключительно стилю писателя, причем стиль рассматривался как некая самоцельная сущность; и, так как слушатели были равнодушны к проблемам, которые ставил перед ними докладчик, и вообще утомлены целодневной работой, они приняли лекцию сумрачно. Но когда после окончания лекции мы шли обратно по Невскому и потом по Литейному, Юрий Николаевич так художественно, с таким обилием живописных подробностей рассказал мне трагическую жизнь поэта, так образно представил его отношения к Пушкину, к Рылееву, к Грибоедову, к Пушкину, что я довольно наивно и, пожалуй, бестактно воскликнул:

– Почему же вы не рассказали о Кюхле всего этого там, перед аудиторией, в клубе? Ведь это взволновало бы всех. А мне здесь, на улице, вот сейчас, по дороге, рассказали бы то, что говорили им там.

Он насупился. Ему было неприятно при мысли, что Тынянов-художник может нанести хоть малейший ущерб Тынянову-ученому, автору теоретических книг и статей».

Однако через несколько дней ленинградское издательство «Кубуч» по инициативе Чуковского заключило с Тыняновым договор на популярную книжку о Кюхельбекере для школьников: начиналась подготовка к празднованию столетия со дня восстания декабристов. Вскоре Тынянов представил оконченную работу. По версии Н. Чуковского, скорость сочинения романа была фантастической: «Кюхлю» он написал меньше чем за три недели. Он писал запоем, по двадцать часов в сутки, почти без сна и даже почти без еды». Эту версию или легенду трудно проверить. «Пишут, как любят, — без свидетелей», — лаконично заканчивает Тынянов ответ на анкету «Как мы пишем» (1930).

Тем не менее, результат удивил многих. «Я хорошо помню свое изумление, когда он принес мне объемистую рукопись "Кюхли", в которой, когда мы подсчитали страницы, оказалось не пять, а девятнадцать листов! < Сам Тынянов называет чуть иные цифры: "Первая моя книга по договору должна была равняться шести печатным листам, а написал 20" > Так легко писал он этот свой первый роман, что даже не заметил, как у него написались четырнадцать лишних листов! Вместо восьмидесяти заказанных ему страниц он, сам того не замечая, написал больше трехсот, то есть перевыполнил план чуть ли не на четыреста процентов. Все главы, за исключением двух-трех, были написаны им прямо набело и поразительно быстро. Он почти не справлялся с архивами, так как все они были у него в голове», — продолжает свой рассказ К. Чуковский («Юрий Тынянов», 1958).

Книга появилась в начале декабря 1925 года. За день до ее выхода Тынянов написал в знаменитой «Чукоккале»:

Сижу, бледнея, над экспромтом,
И даже рифм не подыскать.
Перед потомками потом там
За все придется отвечать
(Накануне рождения «Кюхли» — поэтому так плохо)».

Тревога оказалось напрасной. Неизвестно, понравился ли роман первоначальным адресатам, школьникам, но он привлек внимание Горького, потревожившего даже тень Льва Толстого: «Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются "Кюхлей" Ю. Тынянова. Я тоже рад, что такая книга написана. <...> Вот что я бы сказал: после "Войны и мира" в этом роде и так никто еще не писал. <...> У меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха "Кюхли"» (К. Федину, февраль 1926).

А ученики Тынянова в Институте истории искусств (Б. Бухштаб, Л. Гинзбург, Л. Успенский) в это же время распевали сочиненный ими же «гимн формалистов»:

И вот уж крадется, как тать,
Сквозь ленинградские туманы
Писатель лекции читать,
Профессор Т. писать романы.

Благодаря «Кюхле» за один год профессор Т. превратился в известного писателя Юрия Тынянова.

Роман с героем

«Он открыл читателю забытого и осмеянного Кюхельбекера», — обычно утверждают поклонники писателя Тынянова.

«Кюхля стал главным другом Тынянова. Он воскресил Кюхлю. Даже память о Кюхельбекере как о друге Пушкина покрывалась памятью о милом Дельвиге, тоже лицейском товарище Пушкина. Жизнь текла мимо рукописей Кюхельбекера и по Садовой улице, по Невскому, но никто не интересовался Кюхельбекером. Когда-то Екатерина осмеяла ученого-революционера Тредиаковского, и даже Радищев не смог воскресить память создателя русского стиха. Кюхельбекер, осмеянный после декабрьского восстания, был воскрешен Тыняновым» (В. Шкловский. «Город нашей юности», 1964, 1974).

«Роман оказался пересмотром такого традиционного и неправильного мнения о человеке, которого знали только по эпиграммам. Книга пересмотрела традиционное мнение и вывела человека за пределы эпиграммы. <...> Когда этот человек жил, с ним не спорили, а смеялись над длинным носом и неумением держаться в обществе. Последующее литературоведение изучало не писателя, а смешные рассказы про него» (А. Белинков. «Юрий Тынянов», 1965).

Профессор Т., вероятно, с этим не согласился бы. Кюхельбекера не надо было воскрешать, он никогда не был абсолютно забытым автором, и его изучение не сводилось к собиранию эпиграмм и анекдотов. Он активно печатался до декабрьского восстания. С помощью друзей под псевдонимами появлялись некоторые произведения ссыльного каторжника. Потом, уже усилиями филологов и историков, начались посмертные публикации, в том числе кюхельберовского дневника («Русская старина», 1875, 1883, 1884, 1893). Хотя это были лишь скромные части из рукописного наследия, Кюхля прочно прописался в истории литературы.

В словаре Брокгауза он именуется *известным писателем*. В «Русском биографическом словаре» поэту, декабристу посвящена большая статья (Ив. Кубикова), в которой специально отмечено: «Литература о Кюхельбекере обширна», – хотя четко сформулирован ее общий знаменатель: «Так грустно закончилась многострадальная судьба Кюхельбекера, имя которого сохранила история не столько ввиду его заслуг перед отечественной литературой, сколько ввиду особых условий: его имя нельзя было выключить из созвездия славных имен наших писателей начала XIX века, ибо последние всегда считали его самым близким членом своей среды; с другой стороны, Кюхельбекера не могли забыть и по его злополучной судьбе».

В «Кюхле» Тынянов опирается как раз на материал, в значительной степени собранный предшествующими исследователями. Он не открывает, а *раскрывает* героя, превращает имя – в *персонажа*, создает на основе легенды – *образ*.

Жизнь Кюхли оказывается важнее книг. Многострадальная *судьба* и *место в культуре* (соученик Пушкина и Дельвига, друг Грибоедова, соратник Рылеева, как и он, первоначально приговоренный к смертной казни) обеспечивают ему большее внимание, чем литературные заслуги.

Внешне книга помнит о своем происхождении из популярной брошюры, из биографической повести для юношества (ее даже сравнивали с сочинениями дореволюционного детского писателя В. Авенариуса).

В тринадцати главах последовательно рассказана жизнь Кюхельбекера от поступления в лицей до смерти в Тобольске. Заголовки, как правило, обозначают географические перемещения героя: «Петербург» – «Европа» – «Кавказ» – «Деревня» – «Крепость». Крупным планом (этому посвящена примерно треть романа) выделено главное событие кюхельбекеровского биографического канона – участие в декабрьских событиях: «Сыны отечества» – «Декабрь» – «Петровская площадь» – «Побег».

В качестве эпизодических персонажей появляются, как замечено в чеховской юмореске «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?»», «белокурые друзья и рыжие враги»: Пушкин, Дельвиг, Грибоедов, Рылеев, Булгарин и Греч. Присутствуют и обязательные в таких произведениях персонажи большой истории: Николай I, великий князь Константин, генерал Милорадович.

Концовки больших глав и главок мерно отбивают историческое время: «8 июня 1817 года. Ночь. Никому не спится. Завтра прощание с Лицеем, с товарищами, а там, а там... Никто не знает, что там. <...> Кончился Лицей. ("Бехелькюкериада") – «19 сентября 1821 года коллежский ассессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер был официально зачислен на службу при канцелярии наместника кавказского, но еще 31 августа, не дожидаясь утверждения, он выехал с Ермоловым на Кавказ». («Европа») – «16 октября 1827 года Вильгельма привезли в Динанбургскую крепость» («Крепость», гл. 4).

Однако схема биографической повести становится для писателя Юрия Тынянова экспериментальной площадкой, поводом для создания собственного жанрового канона, который определит и выделит его писательскую трилогию на фоне советской исторической прозы двадцатых-тридцатых годов.

Профессор Т. как историк литературы навсегда связан с золотым веком. Писатель Тынянов сформировался в орбите искусства века серебряного. Его романы сравнивали с прозой Мережковского; еще логичнее было бы вспомнить Андрея Белого. «Традиционный» исторический роман первого советского десятилетия использовал поэтику выработанного в XIX веке романа социального-психологического, где характер героя создавался в сцеплении описаний и диалогов, психо-

логического анализа и живописного показа, характерологического слова героя и авторского комментария.

Искусство модернизма резко изменило соотношение элементов, перенеся центр тяжести с объективного изображения и объяснения персонажа на субъективное конструирование и «подглядывание» за ним.

Тынянов в изображении героев (в том числе и главного), как правило, отменяет внутреннюю точку зрения: чувства не анализируются, а изображаются во внешних проявлениях, деталях. В этом плане его проза непсихологична, в том смысле, в каком психологический анализ утвердил в русской прозе Лермонтов. Но от простодушной иронии и краткости «Повестей Белкина» «Кюхля» тоже далек. В романе слишком много даже не типичных, а причудливых, парадоксальных, «остренных» деталей, композиционных сцеплений, лирических сгущений. Вот последний эпизод первой главы – посещение приехавшими на церемонию открытия лица царствующими особами столовой:

«Старшая императрица пробует суп.

Она подходит к Вильгельму сзади, опирается на его плечи и спрашивает благосклонно: – Карош зуп?

Вильгельм от неожиданности давится пирожком, пробует встать и, к ужасу своему, отвечает тонким голосом: *Oui, monsieur* < франц. – да, сударь>.

Пушин, который сидит рядом с ним, глотает горячий суп и делает отчаянное лицо. Тогда Пушкин втягивает голову в плечи, и ложка застывает у него в воздухе.

Великий князь Константин, который стоит у окна с сестрой и занимается тем, что щиплет ее и щекочет, слышит все издали и начинает хохотать. Смех у него лающий и деревянный, как будто кто-то щелкает на счетах.

Императрица вдруг обижается и величественно проплывает мимо лицеистов. Тогда Константин подходит к столу и с интересом, оттянув книзу свою отвисшую губу, смотрит на Вильгельма; Вильгельм ему положительно нравится. А Вильгельм чувствует, что сейчас расплечется. Он крепится. Его лицо с выкаченными глазами багровеет, а нижняя губа дрожит.

Все кончилось, однако, благополучно. Его высочество уходит к окну – щекотать ее высочество. 19 октября 1811 года кончается.

Вильгельм – лицеист» («Виля», гл. 3).

«Вторичные» детали (деревянный смех и игра с сестрой Константина) занимают здесь больше места, чем испуг Кюхельбекера. Сцена в целом – подчеркнутость движений, внешнее выражение эмоций, ломаный язык, реплики невпопад – напоминает кукольный спектакль. Недаром коллега профессора Т., известный эмигрантский филолог К. Мочульский, в рецензии на «Кюхлю» (в целом недоброжелательной) сравнил «построение действия» с «театром марионеток» (Ю. Тынянов «Кюхля», 1926).

Налет игрушечности происходящего проявляется в самых драматических сценах. Весь день восстания Кюхля бродит по городу с пистолетом, который так и не выстрелил. Его внезапная встреча с Горчаковым и абсурдный разговор тоже напоминает кукольный театр:

«Он, прищурясь, близоруко всматривается в Вильгельма, кивает ему снисходительно и вдруг замечает в руке Вильгельма длинный пистолет.

– Что это такое? – он поправляет очки.

– Это? – переспрашивает Вильгельм, тоже рассеянно, и смотрит на свою руку. – Пистолет. Горчаков задумывается, смотрит по сторонам и говорит фореитору:

– Трогай, голубчик.

Он вежливо раскланивается с Вильгельмом и, ничего не понимая, проезжает дальше» («Петровская площадь», гл. 8).

Но в кукольных декорациях развертывается трагический сюжет.

В первом издании книга Тынянова имела подзаголовок «Повесть о декабристе». Потом он исчез – и, кажется, вполне справедливо. Уделяя много места историческим обстоятельствам, Тынянов все-таки делает акцент на ином. Кюхельбекер в романе – вовсе не идейный борец и вряд ли неузнанный замечательный писатель. Он – преданный литературе и друзьям неудачник, чудака (это определение – одно из ключевых в романе), простуженный на сквозняках истории, но так и не научившийся жить как все.

Жизнь Кюхли – история разочарований и потерь. Над его стихами смеются уже в лицее, поначалу воспринимающий Вильгельма как своего («Чудака старого света полюбил нового чудака»)

богач Нарышкин избавляется от него в Париже, Ермолов – на Кавказе. Любимая девушка, так и не дождавшись свадьбы, выходит замуж за другого. Пистолет на Петровской площади раз за разом дает осечку. Поначалу удачно складывающийся побег (Кюхельбекер был единственным, кому после восстания удалось бежать) все-таки завершается арестом и кандалами. Одиночка в крепости переносится тяжелее, чем сибирская каторга в кругу товарищей по несчастью.

«У Греча была своя типография, у Булгарина был журнал, у Устиньки – дом и двор, у полковника – ключи.

Только у Вильгельма никогда ничего не было. <...>

Это все были люди порядка. Вильгельм никогда не понимал людей порядка, он подозревал чужака, хитрую механику в самом простом деле, он ломал голову над тем, как это человек платит деньги, или имеет дом, или имеет власть. И никогда у него не было ни дома, ни денег, ни власти. У него было только ремесло литератора, которое принесло насмешки, брань и долги. Он всегда чувствовал – настанет день, и люди порядка обратят на него свое внимание, они его содратят, они его пристроят к месту.

Все его друзья, собственно, заботились о том, чтобы как-нибудь его пристроить к месту. И ничего не удавалось – отовсюду его выталкивало, и каждое дело, которое, казалось, вот-вот удастся, в самый последний миг срывалось: не удался даже выстрел» («Крепость», гл. 3).

Завершается эта непрерывная цепь несчастий последним сомнением – в искусстве, творчестве, которому Кюхельбекер истово (или неистово) служил всю жизнь. «А однажды Вильгельм, приподнимая левое веко, перечитывал, вернее, вглядывался и наизусть читал рукописи из своего сундука, он сотый раз читал драму, которая ставила его в ряд с писателями европейскими – Байроном и Гете. И вдруг что-то новое кольнуло его: драма ему показалась неуклюжей, стих вялым до крайности, сравнения были натянуты. Он вскопчил в ужасе. Последнее рушилось. Или он впрямь был Тредиаковским нового времени, недаром смеялись над ним до упаду все литературные наездники? С этого дня начались настоящие мучения Вильгельма» («Конец», гл.5).

Эти мучения оканчивает смерть.

Собираясь туда, Кюхельбекер обещает Пушкину передать поклон троим: Рылееву, Дельвигу и Саше (Пушкину). Лицейское братство и литературная дружба на всю жизнь остались для Кюхли высшей ценностью.

В финале автор дарит герою надежду на встречу. Последний бред-сон Кюхельбекера – свидание в садах лица: «Он слушал какой-то звук, соловья или, может быть, ручья. Звук тек, как вода. Он лежал у самого ручья, под веткою. Прямо над ним была курчавая голова. Она смеялась, скалила зубы и, шутя, щекотала рыжеватыми кудрями его глаза. Кудри были тонкие, холодные.

– Надо торопиться, – сказал Пушкин быстро.

– Я стараюсь, – отвечал Вильгельм виновато, – видишь. Пора. Я собираюсь. Все некогда. Сквозь разговор он услышал как бы женский плач.

– Кто это? Да, – вспомнил он, – Дуня.

Пушкин поцеловал его в губы. Легкий запах камфоры почудился ему.

– Брат, – сказал он Пушкину с радостью, – брат, я стараюсь» («Конец», гл. 7).

Тынянов написал роман о русском Дон Кихоте, человеке, оказавшемся больше своего таланта, но достойным своей судьбы.

Школа прозы

Историко-литературные работы Тынянова неторопливо-основательны, переполнены примерами, лишь изредка расцвечены формулами – их можно счесть набросками прозы. Его критика двадцатых годов изящна, иронична и афористична, но строится на основе формального метода, понимании стиля как «самоценной сущности», которое так не нравилось Чуковскому и утомленным службой слушателям. Это *проза мыслей*, из нее вычитается писательская личность (даже смерть Маяковского в некрологе профессор Т. истолковал стилистически, как незавершенную, сорвавшуюся «борьбу с элгией за гражданский строй поэзии»). Для романа нужно было найти иную точку опоры, иную интонацию.

Есть две версии, два существенно различающихся тыняновских комментария по поводу использования в его прозе исторических материалов: писем, мемуаров, документов, произведений подопечных авторов. В «Автобиографии» Тынянов утверждал: «В 1925 году написал роман о Кю-

хельбекере. Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. Многие ученые считали романы и вообще беллетристику халтурой. <...> Моя беллетристика возникла, главным образом, из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы. <...> Потребность познакомиться с ними поближе и понять глубже – вот чем была для меня беллетристика. Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не "выдумкой", а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда. "Выдумка" – случайность, которая зависит не от существа дела, а от художника».

В статье, вошедшей в книгу «Как мы пишем» (1930), Тынянов отводил «выдумке» больше места, рассматривая ее не как продолжение, а как преодоление документа. «Там, где кончается документ, там я начинаю. Представление о том, что вся жизнь документирована, ни на чем не основано: бывают годы без документов. Кроме того, есть такие документы: регистрируется состояние здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек – сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него, приходится обходиться самыми малыми документами».

Структурной основой «Кюхли» оказываются оба этих принципа. С одной стороны, цельная картинка-мозаика складывается из плотно пригнанных друг к другу камешков-документов. «У Тынянова огромный исторический материал. Он воспроизводит мемуары, дневники, письма, стихи, полицейские донесения. Это – канва», – отмечал К. Мочульский. Действительно, даже за случайным упоминанием, проходной деталью у Тынянова почти всегда стоит конкретный источник (их полный перечень пока не определен, подробного комментария к «Кюхле» не существует). «...Цензура не пропускала стихов к женщинам, если улыбки их назывались небесными», – мелькает в перечислении пример отсутствия «воздуха» в России накануне декабрьского возмущения. Знающие материал сразу вспомнят цензурную историю «Стансов к Элизе» В. Н. Олина (1823), которые цензор Красовский запретил, в том числе, за строчку «Улыбку уст твоих небесную ловить», аргументируя: «Слишком сильно сказано; женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною». Профессор Т. в таких случаях ненавязчиво демонстрирует свою огромную эрудицию.

С другой стороны, писатель Тынянов заполняет пробелы, лакуны между документами, превращая сухие указания в сцены. В сюжетные эпизоды превращаются и чтения лицейских стихотворений, и лаконичный пушкинский рассказ о случайной встрече с Кюхельбекером на почтовой станции.

В статье «Французские отношения Кюхельбекера» (1939) профессор Т. мимоходом упомянет загадочный факт из заграничного путешествия героя и ставит точку: там, где кончается документ. «При переезде из Виллафранки в Ниццу он подвергся нападению гондольера. В послании к Пушкину он так писал об этом: "...в пучинах тихоструйных Я в ночь, безмолвен и уныл, С убийцей-гондольером плыл..." И тут же сделал примечание: "Отправляясь из Виллафранки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды". Что это был за эпизод (весьма характерный для того бурного времени), остается неизвестным».

Тынянов как романист, конечно, не мог обойти эту загадку, превращая единственное кюхельбекеровское определение в большую сцену, расцветивая «эпизод» многочисленными подробностями и предлагая его мотивировку («Европа», гл. 12). Гондольер здесь торгуется с героем, заламывает за поездку в Ниццу огромную цену, ведет какие-то таинственные переговоры с мальчиком, потом, в лодке, пытается задушить героя и, схваченный рыбаками, фактически признается, что хотел расправиться с Кюхлей, подкупленный французским шпионом. Кажется, что вся сцена сделана по канве схватки с девушкой-контрабандистской в лермонтовской «Тамани».

Результат тыняновского продолжения, раскрашивания документа оценивали неоднозначно. На фоне единодушия советской критики должен быть услышан голос скептический голос с другой стороны. «Ученый ограничился бы осторожными комментариями к документам. Романист должен сделать их живыми, современными. Для этого необходим творческий темперамент, который у автора совершенно отсутствует. Пустоты между историческими данными он заполняет отсебятиной, домыслами в стиле эпохи, разговорами, ложно-драматическим и, в сущности, ненужными», – жестко замечал К. Мочульский, заканчивая рецензию сожалением, что «драгоценнейший материал пропал даром».

В подобных упреках были основания. Страницы первого романа показывают, что далеко не все приемы поэтического ремесла Тынянов осваивает одинаково успешно. Описательные фрагменты, особенно в начале, строятся на навязчивой тавтологии, производящей впечатление то ли излишне тонкой стилистической игры, то ли недостаточной грунтовки материала. Портрет приехавшего в лицей старика Державина (написанный по канве пушкинского воспоминания) прострочен навязчивой глагольной связкой: «Он повел глазами по сторонам. Глаза *были* белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб, лицо *было* синеватое с мороза. Черты лица *были* грубые, губы дрожали. Он *был* стар» ("Бехелькюкериада", гл. 5).

Но чуть позднее, после пушкинского чтения «Воспоминаний в Царском Селе», старик, вслед за молодыми лицеистами, приобретает необычайную живость: «Была тишина. Пушкин повернулся и *убежал*. Державин вскочил и *выбежал* из-за стола. В глазах его были слезы. Он искал Пушкина. Пушкин *бежал* по лестницам вверх. Он *добежал* до своей комнаты и бросился на подушки, *плача и смеясь*. Через несколько минут к нему *вбежал* Вильгельм. Он *был бледен как полотно*. Он бросился к Пушкину, обнял его, прижал к груди и пробормотал: – Александр! Александр! Горжусь тобой. Будь счастлив. Тебе Державин лиру передает». Эта чехарда бегущих возникает из лаконичного пушкинского упоминания: «Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...» («Державин», 1835).

Сравнение «бледный как полотно» и фразы вроде «Его тянуло к нему», «...Его окликнул голос девушки», «Ему хотелось убить гондольера и бросить его с размаху в море» профессор Т. вряд ли одобрил бы: они отзываются либо банальностью, либо языковой неточностью.

Однако стиль писателя Тынянова заметно меняется по ходу текста, от начала к концу романа. Структурный стержень последних глав – уже не описания и психологические подробности, а *конструктивные метафоры*, развернутые *лирические фрагменты*, которым подчиняется и которыми предопределяется сюжетное движение, или *композиционные стыки*, словесный монтаж (в середине двадцатых годов Тынянов начинает работать в кино).

«Петровская площадь» строится на метафорах *войны площадей и конфликта социальных материалов*: «Взвешивалось старое самодержавие, *битый Павлов кирпич*. Если бы с Петровской площадью, где ветер носил *горючий песок дворянской интеллигенции*, слилась бы Адмиралтейская – с *молодой глиной черни*, – они бы перевесили. Перевесил *кирпич* и притворился *гранитом*».

Глава «Крепость» начата пространным рассуждением о вольных и невольных странствиях, в котором объективное *он* незаметно перетекает в интимное *ты*, психологический анализ героя превращается в авторское вживание в него, повторы кажутся уже не тавтологией, а своеобразными рифмами этого стихотворения в прозе: «И, когда человек путешествует не по своей воле, но для того, чтобы избежать воли чужой, – он надеется ее избежать».

И тогда он не смотрит на небо, на солнце, на тучи, на бегущие версты, на запыленные зеленые листья придорожных деревьев – или смотрит бегло. Это оттого, что он стремится вдаль, стремится покинуть именно вот эти тучи, и придорожные деревья, и бегущие версты.

Но когда человек сидит под номером шестнадцатым – и ширины в комнате три шага, а длины – пять с половиной, а лет впереди в этой комнате двадцать, и окошко маленькое, мутное, высоко над землей, – тогда путешествие радостно само по себе.

В самом деле, не все ли равно, куда тебя везут, в какой каменный гроб, немного лучше или немного хуже, сырее или суше? Главное – стремиться решительно некуда, ждать решительно нечего, и поэтому ты можешь предаваться радости по пути – ты смотришь на тучи, на солнце, на запыленные зеленые листья придорожных деревьев и ничего более не хочешь – они тебе дороги сами по себе».

Неудача восстания предсказана эффектной концовкой предшествующей главы, «Декабрь»: «Ночь тепла. Снег подтаял. Чугун спит, камни спят. Спокойно лежат в Петропавловской крепости ремонтные балки, из которых десять любых плотников могут стесать в одну ночь помост». На этот еще не сколоченный помост возведут Рылеева и других.

Цитирование письма Кюхли Грибоедову заканчивается хронологическим сопоставлением и внешне спокойной, но поразительной фразой: «Было оно написано 20 апреля 1829 года. А статский советник Грибоедов был растерзан тегеранским населением, которое на него натравили шейхи и кадии, объявившие сему статскому советнику священную войну, – января 30-го дня 1829 года.

Письмо было написано мертвому человеку» («Крепость», гл. 6).

На подобных ассоциативных сцеплениях, композиционных контрастах, метафорических рядах будет построен второй – и главный – роман трилогии, «Смерть Вазир-Мухтара» (1927 – 1928). «Кюхля» стал начальной школой тыняновского стиля.

Рифмы судьбы

Главная удача ожидала профессора Т., когда роман «Кюхля» был уже окончен. «На последних страницах романа Кюхельбекер показывает жене на сундук с рукописями: «Поезжай в Петербург... это издадут... детей определить надо». Этот сундук с рукописями впоследствии действительно попал в Петербург и долго находился в распоряжении одного из сыновей Кюхельбекера. Не знаю, какими путями, но в 1928–1929 годах к рукописям получил доступ некий антиквар, который, узнав, что Тынянов собирает все написанное Кюхельбекером, стал приносить ему эти бумаги, разумеется, по градации: от менее к более интересным. Тынянов тратил на них почти все, что у него было, и постепенно «сундук» перешел к нему», – вспоминал В. Каверин.

Материалы из этого сундука стали основой больших статей профессора Т. «Пушкин и Кюхельбекер» (1934), «Французские отношения Кюхельбекера» (1939), двухтомного собрания стихотворных произведений (1939). Получив очередную подготовленную им книгу Кюхли, Тынянов заметит: «Отдельно вышел "Прокофий Ляпунов", с издательской задержкой на 104 года». В том же письме другу Виктору Шкловскому скороговоркой сказано: «Я гуляю все меньше – раньше до Лассалья, теперь до парикмахера. Лечиться я больше не хочу и не буду» (28 октября 1938). Улица Лассалья (позднее – Бродского, ныне Михайловская) находилась в Ленинграде совсем недалеко от Плеханова (Казанской), на которой жил Тынянов.

Он заболел редкой болезнью, рассеянным склерозом, постепенно терял подвижность, думал о самоубийстве. Последняя опубликованная им статья – «Кюхельбекер о Лермонтове» (1941).

Тынянов, как и его герой, умер в 49 лет, в Москве, посередине войны, и эту смерть мало кто заметил. Завершающая книга трилогии о писателях золотого века, «Пушкин» (1935 – 1943), так и осталась неоконченной.

В день Лицея, через год после гибели Пушкина, Кюхельбекер написал свое «19 октября»:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
 Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
 В начале поприща торжеств и славы,
 Исполненный несокрушенных сил!
 <...>
 А я один средь чуждых мне людей
 Стою в ночи, беспомощный и хилый,
 Над страшной всех надежд моих могилой
 Над мрачным гробом всех моих друзей.
 <...>
 Пора и мне!

(19 октября), 1838)

«Кто-то рядом застонал. Вильгельм увидел Дельвига. Он плакал, всхлипывал, потом останавливался, снимал очки, протирал их, вытирал глаза – и снова начинал плакать. Вильгельм обнял его и тихо увел. Дельвиг рассеянно взглянул на него и сказал, зачем-то улыбаясь:

– Ну что, Вильгельм? Прошла, пропала жизнь. Забавно!» («Сыны отечества», гл. 1).

Кюхле не повезло и еще раз. Чудом сохранившийся, собранный Тыняновым его архив остался в Ленинграде и почти полностью пропал во время блокады. Фрагменты из некоторых произведений и дневников известны сегодня лишь в тыняновских цитатах и выписках.

Так – через столетие – навсегда оказались связанными и переплетенными эти две судьбы.

ПРАВО НА НЕЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ПРАВА

Александр Мелихову

ПРАВО НА НЕЛЮБОВЬ

Я вот что думаю. Всеобщая декларация прав человека должна содержать право на нелюбовь. Как-нибудь так оно должно быть сформулировано: «Каждый человек имеет право не любить кого угодно».

Всем известно, что Лев Толстой не любил Шекспира, а Набоков – Достоевского. Ахматова доходила в своей нелюбви вплоть до того, что называла Толстого «мусорным стариком», а про Цветаеву сказала: «Ей не хватало вкуса», Чехова Анна Андреевна, кажется, тоже не очень жаловала. Бродский обвинил в безвкусице Блока («Опустись, занавеска линиялая, на больные герани мои»). Лимонов вообще всех «полил» – и Ахматову, и Зощенко, и бедного Веничку Ерофеева. «Меня раздражает любовь толп», – так, помнится, выразился национальный большевик.

Однако стоит призадуматься. Все-таки слова «любовь»/«любить» (забудем, что «любовь как акт лишена глагола») в русском языке почти многозначны, что правильное, адекватное ситуации их значение определяется только контекстом самой ситуации. При этом даже сам контекст может по-разному пониматься участниками. Иначе что уж такого смешного в ответе любовника: «А я что делаю?» на вопрос наивной партнерши, любит ли он её. Таким же лингвистическим анекдотом является и притча про любовь к помидорам: «Кюшать люблю, а так – нэт».

А если вступим на скользкую дорожку разбора такой ситуации: что же люди хотят сказать, когда замечают кому-то: а ведь вы евреев не любите, и что этот человек имеет в виду, когда быстро и остроумно отбивает удар: «А почему я должен их любить?», то станет понятно: они совершенно в разном значении употребляют этот глагол. Первые, то есть упрекающие, наблюдали у N., причем не раз, nepозволительные проявления этнической предубежденности, а вот второй, то есть упрекаемый, хитрым образом вывернулся, указав на нелепость ожидать от него любовного чувства к одному отдельно взятому народу. («Какая уж тут любовь ко всему человечеству, тут на одного человека еле-еле хватает»). То есть собеседники заранее не договорились о терминах и смыслах. Да, именно так. И вот отсутствие такой договоренности приводит к непониманию и взаимному раздражению. В общем, я слегка запуталась с этой статьей для Декларации. Но ведь что-то делать надо.

ПРАВО РУГАТЬ

Александр Генис где-то сказал: «Я понимаю, что я не русский, потому не могу говорить о России всё, что я думаю». Я же, признаться, пользуюсь своим русско-еврейским происхождением и при случае ругаю то русских, и тогда я русская по отцу, как и принято в России, то евреев, и тогда я еврейка по матери, то есть по самым строгим израильским законам. Но если ты не еврей, мой тебе совет: помалкивай в тряпочку, потому что Хрустальная ночь, Холокост, Дело врачей и всё такое.

Помню, сижу я в Принстоне, в доме у моей одноклассницы Нинки Чижиковой – Мозиас по мужу. Она абсолютно русская по происхождению (насколько русскость может быть абсолютной). «Не знаю, не знаю, – говорит Нинка, – мне евреи ничего кроме добра не сделали». «О, ты еще не жила среди евреев», – говорит задумчиво её муж Женя Мозиас. Похоже, он знает предмет. Имеет право в силу своей чистокровности. К слову, Женя оказался как-то на собрании православно-го прихода своего района или, как там говорят, дистрикта, что ли, и начал задавать такие дель-

ные вопросы батюшке, что в конце заседания батюшка предложил выбрать Женю Мозиаса церковным старостой. «Помилуйте, – вскричал изумленный Женя, – во-первых, я еврей, а во-вторых, агностик, ну, то есть, никакую религию не исповедую». – «Пустые отговорки, вы хороший человек, толковый и добросовестный, именно вы нам и нужны». Широких взглядов был этот американский православный батюшка, но Женю не уговорил, сошлись на том, что Мозиас будет вести в воскресной русской школе уроки физики и математики.

ПРАВО НА НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

Интересно читать иногда брачные объявления, даже не имея никакого собственного интереса. Любопытно все-таки, чего хотят люди, как представляется им счастье и покой и как они сами себя рекомендуют городу и миру, как они себя, так сказать, позиционируют. Очень быстро, однако, становится скучно – все одно и то же: мужчины хотят молодую и хозяйственную, женщины верного и без вредных привычек. Попадают, впрочем, и такие объявления: «Лысый, старый, жадный еврей, злой и замкнутый, неразговорчивый, ищет такую же для счастливой совместной жизни». Шутка, по-видимому. А вдруг – нет. Было сильное искушение позвонить, но я искушение преодолела. Или вот серьезная девушка пишет про себя: «Израильтянка, владею УЗИ, хорошо стреляю...» Господи, что же это такое? Что хочет девушка этим сказать? Видимо, она знает, что эти качества для кого-то могут быть привлекательны. Да, точно, это именно так. Один русский поэт, посетивший Израиль, с восторженным изумлением отметил, во-первых: удивительную красоту молодых израильтянок, а во-вторых: полное отсутствие у них извечного комплекса скромной еврейской девушки. «Какие комплексы, братцы, со скорострельным УЗИ за плечами», – кричал поэт и показывал фотографию немислимой смеющейся красавицы; и за плечами у нее, действительно, был этот самый автомат.

ПРАВО НЕ СЛЫШАТЬ

Теперь он в Израиле, возглавляет какую-то клинику. При рождении ему дали имя Давид. Редко новорожденным в те годы в Москве давали это имя. Не Денис, не Даниил, что было бы не так вызывающе, а вот – Давид. В честь дедушки. Дед погиб на войне. В семье его звали, конечно, Додик; если честно, он не любил своё детское имя. В институте студенты-медики звали – Дэвид (на английский манер, как будто знали, чем дело кончится), потом просто Док (друзья и некоторые хронические пациенты), а девушка из Тбилиси (учились в одной группе), полюбившая его на всю жизнь, называла нежно – Додо. Нетрудно было любить доброго, умного, обаятельного красавца. Его все любили. Со временем он стал очень хорошим врачом. Вообще-то он был пульманолог, но медицина была для него истинным служением, увлечением, страстью, любимым занятием. Поэтому к нему все приставали со своими разнообразными болезнями, не только с бронхитами и воспалениями легких, терзали ночными звонками и донимали в отпуске, если ему случалось проговориться. И он всех безропотно лечил, консультировал, вникал, советовал, направлял к своим коллегам. И семья у него была хорошая, мама и папа (известные люди) обожали друг друга и единственного сына, заботливая бабушка вела хозяйство, потом у него появилась красавица-жена, нет, не из Тбилисси – грузинская девушка уехала к себе в Грузию и там еще долго страдала. Жили они в знаменитом высотном доме. В просторном вестибюле в прозрачной будке сидела консьержка. Не так-то просто было пройти к ним в гости мимо этой мегеры. Бдительная тетка, завидев чужого, отрывала невзрачное личико от вязанья, протыкала вас своими острыми, как спицы, глазами, интересовалась: куда идёте? к кому? ждут ли вас? Поздним вечером противную тетку сменял представительный консьерж, из бывших военных, рядом с ним всегда за стеклянным окошком торчала голова очередного собутыльника. И каждый раз, когда Давид, обменявшись с консьержем дружелюбными приветствиями (тоже ведь его пациент), проходил к лифту, он слышал за спиной одну и ту же фразу: «Во! Видал! Еврей, между прочим, но отличный мужик».

«И вот от этого я и уехал. Чтобы никогда не услышать ничего подобного», – признался мне через много лет Давид и ткнул указательным пальцем куда-то вдаль, видимо, на северо-восток, где осталась прозрачная стеклянная будка и прозрачный доброжелательный консьерж.

ПРАВО НА ЛИДЕРСТВО

Каждый имеет право стать лидером. Даже еврей. Речь идет о **настоящем** лидерстве. Не будем пока уточнять, в какой именно области. Естественно, в хорошей области, типа русской литературы или теоретической физики. Настоящность здесь момент определяющий. Потому что **мнимое** лидерство – это проклятие евреев и порождает антисемитизм. И многие евреи вообще считают – лучше **не высовываться**. В связи с этим – цитата: *«Изображая евреев умными и добропорядочными, мы только пробуждаем ревность. Страх перед евреями, а стало быть, и неприязнь к ним может ослабить только образ еврея доверчивого, бесполового, своего... Всем довольного, ничего не ищущего, ничего и никого не презирающего...»*. Понимаете? То есть прикиньтесь дураками, безвредными юмористами, беспомощными неудачниками, недотёпами (шлимазлами, так сказать), прикиньтесь мертвыми, примите окраску окружающей среды, изобразите собой кусочек коры среди высохших сучьев, накройте медным тазом. Ну как там советовали в гетто фашистские прихвостни из своих же евреев: «Не нарушайте правила внутреннего распорядка, господа евреи, не раздражайте охрану, не попадайтесь на глаза герру коменданту, будьте тихими и незаметными...» и шепотом добавляли: «Может быть, и выживем...». Не выжили. Даже эти несчастные прихвостни не выжили, правда, улетели в небеса самыми последними, вслед за тихими, доверчивыми евреями. (Нет чтобы погибнуть с музыкой, как варшавские ребята. Вечная им слава!) Итак, мнимое лидерство порождает антисемитизм? Но тут вот какая штука – кощунственное подозрение мелькает в моей голове, что антисемитизм порождает и настоящее лидерство, и вообще, любая мелочь может породить это неприятное явление. И снова цитата: *«...задача борцов с антисемитизмом состоит не в разоблачении антисемитских мифов, но в том, чтобы разрушить легенду о еврейском лидерстве»*. Вот что должны усвоить господа евреи. Горите себе вполнакала, поменьше Нобелевских и прочих премий, сдерживайте свои творческие порывы, думайте о своем народе.

И все-таки мы такую статью в Декларацию запишем. На всякий случай. Чтобы можно было при надобности сослаться. Ведь все равно они появляются, эти... безудержные, плохо собой владеющие, не умеющие обуздывать свои таланты, и становятся лидерами, собаки. Не будем называть имен и подсчитывать проценты. Закрытая статистика. Молчок.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александр МЕЛИХОВ

УРОДЛИВАЯ ХИЖИНА

Фридрих Горенштейн. Бердичев. М., «Текст», 2007, 317 с.

Две трети небольшой, стильно изданной книжки занимает именно «Бердичев» – «драма в трех действиях, восьми картинах, 92 скандалах», скандалах, протянувшихся от Сталина до наших дней, практически не меняясь. Над головами главных героев, вернее героинь, прокатываются грандиозные исторические события, а они, нахрапистая Рахиль Капцан, урожденная Слуцкая, и ютящаяся с нею в одной квартире кроткая и болезненная сестра Злата взирают на мир исключительно с точки зрения бытовых потерь и приобретений.

Муж Рахили погиб под Харьковом, там ведь жуть что творилось – «жуть, а? Так он должен был туда попасть». О погибшем муже Рахиль вспоминает довольно часто, жалея, впрочем, не столько его, сколько себя. Об истребленных соплеменниках она тем более горюет гораздо меньше, чем о потерянном имуществе, расхищенном, пока она была в эвакуации: «Я знаю, где мои вещи, где моя мебель... Моя мебель в селе Быстрик... Рассказывают, что молочница, которая носила нам молоко, приехала с подводой и забрала нашу мебель. Ей она понравилась. Но что, я пойду в этот Быстрик, чтобы мне там голову сняли?» Ее волнуют более злободневные вещи: «Здесь за стеной живет некий Бронфенмахер из горкомхоза, который только хочет ходить через моя кухня... Что вы скажете, товарищ Вшиволдина, он имеет право устроить себе черный ход через моя кухня и носить через меня свои помои? В землю головой чтоб он уже ходил... На костылях чтоб он ходил... Что, я не знаю, родители его были большие спекулянты, их в тридцатом году раскулачили».

Но Злата не терпит очернительства: «Зачем ты так говоришь? Его отец был простой сапожник. Я очень правильная... Я Доня с правдой». Доня, если вы не знаете, «это была такая революционерка. Она всегда любила говорить правда». При этом каждая из спорщиц считает себя безвинной страдальцей: «Она от меня рвет куски!» – «Я имею от нее отрезанные годы!» И это тянется именно годами и десятилетиями – скандалы и дразги с сестрой, с зятьями, с племянником Вилей, успешно осваивающим нравы «гойской» шпаны, по мере сил, впрочем, затрудняющей еврейчику проникновение в это высшее общество. И поводы для свар всегда густопово бытовые – кажется, только однажды, на празднике Победы неукротимую скандалистку задевает что-то идейное. У обелиска контуженный полковник Маматюк заявляет, что здесь похоронены все нации, защищавшие родину, – кроме жидов.

«Нет, ты слышала, что сказал этот гой? Чтоб его гром убил и второго тоже вместе с их женами и детьми». – «Идем домой, он же не тебе это сказал», – пытается утихомирить воительницу Рахиль кроткая Злата, но не тут-то было: «Мой муж убит, а он будет говорить такие слова... Я ему морду побую...» – «Ой, я не могу жить. Она хочет иметь горе», – язык псы настолько великолепен, настолько насыщен восхитительными местечковыми уродствами, что хочется цитировать бесконечно.

Но это нужно читать и смаковать, читать и смаковать – это истинный шедевр, порождающий удивительную смесь брезгливости, сострадания и восхищения. Насколько же полон драм и страстей этот убогий зоценковский мирок! Большой мир еще раз проникает в эту герметичную коммуналку лишь на самых последних страницах. Горенштейн с его мощным трагическим даром не был бы Горенштейном, если бы в конце концов не вышел на символ, на притчу, на метафору.

Уже в семидесятые в Бердичев на несколько дней приезжает из Москвы Виля, сделавшийся, судя по всему, широко известным в узких кругах деятелем еврейского национального возрождения, и наблюдает, как уже на краю гроба сестры продолжают свои извечные препирательства: «Она от меня куски рвет». – «Я железная, что я от нее столько выношу». – «Ты и твои дети сумасшедшие!»

– «Чтоб тебе вывернуло рот!» Первое движение еврейского романтика немедленно уехать. Но, побродив по своей малой родине, он вдруг произносит проникновенный монолог: «Я понял, что Бердичев – это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя...».

«Вся эта уродливая хижина Бердичев человеку, приехавшему из столицы, действительно кажется грудой хлама, но начните разбирать это по частям, и вы обнаружите, что заплыванные, облитые помоями лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда-то ходили пророки, на которых когда-то стоял Иисус из Назарета... В московских квартирах вы этого не ощутите».

Этот монолог резко возвышает масштаб драмы – и вносит в нее схематизм. Но тут уж приходится выбирать: либо безупречное бытописательство, либо несовершенная масштабность, выигрыш в глубине оборачивается проигрышем в достоверности. Зато особенно хорошо начинаешь понимать, зачем образованному преуспевающему человеку нужна связь со своим невежественным зачуханным народом, – для обретения красивой величественной родословной, уходящей в таинственные глубины древности. Сказка индивида невозможна без сказки рода, а потому социальные сказки-однодневки никогда не смогут составить серьезной конкуренции национальным грезам.

Две другие вещи, включенные в книгу, – повести «Искра» и «Маленький фруктовый садик» – как раз и посвящены образованным, социально благополучным евреям, мучающимся из-за отсутствия собственной национальной химеры, которая есть у каждого русского забулдыги, и нехватка этого пустячка гложет их подобно авитаминозу. Оттого они и зациклены на национальных проблемах – совершенно неадекватно для тех, у кого подобных проблем нет, – сытому человеку всегда кажется, что голодному следовало бы смотреть на мир как-то более широко...

Обе повести великолепно и – кто бы мог ждать этого от Горенштейна – с большим юмором написаны, читаются с наслаждением, но рядом с «Бердичевым», на мой взгляд, все-таки проигрывают. Однако рядом с этим шедевром даже классику трудно не проиграть себе самому.

При этом народный заступник при всей огненной боли за униженность своего народа отнюдь не льстит ему, писатель прекрасно видит и смешные, и малоприятные качества и еврейских бунтарей, и еврейских конформистов, отдавая им, например, и такие, более чем неглупые, рассуждения: «За общую беду, за общие унижения и страдания компенсацию в первую очередь требуют и получают худшие. Худшие из потерпевших своими действиями и своей моралью дают возможность свергнутым преследователям и палачам оправдаться и снова вернуться к прежним замыслам».

Так что лучше ничего не колыхать, не будить лиха: «Страх перед народом всегда прижимал общество к правительству, и в восемнадцатом веке это спасло страну от пугачевщины. Но когда заблуждения девятнадцатого века развеяли этот страх, общество отбилась от правительственных рук и попало в народные когти. Однако те, кто выжил, должны учесть уроки. Теперь у нас снова правительство, которое, слава богу, как и мы, боится народа. И если это правительство по глупости своей не хочет опереться на нас, мы должны быть умными и опереться на него».

Против этой логики трудно что-нибудь возразить, если забыть, что народам ощущение собственной красоты важнее безопасности. Предпочтя безопасность, они перестают существовать, ибо устроиться в мире с комфортом всегда лучше поодиночке.

Игорь АНДРИАНОВ

КАК РОЖДАЮТСЯ НЛО И ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ?

Дм. Быков. Оправдание. М.: Вагриус, 2005, 288 с.

Вечная трагедия науки: уродливые факты убивают красивые гипотезы. Томас Хаксли

Давно замечено: как правило, аннотация книги отражает ее содержание с точностью кривого зеркала. Например, на обложке «Оправдания» читаем: «Дм. Быков предлагает свою версию событий 1937 года. Оказывается, приговоренных к расстрелу свозили в специальные лагеря...». На месте Дм. Быкова я бы подал на составителя этой «аннотации» в суд: все-таки объявить в

открытую автора шизофреником не есть хорошо. Кроме того, эта аннотация, несомненно, уменьшила количество читателей – «опять фантазмагория на тему террора 37 года!». На самом деле замечательная книга Быкова посвящена тонкому анализу возникновения лженаучной теории, и я бы настоятельно рекомендовал прочесть ее всем, кто имеет к науке отношение.

Кратко суть «Оправдания» сводится к следующему: некоего историка Рогова мучает вопрос о смысле террора 1937 года. Что ж, вопрос в рамках исторической науки вполне правомерный. Под влиянием нескольких рассказов, показавшихся Рогову связанными некоей общей подоплекой, выдвигается гипотеза: на самом деле Хозяин устроил своему народишке Проверку. Человек, выдержавший все пытки, – человек из железа, и из таких людей формировались специальные отряды, выигравшие войну. Что ж, гипотеза как гипотеза, остается выяснить, «достаточно ли она безумна, чтобы быть верной». Лженаука вовсе не в том, что исследователь выдвигает некое фантастическое предположение, а в его дальнейшей верификации. Первый признак намечающейся лженауки – открыватель блюдет сугубую секретность. Обусловлено это, на рациональном уровне, боязнью потерять приоритет («Украдут идею!»). Подсознательно же, как мне кажется, это боязнь именно того самого уродливого факта, столкновения с которым может не выдержать изящная конструкция теории. Человек устроен так, что способен с большим успехом водить себя за нос. Это очень хорошо показано в «Оправдании»: в воспаленном воображении Рогова многие события прекрасно укладываются в его схему! Вот «неопровержимое» доказательство: некоторые люди, якобы расстрелянные в 1937, через много лет давали знать о себе друзьям и родственникам, например, звонили им! А некоторые очевидцы даже видели таких людей, получивших 10 лет без права переписки! До непосредственных контактов, правда, дело не дошло, но это тоже можно объяснить (выжившие сами не хотели таких контактов). Мастерство Быкова проявляется в том, что мы невольно втягиваемся в мир роговских «сновидений наяву», и нам тоже начинает казаться: в этом что-то есть! Да вот хотя бы звонки! Элементарные соображения, которые автор приводит в конце, – например, девочка так мечтает увидеть отца живым, что ей любой незнакомый мужской голос легко может показаться отцовским, – нам в голову не приходят. Мы все верим в чудесное и, хотя хорошо знаем о существовании «бритвы Оккама»: «Не умножайте сущностей сверх необходимого!», брить себя ею никак не желаем. Мозг услужливо ищет и предоставляет доказательства справедливости нашего предположения, загоня сомнения в подсознание (поэтому неосознанная тревога, часто делающая адепта лженаучной теории столь агрессивным, остается). Человеку трудно объективно оценивать себя и свои творения, именно поэтому существование достаточно консервативного научного общества, обеспечивающего беспощадную критику любых новых теорий, необходимо для функционирования науки, а открытость новой теории критике коллег – необходимое условие ее объективной проверки.

В книге автор топит своего героя в болоте, заставляя его перед смертью осознать всю нелепость своего предположения. Нельзя быть таким жестоким, г-н Быков! Дайте же человеку хотя бы умереть счастливым! Но в реальной жизни все обстояло бы по-иному: Рогов вернулся бы из своей экспедиции, окончательно уверившись в существовании Проверки. Некие мелкие несоответствия нашли бы вполне достаточные объяснения, и, возможно, Рогов бы даже поговорил с секретными обитателями Чистого – в средние века люди встречались с чертями и ведьмами каждый день, а в экспедициях по поиску снежного человека некоторые участники видели Йети, более того, некоторые женщины даже забеременели от снежных людей!

Рогов в книге – жертва наследственного психического заболевания. В жизни навязчивая идея обычно – единственная ненормальность (если ее можно так назвать), присущая данному индивиду. Часто она является подсознательным ответом на трудности жизни, некоей попыткой построить свой «правильный» мир. Но это уже область психологии, а я очень рекомендую прочесть книгу Быкова всем, кто хочет понять происхождение «снежного человека», «загадки Бермудского треугольника», «уфологии» – продолжите этот список сами! – и, по возможности, избежать участи Рогова.

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Георгий НИПАН

ЕФИМОВ НА ДАЧЕ

Маленькая зооповесть

Глава 1

Ефимов просыпается в дупле старой ели и вспоминает, как он в него попал. Встреча с несчастным братом Кузьмой. Прибавление в семье Мурзика.

Сны попадались какие-то жуткие: то собака огромная и злая догоняла, то молоко в миску налило прокисшее, да и спалось как-то неуютно и холодно. Не по-домашнему. Ефимов почесал лапой за ухом и проснулся. Огляделся, насколько мог. Света нет, место тесное и незнакомое, родной дачей не пахнет и откуда-то тянет холодом. Потыкался, нащупал над головой круглую дырку.

«Темница», – ужаснулся Ефимов и жалобно мяукнул. Прислушался: ни звука в ответ. Принюхался: ни одного знакомого запаха.

«Хорошо бы водички попить», – подумал Ефимов и, перебирая передними лапами по стенке темницы, встал на задние лапы и просунулся в дырку.

Вначале разглядел холодную желтую луну, потом присмотрелся – вокруг темные еловые лапы, а вниз, насколько хватает глаз, тянется морщинистая коричневая кора, и где-то далеко-далеко – земля.

«Дупло», – догадался Ефимов и стал тереть лапами морду. Положение сложилось отчаянное: до земли далеко, пить ужасно хочется, лапы трясутся и морда расцарапана.

«Стоп, а почему лапы трясутся и морда расцарапана?» – спросил себя Ефимов и вспомнил. Вчерашний день вспомнил. Вспомнил, как бабушка Марина везла его в чистенькой корзинке на дачу, как выпустила его на зеленую пахучую травку, как напился он вкусного парного молока и как отправился на прогулку, просочившись между кривыми досками забора.

Оказавшись по другую сторону забора, Ефимов неспешно направился к чужому дому и, поднявшись по его ступеням на просторную веранду, встретил кота. Толстого, грустного, равнодушного к появлению Ефимова, но какого-то родного.

«Брат», – подсказало сердце, – «Кузьма», – и вспомнилось, как прошлым летом их, четырех маленьких котят, – трех братиков и сестричку, вынесли в картонной коробке на крыльцо какого-то дома. Они, несмышлениши, играли, а мама-кошка тревожно бегала около коробки. Первой забрали сестру Любочку-серенькую юбочку, потом Яшу, потом Кузьму. Остался один непристроенный безмянный котенок и возле него кошка, вся в слезах. Но тут кошачий Бог прислал бабушку Марину. Она заглянула в коробку и спросила: «Ну что, последний из дома Ефимовых, пойдешь к нам жить?». А котенок – маленький, но не глупый – сам к ней на ладони забрался. И ведь счастливый билет вытащил!

– Кузя, – мяукнул Ефимов, – не узнаешь? Я ведь брат твой.

– Ефимов! – ахнул Кузьма. – Вот ведь встреча!

Обнялись братья. Маму вспомнили. Где она, кошка непутевая? Опять с каким-нибудь котом гуляет, и не знает, что сыновья на родину погостить приехали.

– Что же ты не писал, Кузя? – спросил Ефимов. – Наш электронный адрес у твоих хозяев есть. Леня писать, так позвонил бы.

– Так к компьютеру не подойдешь, сын хозяев с утра до вечера в стрелялки свои играет, а дочь на телефоне висит. Ни электронную почту отправить, ни позвонить, а мобильника у меня своего нет. Да и не разговариваю я с ними, и ничего мне от них не надо, – сказал Кузя и заплакал.

– Что ты, брат? Что случилось? Чем они тебя обидели?

– Отвезли в больницу, а там меня усыпили и ... – дальше Кузя прошептал на ухо Ефимову. Не хотел такое вслух говорить. – Не будет у меня теперь ни жены, ни деток.

«Горе-то какое», – подумал Ефимов, – «и не будет у брата большой любви, не будет любимой кошечки», – а вслух стал утешать Кузю, поглаживая лапой его мохнатую голову.

– Ничего, брат, не в кошках счастье. Найдешь дело интересное, ты ж у нас умница. Мы с Яшей всегда тобой гордились. Я ведь недавно Яшу нашего видел, на красной «мицубиси» он ехал. Узнал меня и лапой помахал, – стал рассказывать Ефимов, чтобы отвлечь брата от горестных мыслей.

– А про Любочку ничего не слышал? – оживился Кузя.

– Как же, слышал! Говорят, замуж вышла, и хороший кот попался. Домовитый.

– Что ты говоришь?

В это время откуда-то притащился Мурзик. На лапах еле стоит, какую-то песенку мурлычет, и валерьянкой за версту от него несет.

– Ребята, – кричит Мурзик, – у меня жена тройню родила! Идемте это дело отметим.

Ефимов и Кузя стали отнекиваться. Застеснялись, но Мурзик сильно уговаривал, даже сказал братьям, что они как в город уехали, так и зазнались. Короче, уговорил.

Вышли за околицу и направились к лесу. Сели на опушке. Мурзик из кустов полиэтиленовый пакет выволок, достал из него пузырек валерьянки и дохлого голубя.

– Нет, – говорит Ефимов, – я убоину не ем.

– А я вегетарианец, – сказал Кузя.

– Чего? – спросил Мурзик.

– Мясо не ем, – пояснил Кузя.

– Как чувствовал, – произнес Мурзик, – беда с вами, городскими, – и, как бы восхищаясь своей сообразительностью, достал из пакета «Китикет» в банке.

Ну, лизнули по разу валерьянки, разговоры, конечно, пошли. Ефимов и Кузя об искусстве заговорили, классику кино вспомнили – кота Матроскина и этого... Ну как его? «Не были мы на вашем Таити, нас и здесь хорошо кормят», а Мурзик все о кошках: какая у него в прошлом году жена была, какая в позапрошлом. Решили перед вторым заходом закусить. Стали консервную банку открывать – никак за кольцо не ухватиться! Вот черт, как открыть-то? Тут мимо какой-то серый зверь не спеша так идет, и в лапах у него газета. Вроде на кота похож, только больше, но передние лапы как у человека, враз банку откроет. Присмотрелись, а в газете буквы нерусские. Видно, зверь иностранец. Но банку-то открыть надо.

– Да это Енот, – сказал Мурзик, – говорят, его внук бабки Семечкиной из Америки привез. Сейчас я с ним договорюсь, – и грозно встал поперек дороги.

– Фройляйн! Цвай гроссе бир, битте! – закричал Мурзик. Его хозяин никак не мог забыть Октоберфест в Мюнхене и часто кричал эту фразу по ночам.

Енот остановился и молча на него уставился.

– Бессаме мучо. Аста маньяна. Но пасаран! – пришел на помощь Кузя, у которого знакомый кот отдыхал в Испании.

Никакого эффекта, но тут Ефимов не ударил в грязь мордой и мяукнул:

– Шоу ми е мани! Шерше ля фам!

Опять молчание в ответ и полное непонимание.

– Да ну его к черту, этого барана, – рассердился Мурзик, – ни одного языка не знает.

– Сами вы бараны, – внезапно сказал Енот на чистом русском языке, – втроем консервную банку открыть не можете.

Он уверенно взялся за кольцо и открыл банку.

– Вот это по-нашему, – сказал Мурзик, – выпей с нами за здоровье моей семьи.

– Ален Делон не пьет одеколон, – пропел Енот.

– Тебя что, Аленом Делоном зовут?

Ефимов и Кузя после этого вопроса Мурзика стали от смеха кататься по траве.

– Что вы ржете как лошади? – обиделся Мурзик.

– Это песня такая, – пояснил Ефимов, – группы «Наутилус Помпилиус». Дед наш любит слушать.

– Ну, если Подпилиус, тогда закуси за компанию, – обратился Мурзик к Еноту.

Пока коты принимали валерьянку, Енот углел весь «Китикет» и незаметно напихал траву в пустую банку. Когда Мурзик в поисках закуски запустил в нее лапу, то вытащил пучок мятой зелени.

– Что это? – спросил Мурзик и уставился на Енота.

– Морская капуста, – невозмутимо заметил Енот. – Наверное, это консервы для морских котиков.

– Скажите, Енот, – вежливо поинтересовался Кузя, – а зачем Вам нерусская газета?

– Я тут детей одного Барсука английскому языку учу, а он мне за это перепелиными яйцами платит.

– Хочу, чтобы и мои дети могли по-английски мяукать. Буду платить куриными яйцами... или петушиными, – влез изрядно нализавшийся валерьянки Мурзик.

– Может, кошачьими? – насмешливо спросил Ефимов, но тут же осекся и виновато посмотрел на Кузю.

Однако брат не заметил грубой шутки или сделал вид, что не заметил. Начало темнеть, и разошлись бы они спокойно: попрощались бы с Енотом, дотасили бы Мурзика до дома, если бы на этого самого Мурзика не напало желание петь песни. Только затянули: «Жил да был черный кот за углом...», как прибежала такая рыженькая, ушки с кисточками, хвост пушистый, ну, в общем, Белка.

– Спать не даете, а мне завтра рано вставать!

– Отстань, кисточка ходячая, – Мурзик говорит.

Такого обращения с женщиной Ефимов стерпеть не мог и пихнул его в бок лапой, чтоб сообщал, что говорит, а Мурзик в ответ как хрястнет. Всю морду расцарапал! Ефимов, конечно, в долгу не остался, так что еле их Кузя и Енот растащили.

Тут Ефимов, воодушевленный своим благородством, говорит Белке:

– Давайте я Вас провожу, а то время позднее и всякие Мымзики по лесу шатаются.

Ну и потащился с Белкой на елку, по пути начал в любви объясняться. Дальше плохо помнится: как будто лез к Белке обниматься, а она ускользала и хихикала.

«Патология какая-то, – подумал Ефимов, – белкофилия. Надо по возвращении в город с котом Адамом посоветоваться, он у врача-сексопатолога живет. Натерпелся этот кот от своей бывшей хозяйки Евы. Как начнет, бедный, рассказывать, так шерсть дыбом от ужаса встает. Эта Ева его чистить зубы заставляла, а еще намыливала и вместо мочалки использовала».

Все встало на свои места: видимо, в дупло он свалился, когда от Белки возвращался. Надо звать на помощь! Самому с дерева не слезть, и Ефимов стал громко мяукать.

Глава 2

Появление чуда в перьях. Наглый поросенок Борька. Ангелоподобная Мурочка. Счастливое избавление.

Только Ефимов размяукался – протяжно так, заунывно, жалея самого себя, – как в дупло всунулась пучеглазая круглая кошачья морда с клювом. Вместо шерсти перья, а вместо лап когти. Вот страсть!

«Нечистая сила, – подумал Ефимов, и таким холодом обдало. Вся грехи вспомнил: как залез в холодильник и пакет сосисок съел, как в тапок бабушкин наделал, как в диване дырку прогрыз. Да мало ли у нормального кота грехов средней тяжести? Но сердцем всегда был чист, зла ни на кого не держал и жил честно. По совести. Взвесил все Ефимов, и страх как лапой сняло: «Ничего, нас, россиян, голыми когтями не возьмешь...»

Тут чудо в перьях прервало его размышления и спросило:

– Ты кто?

– Кот в пальто! – по-уличному ответил Ефимов.

– А зачем в мое дупло залез?

– А где написано, чье это дупло?

– Действительно, ведь нигде не написано, – ненадолго задумавшись, ответило чудо в перьях, – но зачем кричишь?

– Домой хочу.

– Так слезай на землю.

– Да ведь страшно: высота-то, какая! Свалишься – костей не соберешь!

– Тогда сиди, – философски заметило чудо.

– Кушать хочется, – спокойно сказал Ефимов и, совершенно осмелев, спросил: – А ты кто?

– Филин без пальто, – усмехнувшись, ухнуло чудо в перьях.

Тут и Ефимов засмеялся:

– А я думал, что ты кошачий черт!

– Может, чертов кот? – опять ухнул Филин.

– Га-га,-га, – замыкал Ефимов, – бабушка, когда ругается, меня так называет.

Тут и Филин разухался – очень они друг другу понравились.

– Давай я тебе мышку принесу поесть, – сказал Филин.

– Да ну ее, – стал отказываться Ефимов, – чистить надо, шкурку снимать, и все в темноте.

Потерплю уж до утра.

– Смотри, как знаешь, а я полечу охотиться, меня ведь бабушка не накормит, – и Филин улетел.

Ефимов положил лапу под голову и задремал. Во сне появился усатый Филин с кошачьим хвостом, открыл клюв и хрюкнул. Потом еще раз.

«Это уже перебор, даже для сна», – подумал Ефимов и открыл глаза.

Просветлело, а снаружи доносилось громкое хрюканье. Ефимов высунулся из дупла и увидел у подножия елки поросенка Борьку, который доедал остатки вчерашнего пиршества.

– Вот я тебе задам, поросенок ты этакий, – закричал Ефимов, – кому бабушка строго-на-строго наказывала не уходить со двора?

Борька оторвался от своего занятия и задрал вверх пяточок. Присмотревшись, он разглядел, откуда кричит Ефимов и, нагло ухмыльнувшись, ответил:

– Сидишь в дупле, так не чирикай!

– Сейчас слезу, сорву еловую лапу и нахлестаю тебе по заднице.

– Вначале слезь.

– Ах ты свинина розовая!

Так бы они долго и бесполезно препирались, но на их крики прибежал Кузя. Он все утро разыскивал брата. Увидев Кузю, Борька на всякий случай отбежал подальше. Лапа у Кузьмы была тяжелая.

– Ефимушка, как же ты туда залез? – спросил Кузя.

– Кто ж его знает, – виновато протянул Ефимов, – после валерьянки чего только не бывает.

– Пойду бабушку Марину приведу, – сказал Кузьма, – без нее тебя не вызволить, – и побегал за подмогой.

В ожидании бабушки Ефимов стал осматривать опушку леса и ближайшие дачные участки. Домики с такой высоты казались совсем игрушечными, над многими печными трубами клубился дымок. «Завтрак готовят», – отметил про себя Ефимов и облизнулся. Потом его зоркие глаза углядели тетку, которая тащила из сарая ведро с молоком. Тут совсем есть захотелось, и Ефимов, чтобы не думать о грустном, переключился на ближайший забор. «Может, здесь какой-нибудь кот живет – хоть поговорю, время скоротаю».

– Эй, соседи, – громко мяукнул Ефимов, – время не скажете? А то я часы в городе оставил.

К радости Ефимова, задвигались высокие лопухи, и на забор грациозно запрыгнула серенькая пушистая кошечка.

– Вы не подождете минутку? – крикнула кошечка, – я пойду на настенные часы взгляну, – и так ласково посмотрела на Ефимова, что он разом забыл обо всех своих невзгодах.

Скоро кошечка вернулась:

– Маленькая стрелка возле двух слипшихся баранок, а большая возле целой баранки и половинки.

– Это без десяти восемь, – сказал догадливый Ефимов. – А как вас зовут?

– Деми Мур.

«Хорошо хоть не Кэтрин Зета-Джонс», – подумал Ефимов, знакомый с американским кино. – А хозяин Ваш не Брюс Виллис?

– Да нет, хозяина зовут Аль Пачино, а хозяйку – Клаудиа Шиффер.

– Что-что? – переспросил Ефимов.

– Ну, Алексей Починяев и Клава Шифрина.

– Понятно, – протянул Ефимов, – а можно, я вас просто Мурочкой буду называть?

– Конечно, – радостно согласилась Мурочка. – А почему вы в дупле сидите?

Ефимову было неловко рассказывать о своих вчерашних похождениях, и он стал нещадно сочинять – не то чтобы врать, а так – сказки придумывать.

– Спелеолог я, пещеры исследую. Здесь пещер нет, и я, чтобы не терять спортивную форму, залезаю в дупла.

– Ой, как интересно! А может, вы спуститесь ненадолго попить прохладного молока?

– Нет, когда я увлечен, то ни на что не отвлекаюсь. У этой ели очень интересные годовые кольца. Я должен их рассмотреть.

– Хорошо, работайте, я пойду пока молоко в холодильник поставлю, – и Мурочка ушла.

«Что я буду дальше сочинять, когда она вернется?» – спросил сам себя Ефимов и загрустил. Не хотелось ему в глазах милой Мурочки выглядеть трепачом.

Спасение, как это часто бывает, явилось неожиданно. На полянке появилась целая процессия. В центре шла бабушка Марина, под мышкой правой руки она держала одеяло, а в левой руке она несла ведро, в котором что-то плескалось. Впереди бабушки, указывая дорогу, бежал Кузя. Чуть поодаль, во главе каких-то незнакомых котов и тучи мальчишек, подпрыгивал Мурзик, указывая лапой на елку. Замыкал шествие известный своей добротой дядя Саша. Он припал на левую ногу и поэтому опирался на палочку.

– Бабушка! – радостно замыкал Ефимов.

– Посмотри, что я тебе принесла, – громко сказала бабушка Марина, когда вся команда подошла к подножию ели, и повыше подняла ведро.

В ведре плескалась рыбка. Большая серебристая рыбка.

– Рыбка! Рыбка! – закричал Ефимов.

Бабушка поставила ведро на землю и развернула одеяло. Вместе с дядей Сашей они растянули одеяло, взявшись за углы, и подняли над землей.

– Прыгай, Ефимов! – крикнула бабушка.

– Прыгай, брат, – замурлыкал Кузьма.

– Ефимов, не дрейфь! Сигай! – заорал Мурзик, а с ним вместе другие коты.

Ефимов встал четырьмя лапами на острый деревянный край и замер в нерешительности.

«Дывлюсь я на небо та й думку гадаю: чому я не сокил, чому не літаю...» – вспомнились ему слова украинской песни, но тут он увидел, как какой-то чужой кот подкрадывается к ведерку с рыбой.

– Бабушка, – закричал Ефимов, – смотри за ведром!

Но бабушка не поняла, что хочет сказать Ефимов:

– Прыгай! Прыгай! Не сомневайся, мы тебя удержим.

В это время чужой кот уже протянул лапу, чтобы выловить рыбку из ведерка. Рыбку, которую ему принесла бабушка. Вкусную серебристую рыбку. И Ефимов прыгнул.

Приземлившись под общее восторженное «ура!», он быстро соскочил с одеяла и, бросившись к ведерку, отогнал от него чужого кота.

А потом они пошли домой. Бабушка несла на руках Ефимова, а Ефимов крепко держал в лапах чудную, сверкающую на солнце рыбку. Рядом с бабушкой семенил брат Кузьма.

Сейчас они придут домой, Ефимов оставит Кузю сторожить рыбку, а сам сбегает за Мурочкой. Он приведет Мурочку, и они втроем, не спеша, съедят эту волшебную рыбку.

То-то будет праздник.

Глава 3

Беседы за вкусной рыбой. Встреча с ответными котами.

Неожиданная помощь. Поход на лягушачий концерт.

Рыбка оказалась очень вкусной, особенно в сочетании с культурной программой, организованной гостеприимным хозяином. Мурочка с Кузей ели рыбку и слушали удивительные рассказы

Ефимова. Впечатлительная Мурочка восторженно ахала, Кузя время от времени подавал брату условные знаки, что не стоит чрезмерно заливать и распускать хвост перед наивной кошечкой, но Ефимов был в ударе и ничего не замечал. Славный барон Карл Иероним Фридрих фон Мюнхаузен, доживи он до этого знаменательного дня, наверняка бы восхитился ефимовскими историями, а некоторые из них даже бы записал.

– В соседнем дворе страшная ворона завелась. Маленьких котят таскала и меняла их на Птичьем рынке на блестящие украшения. Никак не могли ее местные коты поймать. Помыкались, помыкались – ну и обратились ко мне. Спрашиваю их, где эту ворону можно найти, какие у нее особые приметы, хоть какого, примерно, возраста. Молчат коты, ничего толком не знают. Я тогда пробил по своим каналам, у меня есть знакомый воробей. Жизнью он мне обязан. Ну, это отдельная история. Воробью из рогатки крыло подбили, и его, раненного, какой-то кот помоечный хотел сожрать. Не позволил я! Так вот, спрашиваю своего воробья, не видел ли такую ворону? Как же, говорит, знаем эту беспредельщицу. Многие гнезда она разорила. Большое дело сделаете, Ефимов, если от нее нашу улицу избавите. Договорились, что воробьи мне чирикнут, как только появится ворона в наших местах. Теперь за мной было дело. Если она на крышу прилетит, то я к ней легко подкрадусь. А если на дерево сядет, то пока до нее докарабкаюсь, она заметит и улетит. Задача! Решил я, что по месту ориентируюсь.

– Дня не прошло, как громко зачирикали воробьи: «Ворона прилетела! Ворона прилетела!» Выглянул я аккуратно из своего окна. Смотрю, эта гадина сидит на дереве, на самой вершине, и высматривает очередную жертву. Дерево особняком стоит, ни кустиков рядом, ни скамеечки, но зато возле семиэтажного дома. Ну, думаю, Ефимов, назвался котом – полезай на крышу! Быстренько подворотнями добежал до этого дома, юркнул в подъезд, там пронесся стрелой вверх по лестнице, до чердака, и вылез на крышу. Дополз по-пластунски до края крыши и слегка голову приподнял. Успел! Точно подо мной сидит на дереве ворона, надо только, чтобы отвернулась. Мне же надо для прыжка подняться.

– Долго я ждал момента. Ворона как чувствовала, что погибель ее рядом, беспокойно вертела во все стороны головой. Дождался! Замерла она, отвернувшись, – тут я и прыгнул. Как долетел, не знаю, но как схватились мы с ней не на жизнь, а на смерть, всегда буду помнить. Макушка дерева под нами трясется, а мы бьемся. Два раза достала она меня своим клювом: один раз по голове долбанула, а второй раз прямо под сердце – вот два шрама остались, но я ей все перья выщипал и с дерева сбросил. Свалилась она на землю, и там ее, курицу ошипанную, уже кошки придушили.

Ефимов ненадолго прервался, чтобы поесть рыбки, и продолжил:

– Или вот еще! Как-то прихожу в гости к коту Адаму, а он валяется на диване и так лениво-лениво листает журнал «Плейкет». У него, видите ли, депрессия!

– Что это за журнал? – наивно спросила Мурочка.

Ефимов и Кузя переглянулись. – Как бы это поаккуратнее объяснить?

– Ну, там... это... кошечки совсем бритые, – сказал Ефимов.

– Ой! Какой ужас! – воскликнула Мурочка и сама смутилась.

– Ну, – продолжил Ефимов. – Пойдем, – говорю, – Адам, по помойкам прошвырнемся! Может, свою Еву найдешь!

– Нет, – ленится Адам. – Молоко должны принести, а кошечек мне и так привозят по вызову.

Тут Кузя наступил Ефимову на лапу, но догадливая Мурочка ничего спрашивать не стала, а просто еще раз смутилась.

– Не ленись! – настаиваю я, – так у тебя все навыки, нашими предками добытые, пропадут. Ни рыболов ни охотник. Живешь для того, чтобы из тебя таксидермист чучело сделал.

– Вспыхнул Адам: «Это мы посмотрим, кто из нас лучший рыболов». Заносчивый он, как все поляки! Подводит меня к аквариуму, а там каких только рыбок нет! Глаза разбегаются! Выкатывает Адам из-под дивана две маленькие бамбуковые удочки с тоненькими лесками и малюсенькими золотистыми крючками.

– Давай, – говорит, – до прихода хозяина с молоком рыбу удить. Кто больше наловит.

– А как же хозяин? – спрашиваю. – Не поздоровится тебе, когда он увидит, что меньше рыбок стало.

– Что – струсил? – съехидничал Адам. Боишься, что я больше поймаю!

– Тут уж я разгорячился. Ну, и принялись мы рыбок ловить. Насаживаем кусочки хлеба на крючочки и закидываем удочки в аквариум. Всех рыбок выловили, а чтобы добру не пропадать,

съели. У меня потом два дня живот болел, а Адам эти два дня у меня от хозяина прятался. Тот обещал его в аквариуме утопить.

За рассказами доели вкусную бабушкину рыбку. Кузя раскланялся и отправился смотреть телевизор, а Ефимов пошел провожать Мурочку. Она ведь жила на самой окраине поселка возле леса. Чуть-чуть не дошли до Мурочкиного дома, как появились три не знакомых Ефимову кота. Наглых и грязных. У предводителя компании не было одного глаза, видимо, выцарапали в драке. Мурочка испуганно сжалась.

– Ну, ты, мяукало городское! С нашими девушками гуляешь? Может, тебе морду расцарапать и хвост оторвать? – прошипел одноглазый.

– Это мы еще посмотрим, – грозно ответил Ефимов, – кто кому хвост оторвет.

Даром, что ли, он в детстве кот-боксингом занимался?

Три кота окружили Ефимова, и, однако, несладко бы ему пришлось, потому что эти трое были тертыми драчунами, как вдруг большая тень накрыла весь кошачий квартет. Тень больно тюкнула одноглазого по лбу, а двух других хулиганов схватила за загривки когтями, пронесла над землей несколько метров и бросила в грязную лужу. Задиры, опережая друг друга, бросились наутек, а тень издевательски заухала им вслед.

– Филин! – закричал Ефимов. – Спасибо, брат.

– Не за что! – проухал Филин, – бывай здоров, чертов кот! – и улетел, бесшумно размахивая большими крыльями.

– Какой у вас замечательный друг! – сказала Мурочка.

– Да, – подтвердил Ефимов. – Ночной орел.

– Вы знаете, – продолжила Мурочка, – а мне совсем не хочется домой. Может быть, сходим на концерт? Послушаем музыку. Наши лягушки чудесно поют в стиле кантри. Просто превосходные мужские голоса.

– Конечно, пойдём, – подхватил Ефимов, которому очень не хотелось расставаться с Мурочкой.

Стало смеркаться, когда они дошли до небольшого болотца. Сели на бугорке под маленькой березкой, так, чтобы ветерок сдувал надоедливых комаров. Появились первые певцы. Вначале они потихоньку пробовали голоса – видимо, чтобы не сорвать, – а потом запели. «Да, – думал Ефимов, – вот что значит живая музыка без “фанеры”. Жаль, что некому ребят раскрутить. Надо будет с котом Фадеем переговорить. Он у продюсера живет, может, при случае, заедет послушать. Пригласит кого-нибудь диск записать».

Мысли Ефимова прервало необычайно сильное кваканье. Ефимов разглядел в сумерках громадную лягушку. Когда она принималась петь, все остальные исполнители благоговейно умлкали.

– Это наша знаменитость, – шепнула Мурочка, – Лилиано Болотти!

– Да, дает парень дрозда, – восхищенно произнес Ефимов.

В это время высокая трава рядом с Мурочкой и Ефимовым зашевелилась, и по направлению к Лилиано спиральями потекло длинное гибкое тело змеи. По двум желтым пятнам на голове Ефимов, любивший смотреть канал «Discovery», понял, что это Уж.

– Эй! Эй! – сказал Ефимов, хватая Ужа лапой за хвост. – Я ваших дел не знаю, но тут концертный зал, а не китайский ресторан. Этот парень, – он кивнул на Лилиано, – в меню не значится.

Уж рассердился, повернулся головой к Ефимову и, сделав бросок, попытался его укусить. Ефимов, ловко отклонившись, отбил вниз свободной передней лапой, словно теннисный мяч, голову Ужа и крепко прижал ее двумя задними лапами к земле. Уж оказался в капкане: Ефимов держал его голову, хвост и, чтобы змей не извивался, придавил лапой посередине.

– Скажи спасибо, что я не мангуст Рикки-Тикки-Тави, – произнес Ефимов.

– Спасибо! – сдавленно прошипел Уж.

– Ну, и что с этим Великим Змеем теперь делать? – спросил Ефимов Мурочку.

– Отпустить! – сказала Мурочка. – Все равно все лягушки от страха разбежались.

– Где я теперь такую большую вкусную лягушку найду? – печально прошипел освобожденный Великий Змей.

– Лягушки полезные! – назидательно сообщил Ефимов. – Лови мышей, они зерно воруют и болезни переносят.

– Ага, а лапы ты мне подаришь!

– А ты возле норок карауль! Завтра мы с братом Кузей на мышиную охоту идем. Нас местные пацаны пригласили. Можем тебя с собой взять в засаде стоять. Погоним на тебя мышей, а ты знай себе лови!

ГЛАВА 4

Охота на мышей. Благородство Ефимова. Рыбная ловля.

Отвратительное поведение Мурзика. Дядя Саша

Охотнички подобрались один к одному. Ефимов мышей видел по телевизору: «Такие серые, с хвостиками». У доброго Кузи была любимая подушка с Микки-Маусом. Мурзик притащил пластиковое ведро, чтобы складывать в него добычу. Он успел забежать в поселковую аптеку, где не покладая лап круглосуточно дремал его шурин, и пропустить с ним по «десять капель» валерьянки. Теперь Мурзик пытался залезть на березу, чтобы с ее вершины рассмотреть, куда направляются мышиньи косяки, но постоянно срывался и падал в ведро. Великий Змей, оставшийся накануне по вине Ефимова без ужина, собирался вылавливать мышей из ручья, к которому, по мнению охотников, часть грызунов должна была броситься, чтобы спастись. Пятым был ёжик Кеша, который все время чихал и терял очки. Поросятка Борьку на охоту не взяли, потому что от него можно было ожидать любого свинства.

Местом для охоты выбрали зернохранилище. Неожиданно возник конфликт с охраной. Цепной пес Прохор зашелся лаем, пытаясь предотвратить проникновение пятерых охотников в разваливающийся сарай:

– Посторонним не положено! Покиньте охраняемую территорию!

Он поднял такой шум, что изо всех щелей появились мышиньи морды, и в сторону великолепной пятерки посыпались оскорбительные реплики.

– Правильно, Прохор! Не подпускай антиглобалистов к нашему дому. Гони прочь.

– Что, котяры? Поджали хвосты? Сейчас мы их вам пообрываем.

– Понаехали, Матроскины! Последнего нас хотят лишить!

Охотники тоже не молчали. Особенно отличился Мурзик, научившийся разнообразным ругательствам у своего хозяина. По цензурным соображением ответные выкрики Мурзика приводятся с пропусками.

– Мыши, вас! Мы сейчас отсюда!

Неизвестно, чем бы закончилась перепалка, если бы не Борька. Несмотря на запреты, он увязался за охотниками и некоторое время, стоя в стороне, упивался их беспомощностью, но собачья глупость в сочетании с мышинной наглостью не могли оставить равнодушной его деятельную натуру.

Борька не снизошел до уличных ругательств. Все-таки он был поэтом! Поговаривали даже, что он дальний родственник свиней, которых держала семья Есениных. Борька начал хрюкать частушки:

Лаает Прохор у забора,
Злой от долгого запора,
Пухлый от метеоризма!
По нему скучает клизма!

Сильнее всего Прохора взбесило незнакомое слово «метеоризм». Он рвался с цепи, пытаясь дотянуться до поросенка.

– Ах ты свинья, – злобно рычал Прохор, – вот я сейчас доберусь до твоего розового пятака.

– Я не свинья! Я кабанчик! – не унимался Борька. – Ты только резких движений не делай, а то всех блох растрясешь. Куда ты без подданных, царь блошиный, король мышиный, Прохор Первый?

В конце концов Прохор бросился за Борькой, волоча на цепи будку. Хитрый поросенок юркнул между досками забора, Прохор за ним, но только на длину цепи. Собачья будка осталась за забором. Отпихнуть будку от досок, чтобы вернуться с ней на рабочее место, Прохор уже не мог.

Он оказался пристегнутым к забору. Пришлось вылезать в соседнюю щель и лаять издали, не причиняя вреда охотникам, которые ринулись в зернохранилище.

Обезумевшие от ужаса мыши бросились к норам. Ефимов уже было совсем догнал громадного мыша, но на кошачью лапу натолкнулся крошечный мышонок, убежавший с закрытыми глазами. Ефимов затормозил.

Мышонок открыл глаза. Он трясся от страха, но его черные бусинки, не отрываясь, смотрели прямо на Ефимова. Подошли другие охотники. В ведре у Мурзика лежали две толстые перепуганные мыши. Одну сопротивляющуюся и отбрыкивающуюся мышшь тащил за хвост Борька. Добрый Кузя старался не смотреть на пленников, а ежик Кеша и так ничего не видел, потому что потерял очки. Великий Змей вообще взирал на серые мохнатые шкурки с отвращением, представляя, как неудобно и отвратительно их глотать.

– Что с этим пацаном будем делать? – деловито спросил Мурзик, усаживаясь возле мышонка. – Из него даже бульон не получится. Можно, конечно, чтобы добро не пропадало, высушить или завялить, – продолжал развивать тему хозяйственный Мурзик.

– Верните нашего мальчика! – раздался жалобный писк.

Из норки вышла мышка-мать. Она вела за лапки еще двух мышат, мал мала меньше.

– Ну что ты, мать! Солдат ребенка не обидит! – укоризненно сказал Ефимов и подтолкнул дрожащего от страха мышонка. – Давай, беги к маме!

– Что касается остальных, – он кивнул на троих пленников, – то, согласно законам военного времени, мы сохраним им жизнь при полной мышиной капитуляции. Выходите из сарая с поднятыми лапами!

Кузя с гордостью взглянул на брата. Миротворец! Мурзик почувствовал важность момента и принялся раздавать указания:

– Оружие складывать возле норок! Над входами вывесить белые флаги! Мужики выходят первыми, за ними дети, женщины идут последними.

Все-таки великое искусство – кино!

Борька застучал по деревянному настилу копытцами, выбивая барабанную дробь. Пытаясь изобразить звук боевого горна, страшно зашипел Великий Змей. Такого психологического давления мыши выдержать не могли и, озираясь, принялись выползать из нор.

Ежик Кеша контролировал выход мышей из сарая. Когда все грызуны, от мала до велика, покинули сарай и пространство возле зернохранилища стало серым от мышиных шкурок, Ефимов выступил с пламенной речью. Суть сказанного сводилась к простому изречению: «Кто к нам за зерном придет, тот из-за зерна и погибнет!» И опять Кузя не мог оторвать восхищенного взгляда от брата. В конце речи побежденным предлагалось проваливать подобру-поздорову в поля и леса.

Мыши построились в колонны по четыре и двинулись походным строем в сторону гречишного поля. Мурзик отпустил троих пленников и замер, сидя на задних лапах и приложив правую переднюю лапу к своей полосатой голове.

– Так, – прервал торжественное молчание Великий Змей, – что, однако, у нас сегодня на обед?

– Опять рыба, – ответил Мурзик, выйдя из оцепенения.

Голодные охотники двинулись к озеру. Потоптались на берегу, нашли песчаное мелководье и принялись ловить пескариков. Ефимов, Кузя, Кеша и Змей честно барахтались в воде, распугивая маленьких рыбок. С берега за рыболовами наблюдали скептически настроенный Мурзик, сидящий на ведерке, и насмешливо похрюкивающий Борька. Этот поросенок по дороге нарыл какой-то корень и с аппетитом чавкал.

– Слышь, Борька, – сказал Мурзик, осмотревшись по сторонам, – а дядя Саша удочкой таскает карасиков с окуньками одного за другим и бросает в ведро. Уж скоро складывать будет некуда. Зачем ему столько рыбы? У него и кот-то нет.

– Угу, – подтвердил Борька. – Вся нашу рыбу переловит.

Борька сразу понял свою задачу. Он пробежал за спиной дяди Саши к камышовым зарослям, залез в них и принялся топтать, разбрызгивая ил и громко хрюкая.

– Брысь отсюда, чертенок неугомонный, – в сердцах крикнул дядя Саша, – ты мне всю рыбу распугаешь.

Он поднялся с насиженного места, чтобы шугануть поросенка из камышей. А в это время Мурзик тихонько подтащил свое пустое ведерко к большому ведру дяди Саши и стал перекаладывать рыбку.

На визг и крик из воды вылезли рыболовы-неудачники и застыли от ужаса, увидев, что вытворяет Мурзик. Но поднятый шум привлек не только Ефимова с товарищами. Из кустов выбежал Шарик – лопухий собачонок дяди Саши, о существовании которого Мурзик, на свое несчастье, позабыл.

Маленький Шарик с лаем бросился на большого кота, ворующего рыбу.

– Брысь отсюда, щенок! – зашипел Мурзик и выгнулся дугой.

В это время вернулся дядя Саша, сжимая подмышкой пойманного в камышах Борьку. Мурзик мгновенно исчез, бросив свое ведро. Словно его тут и не было.

– Так-так, – протянул дядя Саша, рассматривая пластиковое ведро. – Не ваше, ребята? – спросил он, заметив в отдалении группу неудачливых рыболовов.

Ефимов и Кузя не знали, куда деваться от стыда. Как можно было красть у дяди Саши? Что про честных котов подумают?

– Они не воровали! – залаял Шарик, в котором, как это чаще всего бывает, замечательно сочетались отвага и чувство справедливости.

– Да я знаю, – успокоил Шарика дядя Саша.

Он погладил собачонку по лохматой голове и перебрал в ведро еще несколько карасей.

– Возьми, Борька, ведро! Отнеси его ребятам. Пусть поедят свежей рыбки! – сказал дядя Саша, отпуская поросенка.

«Откуда они берутся, эти дяди Саши и тети Маши? Самим жрать нечего, а они кормят кошек и собак!» – подумал Черный Ворон, сидя на елке и наблюдая за развитием событий.

Ответить было некому. Ефимов, Кузя, Кеша, Борька и Великий Змей уплетали карасиков и окуньков.

– Хоть косточки оставьте! – каркнул Ворон.

Вечером Ефимов уезжал в город. У его дачного участка собралась большая компания. Брат Кузьма, Ежик Иннокентий, поросенок Борька, Енот бабки Семечкиной и застенчивая Мурочка проводили Ефимова прямо до машины. Филин на прощание проухал, сидя на изгороди, а Великий Змей прошипел из травы. Они не хотели смущать своим видом других пассажиров машины, но их все равно неправильно поняли.

– Залезай быстрее! – принялась пугать Ефимова бабушка. – Ишь, какие страшилища за тобой, проказником, пришли!

– Ты, это, брат, на следующие выходные обязательно приезжай! – сказал Кузя, погладив Ефимова по полосатой голове. – Мы будем по тебе скучать.

– Возвращайтесь скорее, – добавила Мурочка и засмущалась.

– Родню не забывай, – крикнул взявшийся неизвестно откуда Мурзик и икнул.

– Да, телепрограмму не забудь привезти, – напомнил Енот.

– И чего-нибудь покушать! – хрюкнул все-таки очень наглый поросенок Борька.

– Всего пять дней, ребята! Вот с бабушкиными делами разберусь и в пятницу вернусь. Может, и Адама с собой прихвачу, – пообещал Ефимов уже из отъезжающей машины.

Колеса медленно покатались по утрамбованному песку, когда на дорогу выбежал мышонок с маленьким узелком. Он очень спешил.

– Дядя Ефимов! – кричал запыхавшийся мышонок вслед машине, размахивая узелком. – Мама гречки набрала. Велела Вам передать. Ее на завтрак хорошо с молоком!

Коротко об авторах

Людмила Агеева Прозаик. Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат международного конкурса 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.

Игорь Андрианов Прикладной математик, механик. Родился в 1948 году в г. Мукачево (Украина). Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, доктор физико-математических наук, профессор. Автор восьми математических и четырёх научно-популярных книг. Публиковался в журналах «Звезда», «Природа», «Знание – сила», «Химия и жизнь – XXI век». Живёт в Кёльне.

Арсений Березин Прозаик. Родился в Ленинграде в 1929 г. Закончил физический факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук. Работал в Физико-техническом институте АН СССР на протяжении 35 лет. Член Европейского физического общества, действительный член Международной академии наук и образования (Сан Франциско). Активный участник и организатор конференций по предотвращению ядерной войны. Руководит работой Комитета петербургских ученых по борьбе с терроризмом. Автор рассказов, опубликованных в журнале «Звезда», и сборника «Пики-козыри», изданного Пушкинским фондом в 2007 г. Живёт в Санкт-Петербурге.

Михаил Гиголашвили Прозаик. Родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил филологический факультет Тбилисского университета, доктор филологии. Автор двух романов, множества повестей и рассказов, широко печатается в российской и зарубежной периодике. Преподаёт русский язык и литературу в Саарландском университете. Живёт в г. Саарбрюкен.

Юрий Колкер Поэт. Родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт, кандидат физико-математических наук. С 1984 г. в Израиле, с 1989 г. – в Великобритании. Публикуется с 1972 г., за рубежом – с 1981 г. Автор семи книг стихов. Еще семь книг выпустил как редактор и переводчик. Редактор, составитель и комментатор двухтомника Владислава Ходасевича (1982-83, Париж). Около двух тысяч публикаций в российской и зарубежной периодической печати (стихи, рассказы, критика, публицистика). В 1989-2002 работал на русской службе Би-Би-Си, вел программы «Парадигма и Европа». Живёт в Лондоне.

Людмила Коль Прозаик, переводчик, издатель и главный редактор финляндского историко-культурного и литературного журнала на русском языке «LiteraruS-Литературное слово». Окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, работала преподавателем факультета МГУ, выезжала в качестве преподавателя в Индию и Данию. Автор восьми книг прозы и множества публикаций в российских и зарубежных литературных журналах, проза переводилась на финский язык. Живёт в Хельсинки.

Анатолий Курчаткин Прозаик, публикует также статьи и эссе о современной русской литературе. Родился в 1944 г. в Свердловске. Учился в Уральском политехническом институте, окончил Литературный институт им. Горького. Работал фрезеровщиком, техником-конструктором, корреспондентом молодёжных изданий и сотрудником их редакций. Автор множества книг прозы и публикаций в ведущих литературных изданиях. Был секретарем СП Москвы (1991-94), членом исполкома Русского ПЕН-центра (1989-1999), редколлегии журнала «Советская литература (на иностранных языках)», редсовета журнала «Урал» (до 1999), общественного совета журнала «Октябрь». Произведения публиковались отдельными изданиями в переводе в Болгарии, Германии, Франции, Казахстане, а также в периодике Великобритании, США, Польши, Чехии, Китая, Южной Кореи. Награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». Отмечен премиями журнала «Знамя» (1993), «Венец» (2001). Живёт в Москве.

Павел Лукаш Поэт, прозаик. Родился в Одессе в 1960 году. Автор трёх поэтических сборников и книги прозы. Стихи и проза публикуются в периодических изданиях, антологиях и альманахах Израиля, России, Украины, Германии, США. Живёт в Бат-Яме, Израиль.

Алексей Машевский Поэт, эссеист, публицист. Родился в 1960 г. в Ленинграде. По образованию физик (окончил Электротехнический институт и семь лет работал в Физико-техническом институте АН СССР). С 1990 г. и до момента закрытия был редактором отдела прозы, поэзии и публицистики журнала «Искусство Ленинграда». В настоящее время преподает литературу в педагогическом колледже, читает лекции для вольнослушателей по истории русской поэзии, ведет литературную студию при музее А. Ахматовой в Фонтанном доме, редактирует сетевой журнал «Folio Verso». Автор шести поэтических книг и множества публикаций в ведущих российских литературных журналах. Лауреат премии журнала «Звезда» за лучшую публикацию 1999 г. (поэзия). Живёт в Санкт-Петербурге.

Александр Медведев Поэт, прозаик, публицист, журналист. Родился в 1945 г. в сибирском городке Колпашево. Работал на шахте, на заводах Урала, стройках Ленинграда и Москвы; в настоящее время, кроме литературной работы, занят в предпринимательстве. Окончил Высшие литературные курсы, член Союза писателей с 1976 г. Автор семи книг стихов и множества публикаций в ведущих российских литературных журналах и газетах. Живёт в Москве.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Ирина Роднянская Литературный критик, литературовед. Родилась в г. Харькове. В 1956 г. закончила Московский библиотечный институт. Автор книг «Художник в поисках истины» (1989), «Литературное семилетие» (1995), двухтомника «Движение литературы» (2006), многочисленных статей, посвященных современной отечественной литературе, русской литературной и философской классике, теории литературы и эстетике. Академик АРСС. Живёт в Москве.

Нина Савушкина Родилась в Ленинграде в 1964 году. С 10 лет посещала ЛИТО под руководством Вячеслава Лейкина при газете «Ленинские искры». Там же были опубликованы первые стихи. В последние годы публиковалась в журналах «Нева», «Постскриптум», «Невский альбом», «Царское Село», а также в альманахах «Анфилада» (Германия), «Царское Село в поэзии», «Платформа. Стихи в Петербурге. XXI век», «Петербургская поэтическая формация», «Литературные кубики», «23 – ЛИТО Вячеслава Лейкина». Автор трёх книг. В 2005 году стала лауреатом конкурса имени Н. Гумилёва «Заблудившийся трамвай».

Игорь Сухих Родился в 1952 году в с. Волобуево Курской области. Окончил Ленинградский университет. Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета. Автор книг «Проблемы поэтики А. П. Чехова» (1987), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996), «Книги XX века. Русский канон» (2001), «Двадцать книг XX века» (2004) и многих статей о русской литературе и критике XIX – XX вв. Составитель и комментатор сборников Толстого, Чехова, Зощенко, Булгакова, Пастернака, Высоцкого, антологий русской критики о «Грозе», «Отцах и детях», «Войне и мире». Живёт в Санкт-Петербурге.

Феликс Чечик Поэт. Родился в 1961 году в г. Пинске (Беларусь). Закончил Литературный институт им. Горького. Стажировался в Институте славистики Кёльнского университета. Автор трёх поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Составитель антологии современной русской поэзии «Там звезды одни». (Kirsten Gutke Verlag Köln 2001 г.) Живёт в Израиле.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag

Руководитель издательства: д-р Михаил Вайсбанд

Художник: Р. Дубинский

Компьютерная верстка: В. Аввакумов

Корректор: Р. Вайнблат

Подписано к печати 14.11.2008

Адрес: Partner MedienHaus GmbH & Co. KG

Märkische Str. 115

44141 Dortmund, Germany

Тел.: +49 231 952 973 0 (общий)

+49 231 952 973 16 (подписка)

E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:

Konto 123 10 75

BLZ 440 700 24

Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)

<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (Partner MedienHaus GmbH & Co. KG, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 231 952 973 16

АНОНС

Читайте в семнадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Леонида Гиршовича (Ганновер),
Александра Ушарова (Штутгарт),
Александра Руденко (Видин, Болгария),
Натальи Заякиной (Москва),
Баадур Чхатарашвили (Тбилиси),
Сергея Луцкого (село Большетархово Тюменской обл.)

Стихи

Ларисы Миллер (Москва),
Владимира Берязева (Новосибирск),
Рафаэля Шустеровича (Ришон-ле-Цион, Израиль),
Ларисы Щиголь (Мюнхен)

Публицистику и эссеистику

Александра Иличевского (Москва),
Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Бориса Хазанова (Мюнхен),
Алексея Макушинского (Мюнхен),
Елены Травиной (Санкт-Петербург)

